



ФРАНЧЕСКО ФЬОРЕТТИ

ТАЙНАЯ КНИГА ДАНТЕ

Действительно ли Данте скончался от смертельной болезни, как полагали все в Равенне? Или же кто-то имел основания желать его смерти, желать, чтобы вместе с ним исчезла и тайна, принадлежавшая не ему?



ФРАНЧЕСКО ФЬОРЕТТИ

ТАЙНАЯ КНИГА

ДАНТЕ

Действительно ли Данте скончался от смертельной болезни, как полагали все в Равенне? Или же кто-то имел основания желать его смерти, желать, чтобы вместе с ним исчезла и тайна, принадлежавшая не ему?



Annotation

Впервые на русском языке «Тайная книга Данте», роман Франческо Фьоретти, представителя нового поколения в итальянской литературе, одного из наследников Умберто Эко.

Действительно ли Данте скончался от смертельной болезни, как полагали все в Равенне? Или же кто-то имел основания желать его смерти, желать, чтобы вместе с ним исчезла и тайна, принадлежавшая не ему? Мучимые сомнениями, дочь поэта Антония, бывший тамплиер по имени Бернар и врач Джованни, приехавший из Лукки, чтобы повидаться с поэтом, начинают двойное расследование. Они находят спрятанные в тайнике таблицы и пытаются расшифровать закодированное сообщение, оставленное Данте. Тем временем становится ясно, что далеко не все относились к поэту восторженно. Но кто именно настолько ненавидел его, что подослал к нему наемных убийц? И что связывает шифр последних песней «Божественной комедии» с тайной ковчега Завета?

-
- [Франческо Фьоретти](#)
 - [ПРОЛОГ](#)
 - [ЧАСТЬ ПЕРВАЯ](#)
 -
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [ЧАСТЬ ВТОРАЯ](#)
 -
 - [I](#)
 - [II](#)

- [III](#)
- [IV](#)
- [V](#)
- [VI](#)
- [VII](#)
- [VIII](#)
- [IX](#)
- [ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ](#)
 -
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
- [КРАТКОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)

- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)

- [55](#)
 - [56](#)
 - [57](#)
 - [58](#)
 - [59](#)
 - [60](#)
 - [61](#)
 - [62](#)
 - [63](#)
 - [64](#)
 - [65](#)
 - [66](#)
 - [67](#)
 - [68](#)
 - [69](#)
 - [70](#)
 - [71](#)
 - [72](#)
 - [73](#)
 - [74](#)
-

Франческо Фьоретти

ТАЙНАЯ КНИГА ДАНТЕ

Если бы ничего не происходило и не менялось, то время бы остановилось. Время есть не что иное, как изменение, но те перемены, которые ощущает на себе человек, не есть время. На самом деле времени не существует.

*Современный
британский физик*

*Джулиан Барбур. Конец
времени*

...Зло разрушает самого себя.

*Аристотель. Никомахова
этика*

После того как Акру разграбили... людей охватила злоба, начались бесконечные раздоры. Повсюду царила лишь ненависть, любовь же исчезла...

Хроника тамплиера из Тира^[1]

ПРОЛОГ

Акра, пятница, 18 мая 1291 г.

Такие-то творятся дела в Святой земле.

В эти весенние дни, когда смерть разгуливает всего в двух шагах от тебя, в горле все время сухо и кажется, будто не хватает воздуха, но еще страшнее оттого, что в душу закрадывается подозрение, что Господь теперь на стороне неверных. Ведь к пеклу майского солнца, еще не скрывшегося за зубцами городских башен, прибавились жар греческого огня^[2] — жуткой горючей смеси, уничтожающей в городе дом за домом, — и пламя костров, на которых пылают тела мертвецов, найденных под обломками разрушенных стен... И не важно, что лично ты ни в чем не виноват, что в этом страшном преступлении можно обвинить любого лавочника или крестьянина, что прибыли сюда из Ломбардии. Ведь это они, простые крестьяне и мелкие торгаши, высадились в Святой земле и объявили себя рыцарями, хотя понятия не имели, как обращаться с мечом, и не умели ни прищпорить, ни осадить боевого коня. Это они убивали жителей на рынках, они устраивали набеги на соседние деревни, они навлекли на себя гнев Господа и аль-Малика... Но в этой войне уже не важно, кто прав, а кто виноват. Осталось лишь мужество тех, кто продолжает сражаться, хотя прекрасно знает, что скоро все будет кончено. Когда Господь оставил тебя, ты всем телом ощущаешь этот безудержный ужас неминуемой смерти. И безумный страх, смешанный с запахом горячей плоти, становится твоим окончательным приговором...

Но как можно с этим смириться, когда тебе совсем недавно исполнилось двадцать? Казалось бы, еще вчера все было спокойно, с султаном Бейбарсом заключили перемирие и ты при свете луны предавался неясным мечтам о том, что скоро прославишься своими подвигами и станешь знаменитым на всю Европу... Теперь даже смешно вспоминать об этих глупых фантазиях, простительных разве что ребенку! Тогда ты даже не знал, чего бы такого совершить, но одно было очевидно: тебе суждено блестящее будущее! И вот уже народ спешит приветствовать тебя, доносятся рукоплескания, одобрительный

гул толпы, товарищи ласково похлопывают тебя по плечу: мол, молодец, Бернар, поздравляем от всего сердца... И вот теперь ты понимаешь, что через несколько часов встанешь, оденешься, облачишься в латы, сядешь на коня и, вероятно, погибнешь в первой же битве. Преимущества врага очевидны: людей у турок в десять раз больше — и поэтому уже сейчас можно выбрать, как умереть: биться до последнего, как разъяренный лев, около Проклятой Башни или смешаться с толпой и бежать в порт, в пизанский квартал, к бескрайнему морю...

Кому какое дело, как именно ты умрешь: трусом, гонимым животным инстинктом, или храбрецом, дерущимся до последнего вздоха. Не все ли равно? Ведь человек — это всего лишь кусок мяса да груды костей, он вечно мечется, точно пойманный зверь. А потом рабы сбрасывают в ров твое бездыханное тело вслед за сотнями точно таких же тел, и никто уже не узнает о твоём существовании, о том, что был такой вот Бернар, храбрый мечтатель, который хотел, чтобы его подвиги воспели в романе, и стал бы он вторым Ланселотом, ну или там Парцифалем...

Нет, когда тебе только-только исполнилось двадцать лет, с мыслями о смерти примириться попросту невозможно. Отец лежит рядом и громко храпит; перед тем как провалиться в сон, он только и успел сказать: «Постарайся и ты отдохнуть, сын мой, завтра нам предстоит тяжелый бой». Он и теперь во власти глубокого и странного сна. Бернар даже не может спросить: как это у него получается так крепко спать в свою последнюю ночь и верит ли он в то, что станет мучеником и попадет в рай, который якобы ждет всякого, кто погиб в борьбе с неверными? Наверное, когда тебе стукнуло пятьдесят, ты живешь больше воспоминаниями, чем надеждами. И первых у тебя куда больше, чем вторых.

Отец никогда не рассказывал Бернару, как умерла его мать и почему он покинул Францию и отправился в Акру. Он лишь нес на себе тяжкое бремя вины и надежду на ее искупление. Он часто повторял сыну: «Ты должен искупить грех своего рождения». Отец любил многих женщин и покался в том Бернару, но со временем сын простил ему этот грех. До сегодняшнего дня он не казался ему таким уж страшным. Двадцатилетний юноша не может не простить отца за

то, что тот дал ему жизнь, привез в Святую землю и сразу же бросил в бой...

Ночью Бернар не сомкнул глаз. Последний штурм начнется с рассветом. Все эти дни вражеские отряды — Победоносный, Яростный и Черных Быков — бесперебойно обрушивали зажигательные снаряды на двойную линию городских стен. Их главной целью было разрушить Королевскую башню, фасад которой уже три дня лежал в руинах. Под покровом ночи мамлюки разгребли завалы и забросали ров мешками с песком. В среду они захватили этот участок. Христиане сразу же установили в образовавшемся проеме временные укрепления, но было ясно, что полосе обороны долго не продержаться. Вчерашний день тоже не удался: крестоносцы пытались посадить на корабли своих жен и детей и отправить их в Европу, но на море разыгрался шторм, и суда так и не смогли отплыть. Если крепость падет, все женщины достанутся победителям, они угодят в рабство или станут добычей солдат, а детей перережут, как телят, — кому они нужны. Такие-то творятся дела в Святой земле.

Бернар отправился на поиски Даниеля и быстро нашел его — он спал в соседней комнате. Он всегда завидовал молодому Даниелю де Сентбруну, который так сильно отличался от него самого и обладал завидной самоуверенностью. То был светловолосый юноша из достойной семьи, красивый, вежливый, воспитанный любящей матерью. Казалось, он просто создан для того, чтобы повелевать людьми, при этом он производил впечатление человека непринужденного и решительного, ему было суждено прекрасное будущее...

«Как жаль, если сегодня ему суждено умереть!» — подумал Бернар. Теперь, когда все вокруг утратило прежнее значение, он испытывал жалость не только к себе, но и к Даниелю — от этого становилось не так одиноко. Он спрашивал себя: на чьей же стороне Господь в эти весенние дни?

Отряд рыцарей-тамплиеров, в который входил Бернар, должен был оборонять участок стен по ту сторону ворот Святого Лазаря. Вот-вот настанет последний рассвет.

Хотя делать этого и не стоило, Бернар все же поднялся на стену, чтобы подышать свежим воздухом. Ведь это были последние часы существования мира, к которому он так привык и который казался

теперь всего лишь иллюзией. Так он надеялся совладать с мучительным беспокойством, раздиравшим душу. Подземной галереей он добрался до внешнего рубежа обороны. Потом поднялся на башню и дошел до ближайшего сторожевого поста, где предложил одному из часовых отдохнуть и восстановить силы перед последней битвой. Оставшись один, он прислушался к ночной тишине. Воздух был свеж, теперь, когда дым осады рассеялся, дышалось гораздо легче. Бернар осторожно выглянул из бойницы: вдали виднелись укрепления, а за ними — шатры мусульман, огни их костров, простирающиеся сплошной полосой меж двумя берегами. Чуть выше, на холме, был разбит просторный шатер султана, со всех сторон окруженный виноградниками, а за ним возвышалась маленькая башенка Храма. Бернар загляделся на небо, где были беспорядочно разбросаны яркие звезды, он молча молился о том, чтобы вид с башни оказался лишь дурным сном. Бернар все еще не мог примириться с мыслью о смерти, которая вот-вот может оборвать весну его жизни.

Когда подоспела смена, глаза его уже невольно закрывались. Рассвет все еще медлил. Чтобы вернуться к себе, Бернар воспользовался подземным ходом. Вдруг послышался громкий бой вражеских барабанов, со всех сторон донесся жуткий рев. Атака началась. Бернар быстро присоединился к остальным: рыцари готовились выступить.

«Живее, живее, одевайся!» — кричал ему отец. Бернар заметил, что к ним направляется Великий магистр ордена Гийом де Боже в полном боевом облачении. За ним шел Даниель де Сентбрун, радостный и возбужденный; он держал шлем под мышкой, как будто собирался на охоту, а не в последний бой. Бернар достал доспехи, затем облачился в кольчугу, которая покрыла тело до самых колен. Он решил, что плащ лучше не надевать, — в нем он станет идеальной мишенью для вражеских стрел. Вместо этого он взял широкий пояс, длинное копье и железный шлем, внутри обтянутый кожей. Когда Бернар вернулся во двор, оруженосцы уже прибыли — они вели арагонских боевых коней и вьючных мулов. Боевой конь используется только в атаке — животное должно хорошо отдохнуть перед боем, поэтому сначала на место сражения рыцарь едет на муле или обычной лошади.

Великий магистр уже сел на своего коня и кружил между рыцарями, отдавая приказы. Бернар восхищался его смелостью и силой веры. Последний раз он видел его, когда тот присутствовал на смотре молодых воинов, и Даниель осмелился спросить магистра о том, бывает ли ему страшно, когда на доспехи со всего размаху обрушивается вражеский меч. Великий магистр улыбнулся: «Да, страх живет в каждом из нас, он атакует человека со всех сторон. Но, к счастью, мы не женщины, которые смешивают в одну кучу чувства и логику, расчет и эмоции, любовь и ненависть и в то же время умеют выторговать хорошую цену на рынке. Мы воины, мужчины и должны сконцентрироваться на чем-то одном, часто у нас нет времени даже на то, чтобы любить... Поэтому все мысли во время боя обычно направлены на то, чтобы поразить врага и уберечься от его удара; страх силен, но ты способен отогнать мысли о нем... Мы не просто мужчины, мы — рыцари Храма, люди особой судьбы, и потому нам нельзя бояться смерти. Для таких, как мы, лучше умереть, чем попасть в руки неверных. Обычно они хорошо относятся к христианским пленникам, но если им попадается рыцарь Храма, они предадут его медленной и мучительной смерти, смакуя это зрелище, словно изысканное угощение. Наш выбор — или победить, или погибнуть, и если уж нам суждено умереть, то мы должны продать свою жизнь как можно дороже».

Тут к Великому магистру подбежал запыхавшийся Жерар Монреальский, который отвечал за оборону стен, и закричал, что мамлюки прорвались за внешние стены и люди, защищающие укрепления, вынуждены отступить. Теперь толпа мусульман пошла на штурм второго кольца. Башни и переходы пали. Неверные уже подошли к Проклятой Башне, один отряд отправился к воротам Святого Антония, а второй — к воротам Святого Романа...

— Пойду приготовлюсь, — сказал Жерар.

— Нет, ты останешься! — приказал Гийом де Боже.

— Почему? — запротестовал рыцарь.

— Ты немедленно сядешь на корабль и отправишься на Кипр, где напишешь хронику, в которой поведаешь о наших подвигах, если, конечно, найдешь того, кто выживет и сможет о них рассказать. Но самое главное, ты должен спасти девяти... — Но Бернар не расслышал, что именно должен спасти Жерар. Девяти — что? Ему

послышалось «девятисложные стихи». Но при чем здесь стихи? Когда-то он слышал такую легенду: якобы секрет тамплиеров хранится в неких стихах, в которых зашифровано секретное послание, карта, которая укажет на место, где будет воздвигнут новый Храм, и этот секрет любой рыцарь обязан спасти ценою собственной жизни. Но теперь ему было не до легенды... Он лишь позавидовал Жерару, которому суждено выжить, чтобы спасти то, за что все остальные должны были умереть. Единственное, чего ему сейчас хотелось, — это быть на месте Жерара. Он сам удивился подобным мыслям. Ах, если бы он учился писать, а не сражаться!

Наконец прозвучал приказ выступать. Колонна направилась к кварталу госпитальеров, чтобы соединиться с их рыцарями, затем все двинулись к воротам Святого Антония...

Такие-то творились дела в Святой земле.

В тот день весны и смерти тридцать христианских рыцарей, зажатых между внешними и внутренними стенами города-крепости, готовились сразиться с тысячной армией мусульманских пехотинцев и лучников, чтобы переманить Господа на свою сторону. Конец этой битвы нам уже известен. Мамлюков были сотни — это было дисциплинированное и хорошо организованное войско: на первой линии стояли пехотинцы с высокими щитами, которые втыкались в землю, чтобы обороняться от вражеской кавалерии, позади находились лучники, которые стреляли горящими стрелами, последняя линия состояла из метателей дротиков и копий. Крестonosцы сомкнулись кольцом вокруг своего командира, Гийома де Боже. Бернар стоял рядом с отцом, по другую руку от него находился Даниель де Сентбрун. Едва Великий магистр издал боевой клич, рыцари приняли скандировать свой девиз: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему слава». Они пришпорили коней и под ливнем вражеского огня из дротиков и стрел стали понемногу набирать скорость. Когда они почти поравнялись с вражеским войском, Бернар заметил краем глаза, что конь Даниеля, скакавшего по правую сторону от него, вдруг рухнул на землю. Юноша не понял, как это произошло и кто именно ранен — конь или рыцарь: времени на раздумья не осталось, нужно было нанести удар посильнее и удержаться в седле, когда последует ответ. Рыцари со страшной силой обрушились на

щиты, так что первая линия пехотинцев была сразу смята копытами коней и ударами копий, которые вонзались в тела врагов, разрывая их на части. Конь Бернара затоптал нескольких пехотинцев, а копье поразило солдата, что стоял на второй линии.

Рыцари сразу отступили, чтобы подготовиться к новой атаке, и повернули к городу, сопровождаемые градом вражеских стрел. Бернар увидел, что враги совсем недалеко от того места, где упал конь Даниеля. Он хотел было остановиться, чтобы помочь товарищу, но вспомнил о строгой дисциплине, царящей среди рыцарей ордена. Он понимал, что исход битвы предрешен, но любая ошибка могла лишить рыцарей последней надежды на успех. Поэтому он понесся в сторону города вслед за остальными. Они промчались мимо одного из рыцарей, конь которого пал в бою и который потому шел пешком. Он был всего в нескольких шагах от стены, когда в него вдруг попала горящая стрела и одежда под рыцарским облачением загорелась. Его было уже не спасти, и рыцари стремительно удалялись под жуткие крики горящего заживо товарища.

Мамлюки воспользовались короткой паузой, подняли щиты и перешли в наступление. Крестоносцы остановились недалеко от укреплений, где расположились их пешие ратники, развернулись, перестроились, вынули мечи и по знаку Великого магистра пустили коней галопом. Турки остановились и поставили щиты на землю, однако дождь из стрел не прекращался ни на минуту. Бернар увидел, что неверные подошли к тому месту, где лежал Даниель, — теперь с ним покончено. Юноша ощутил боль и страх. Он пытался отстраниться от ужаса, который только что видел... Однако образ рыцаря, пылающего, точно факел, стоял у него перед глазами. Нет, пора было скорее вернуться в строй: перед вражескими рядами всадники пустили коней во весь опор и Бернар немного отстал.

Рыцари вновь яростно обрушились на врага, первая линия была уничтожена, крестоносцы разили всех, кто попадался под руку. Они как будто чувствовали себя неуязвимыми на конях и в тяжелых боевых доспехах, каждый стоил нескольких десятков противников, но бой затянулся, а солнце и огонь раскалили латы и шлемы, дым от греческого огня был таким плотным и черным, что христиане не могли разглядеть даже друг друга. Они потели и задыхались от жары, их силы начали иссякать, а движения становились все более медленными

и неуверенными. Бернар увидел, как упал его отец: стрела попала ему прямо в горло. Он чуть было не расплакался, но горевать было некогда, конь уже истекал кровью. Тогда Бернар собрался с силами и нанес ближайшему турку такой чудовищный удар, словно надеялся отомстить за смерть отца, за смерть Даниеля и за всех остальных... Инстинкт подсказывал, что пора поворачивать назад, но на середине пути конь споткнулся и рухнул на горячую землю. Бернар вскочил и ринулся к крепости, он бежал изо всех сил, а дождь из огненных стрел все не прекращался. Тут он заметил черный профиль Гийома де Боже: тот отступал, впереди Великого магистра мчался знаменосец. Бернар постарался не отставать. Он видел, что крестonosцы пытаются остановить Великого магистра: «Господин, помилуйте, если вы оставите нас сейчас, Акра падет!» И тогда Великий магистр поднял руку. На теле его зияла смертельная рана — во время боя он не успел прикрыться щитом, и вражеский дротик глубоко вошел в бок магистра.

— Я лишь хочу умереть спокойно, — прошептал он и упал на руки своего слуги.

И тогда все окончательно поняли, что Святую землю им не отстоять. Рыцари спешили и окружили раненого, а потом осторожно уложили его на длинный щит. Бернар подоспел как раз тогда, когда потребовалась помощь, чтобы нести Великого магистра. Мост у ворот Святого Антония оказался поднят. Тогда они направились к другим воротам и вошли в город. В стенах Акры они освободили Великого магистра от доспехов, осторожно вынули дротик, промыли кровоточащую рану. Гийом де Боже наблюдал за ними из-под прикрытых век, он молчал и не издавал ни звука. Он был совершенно спокоен и крепко сжал руку Бернара, чтобы приободрить его...

Затем рыцари решили двинуться к морю, чтобы попытаться переправить де Боже на лодке к бастионам Храма. На побережье они увидели толпу людей, желающих попасть на корабль. Поговаривали, что мамлюки уже захватили Проклятую Башню и уничтожили пизанские боевые машины в районе Сан-Романо. Скоро враги окажутся в самом сердце Старого города, и только крепость тамплиеров сможет еще продержаться несколько дней. Между тем Великий магистр потерял сознание. Бернара охватил ужас. Он больше не мог выносить чудовищную жару, от напряжения его била дрожь, он почти не мог дышать. Его присутствие здесь было бессмысленным:

Великий магистр в нем больше не нуждался. Тогда Бернар решил уйти. Он быстро пересек квартал Монмусар, вошел в Старый город и остановился, чтобы перевести дыхание. Затем свернул в узкий переулок и, притаившись, снял раскаленные латы. В них он чувствовал себя дичью, которую поджаривают на медленном огне. Только теперь он мог оплакать своего отца, Даниеля, Гийома де Боже и утрату Святой земли...

Внезапно до него донеслись крики. Юноша увидел женщин и детей, которые отчаянно убегали от ворвавшихся в город неверных. Несколько человек с развевающимся стягом уже добрались до площади; поджидая отставших товарищей, они занялись грабежом. Бернар увидел, как двое неверных схватили девушку, на вид ей было лет пятнадцать, и принялись яростно спорить, кому достанется добыча. Сверкнули сабли, и мамлюки уже начали было сражаться, когда девушка попыталась убежать. Но тут один из них бросился за ней и схватил за волосы. Он резко взмахнул саблей и с неожиданной жестокостью отсек ей голову, после чего бросил трофей к ногам товарища, который захохотал: каждому досталась своя часть и больше не о чем было спорить. Вот что творилось в те дни в Святой земле...

Бернар бросился бежать по переулкам генуэзского квартала и быстро оказался недалеко от порта, но там всюду кишела толпа, так что добраться до кораблей было невозможно. Зажатый со всех сторон, он все же попытался пробить себе дорогу к морю. Вот прямо перед ним труп беременной женщины, которую задавили в толпе, люди топчут ее бездыханное тело, стараясь пробраться вперед. Турки все ближе и ближе, и тех, кто не попадет на корабли, перережут без разбору. От турок ничего иного и не ждали: два года назад они истребили всех жителей Триполи. Бернар вовсю орудовал локтями, расталкивая женщин и стариков: если ему суждено остаться в живых, он будет стыдиться этого всю оставшуюся жизнь. У длинного мола из воды торчали мачты большого корабля, который, не выдержав перегруза, пошел ко дну еще до того, как были обрублены швартовы. Повсюду плавали трупы. Юноша заметил рыцаря-тамплиера, который размахивал руками, указывая на «Сокол», большой корабль тамплиеров в конце мола, что поднимал якоря. Бернар изо всех сил

рванулся туда; было совершенно очевидно, что отчаявшимся людям уже не попасть на борт, а король и знать давно отплыли.

Бернару почти удалось добраться до сходен, где рыцари Храма сортировали жаждущих отплыть, как вдруг страшная боль пронзила все его тело и он увидел, что из его груди торчит окровавленное лезвие меча. Кто-то, такой же испуганный, но гораздо более жестокий, прокладывал себе путь к кораблю.

Бернар упал на землю, его окутало темное облако страха. Теперь с мечтами о рае покончено: пока он в надежде на спасение расталкивал женщин и стариков, его сразил такой же христианин! Бернару доводилось слышать, что прожитая жизнь мгновенно проносится перед умирающим за минуту до смерти. Его жизнь была коротка, но он не увидел и той малости, что успел пережить: перед ним мелькали лишь чьи-то ноги да узкая полоска моря, которая уплывала все дальше и дальше.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Данте имел обыкновение посылать песни *Комедии* синьору Вероны Кангранде делла Скала. Где бы ни был поэт, что бы ни написал, будь то шесть песен или восемь, прежде чем о них становилось известно, он отправлял гонца этому правителю, которого уважал превыше остальных. И лишь затем делал копии для прочих желающих ознакомиться с его сочинением. Так он переслал Кангранде всю поэму, кроме последних тринадцати песен, которые написал, но не отправил, потому как внезапно скончался. Он даже не успел рассказать, где они хранятся, и потому его сыновья и ученики долгие месяцы разыскивали заключительные песни великого труда среди бумаг Данте, но ничего не обнаружили. Все друзья Данте сокрушались о том, что Господь забрал его прежде, чем поэт сумел завершить поэму, и вскоре все отказались от поисков, ибо больше не надеялись что-нибудь найти.

Дж. Боккаччо. Малый трактат в похвалу Данте

13 сентября 1321 г.

Земную жизнь пройдя до середины, я очутился у порога в ад...

Непостижимо, почему эти слова пришли ему на ум именно теперь, когда он осторожно спешил и коснулся ногами земли. Их автором был советник Ахаза Иудейского, один из самых великих пророков Древнего мира...^[3] Наверное, так бывает со всеми: ты доживаешь до тридцати пяти лет и вдруг ощущаешь внутри себя невероятную пустоту, словно танцуешь на краю пропасти. Это нередко случается, если ты недоволен прожитой жизнью. Чувствуешь, что попусту теряешь время, продолжая влачить свои дни: бесконечный замкнутый круг, все время одно и то же, и все кажется тебе тщетным и нелепым... Жизнь вокруг представляется бессмысленной суетой, а итоги твоего собственного пути выглядят невероятно жалко, ведь поначалу у тебя были гигантские планы. И если быть честным с самим собой, то придется признать, что ты потерпел поражение, иначе окажешься во власти ложных иллюзий, начнешь придумывать себе отговорки и продолжишь идти вперед, убаюкивая себя неоправданными надеждами и навсегда заглушив голос собственной совести.

В какой-то миг ты понимаешь, что жестоко обманулся, и на тебя обрушивается невыносимая тишина небес. И в этой тишине ты чувствуешь, что пропасть вот-вот развернется прямо у тебя под ногами. Смысл твоей жизни, равно как и всех остальных, теперь кажется не ценнее сорной травы, которой поросли окрестные луга. Зачем задаваться такими вопросами... Но что значили все эти переплетения тончайших нитей судьбы, все эти события, свидетелем которых он стал?

Размышления были прерваны, всадник спешил и взял коня под уздцы. Двигаться вперед приходилось медленно и осторожно, в лесу было слишком темно, и он совершенно не знал, куда идти. Он понятия не имел, как ему удалось забраться в такую глушь, с каждым шагом идти становилось все труднее, ноги застревали меж ветвей плюща, лап дикой ежевики и остролиста, которыми поросла земля; панталоны и

плащ были изодраны в клочья. Одна рука уже кровоточила: он поранился, отводя от лица колючие ветки. Когда он наступал на сухие листья и сучья, порой казалось, что из-под земли доносятся хриплые проклятия, будто судья с того света зачитывал ему страшные обвинения.

«Виновен», — шептали кусты.

Ясно, что то был голос его собственной совести, которая не находила покоя и хотела напомнить ему о совершенных ошибках. Судьба посылала ему все новые и новые препятствия, чтобы наказать за грехи.

Но не его вина, что он вынужден скрываться, словно вор, и пробираться темными тропами. Он не хотел попасть в руки тайных врагов. Кто знает, возможно, таковых и вовсе не было, а может, они только и ждали, чтобы заставить его платить по счетам за чужие долги. Такова Италия: пройти по лесу здесь не так-то просто, ведь каждый итальянский город ведет войну против собственного соседа. Ясени стояли так плотно, что даже крошечный лучик солнца не мог проникнуть сквозь лесную чащу. В полной темноте он чувствовал, что конь боится и беспокоится. Воздух был горячий и неподвижный, в горле совсем пересохло. Он весь перепачкался в земле и крови, его мучила страшная жажда.

Вот и опять упал — это было уже не в первый раз. И с каждым разом встать становилось все труднее. Он изо всех сил старался держаться одного направления — если не ходить кругами, то рано или поздно куда-нибудь да выйдешь. Лес всегда рано или поздно должен кончиться, главное — не выбиться из сил, нарезая круги. И все же ему казалось, что, если он выберется из этой чащи, такой опыт не пройдет впустую. Так бывает с теми, кто бредет по жизни словно на ощупь, блуждая в полной темноте и полагаясь на судьбу, но все же надеется рано или поздно выбраться из лесу и найти дорогу. Весь мир — это темный лес, и все мы бредем по нему, каждый в свою сторону.

Идти в одном направлении было нелегко: он чувствовал, что дорога шла в гору, а лес располагался в долине, и это означало, что если он поднимется на холм, то скоро сможет выйти на светлое место и найти дорогу, а если нет, то спустится к подножию холма. Пора было вставать, пока оставалась надежда выйти к свету. Он поднялся на ноги, но сразу же снова поскользнулся на влажных корнях граба и рухнул на

землю как подкошенный. От отчаяния он чуть было не заплакал. Дело в том, что на этот раз, падая, он выпустил поводья, и конь тут же исчез в кромешной тьме. Тогда он закрыл глаза и постарался успокоиться.

Сквозь слезы он разглядел какое-то сияние, словно белые полы одежды мелькнули у кленового ствола: может быть, то был призрак или ангел. Он вытер глаза и, присмотревшись, понял, что это всего лишь тонкий луч света, прорезавший кромешную тьму. Душа его встрепенулась, словно река перед тем, как слиться с морем. Он приподнялся, опершись на колено, и вновь двинулся вперед. Подъем становился все круче, деревья — реже. И тогда он подумал: «Получилось!» Еще шаг — и он выбрался на опушку леса, за которой простиралась пустынная равнина. Потрескавшаяся от жары земля была красного цвета, весь окрестный пейзаж казался каким-то сказочным, из-за вершины голого холма проглядывали лучи восходящего солнца.

Где-то вдалеке, на опаленной солнцем земле, он заметил нечто похожее на огромную букву «L», покрытую пятнистой шкурой: то была рысь, он сразу узнал ее. Или затаившийся леопард, который повернул голову, чтобы вылизать плечо. Джованни не на шутку испугался и притих, обдумывая, как бы выбраться. Зверь был все еще там. Он не шевелился и смотрел прямо на путника. Очевидно, что это было дьявольское видение, переливающаяся фигура, которая постепенно превращалась в огромного льва. Теперь перед ним был сам царь зверей, он ясно различал густую гриву... Животное, стоявшее на четырех лапах, наводило бесконечный ужас. Тогда он подумал, что эта странная буква — знак Сатаны. Ведь зло очень часто принимает облик зверя, ему свойственно менять личину, подобно Протею.^[4] И правда, животное уже приняло облик тощей и голодной волчицы, которая тут же кинулась к нему. Она была огромной и страшной. Она надвигалась, слюна капала с ее клыков. Джованни хотел было ринуться обратно в лес, но тело не слушалось его, и он застыл как вкопанный, не в силах пошевелиться. Волчица была совсем рядом, как вдруг невесть откуда выскочила охотничья собака, похожая на гончую или борзую. Пес бросился вслед за волчицей, и теперь оба зверя стремительно приближались. Тело Джованни отказывалось повиноваться, словно душа из него уже вышла и наблюдала за всем со стороны. Мозг отдавал команду бежать, но ноги не подчинялись. Волчица была всего

в нескольких метрах. Тогда он подумал, что настал конец, как вдруг почувствовал, что земля перед ним расступилась. Волчица рухнула в пропасть, а пес последовал за ней: они падали все ниже и ниже, к самому центру Земли, которая поглотила их так же внезапно, как породила на свет.

Когда путник снова открыл глаза, то почувствовал, что пот льет с него градом: он до сих пор находился во власти чудовищной сцены, которую видел во сне. Так что, очнувшись в темном лесу, полном настоящих волков, в том самом месте, где он упал и провалился в сон, он даже немного успокоился.

«Возможно, кошмары для того и нужны, чтобы примирить нас с невеселой действительностью», — подумал он. Должно быть, он слишком устал и сам не заметил, как заснул. Он понятия не имел, как долго длился этот сон. Ощущение времени исчезло. И тут он услышал неподалеку тихое ржание своего коня и совсем успокоился.

Какое удивительное видение! Ему приснилась сцена из первой песни Комедии Данте, о которой он так долго думал, прежде чем отправиться в дорогу. Когда Данте хотел выбраться из темного леса, путь ему преградили Рысь, Лев и Волчица, символы трех самых распространенных грехов нашего времени. Но до сих пор он ни разу не думал о том, что так явно увидел во сне: названия всех этих животных на латыни начинались с буквы «L» — *Lynx*, *Leo*, *Lupa*. Это означало, что они могли быть символами Люцифера, который и породил их, и все соединялись в одной огромной «L», меж тем как победить их мог лишь Пес справедливости, по-латински именуемый *Vertragus*. Он должен был отправить их туда, откуда они явились, то есть в преисподнюю.

Когда Джованни наконец доберется до Равенны, то расскажет великому Данте об этом сне, и они вместе посмеются над странным ночным кошмаром. Наконец-то он поговорит с поэтом, которого уже теперь воспринимают как светоча своего времени, и сможет расспросить Данте о прекрасной поэме, которую тот должен вот-вот закончить. Наконец-то он узнает о том, кто же такой этот Пес, и что означают странные цифры *DXV*, пятьсот пятнадцать, и почему ими обозначен борец со злом. Кто такой этот мститель — Властитель? Кондотьер? Джованни думал, что понял эту загадочную анаграмму, поскольку в конце второй части поэмы тоже провозглашалось тайное

число, только две буквы были переставлены: DVX, то есть Властитель (DUX), посланник Господа, как говорилось у Данте...

И это еще не все. Но сначала нужно было пройти испытание тьмой, выйти из чащи и найти дорогу к морю и свету. Он огляделся и увидел над ветвями деревьев отблеск исчезающей луны. Тогда он резко повернулся и направился в другую сторону, туда, где раскинулась Адриатика. Теперь он знал, куда идти: солнце вставало в той стороне. К счастью, очень скоро он заметил узкую тропу. Верхом ехать все еще было нельзя, но скоро заросли расступились, и тропа перешла в дорожку пошире. Он оседлал коня и направился туда, куда указывали звезды, ориентируясь между Полярной звездой и Венерой. Венера, из утренней свиты восходящего солнца, ярко светила на горизонте. Солнце должно было вот-вот взойти.

Джованни пустил коня в галоп и добрался до вершины холма, за которым начинался спуск к побережью. Здесь он остановился, чтобы конь мог немного отдохнуть, а сам занялся поисками молочая, чтобы смазать раны. Отсюда было видно всю равнину — показались и стены города, отражавшие свет восходящего солнца. Пока оно казалось крошечной красной точкой там, где море сливалось с небом. Небо расчистилось, и поэтому было прекрасно видно, как точка медленно поднималась и становилась раскаленным шаром, взрывающим линию горизонта ослепительным светом. Несколько лет назад ему приходилось видеть закат на море, но рассвет — никогда... Местные жители, должно быть, давным-давно привыкли к этому зрелищу, для них это нечто обыденное, но все же при виде этой поразительной сцены сам поневоле наполняешься солнечной энергией. Вокруг все оживает, птицы заливаются на все голоса, новый день вступает в свои права. Каждое живое существо проникнуто ощущением нового, и ты чувствуешь жизнь так сильно, всем своим существом... Кто знает, сохранил ли Данте это ощущение возрождающейся жизни, просыпается ли он с рассветом, как просыпался когда-то, чтобы не пропустить эту удивительную сцену оживающей природы, не изменились ли его привычки с тех пор, как он поселился здесь, у самого моря, где в него впадает беспокойная река По, чтобы найти пристанище себе и своим усталым ломбардским притокам.

Путник прилег под сосной, чтобы отдохнуть, прежде чем вновь отправиться в путь.

То утро стало первым, когда Данте не проснулся, чтобы взглянуть на рассвет, но наш герой узнал об этом только после того, как добрался до города. Джованни занялся поисками места для ночлега. Гостиница, где он собирался остановиться, находилась в старом квартале, неподалеку от церкви Святого Виталия. Он вошел в город через ворота Святого Цезария, прошел по шумной площади, что перед церковью Святой Агаты, пересек несколько мостиков над тем, что осталось от древних каналов бывшей лагуны, — узкие илистые ложа рек, что превратились в пересохшие клоаки, от которых сильно несло гнилью. «Памятник великой империи под открытым небом», — подумал он.

Проходя мимо площади, где возвышалась церковь Святого Воскресения Христова, он услышал крики глашатая и разобрал имя великого Данте. Глашатай возвестил, что тело Данте Алигьери, согласно воле правителя города мессера Гвидо Новелло да Поленты, будет украшено, как подобает статусу этого великого человека, и перенесено из его дома в церковь францисканцев, меньших братьев,^[5] где завтра состоится торжественная церемония погребения.

Он почувствовал, как кровь ударила в голову, а сердце бешено забилося, и отошел в сторону, чтобы вытереть наворачнувшиеся слезы. Он проделал такой длинный путь лишь для того, чтобы поговорить с Данте. Поэт был единственным человеком на свете, который мог бы помочь ему разобраться, и вот теперь выяснилось, что все было напрасно. Он даже не успел рассказать поэту о том, что великая поэма так сильно затронула его душу, что даже стала врываться в сны.

II

Он решился войти в церковь только под вечер, когда толпа разошлась и люди перестали сновать вокруг погребального ложа, затрудняя доступ к телу поэта. Церковь была передана францисканцам не так давно, поэтому по привычке ее продолжали называть церковью Святого Петра. Внутри была спокойная полутьма, пронизанная запахом ладана: лишь несколько свечей горело в стенных нишах меж фресок, почерневших от дыма.

В храме почти никого не было, лишь одна монахиня из монастыря Святого Стефана сидела у гроба, недалеко от алтаря. Он понял, что это дочь Данте и Джеммы Антония, которая постриглась в монахини под именем Беатриче. Она сидела у тела совсем одна, в церкви находилось еще несколько обычных верующих, которые тихо молились, стоя на коленях где-то позади, да четверо стражников, которых прислал мессер да Полента. Они должны были охранять порядок, стоя у алтаря, но теперь, когда народ разошелся, спокойно отдыхали, усевшись на деревянных скамьях. Среди простых людей были и такие, кто верил в то, что Данте действительно спускался в ад, и потому о нем ходили слухи, что он колдун и волшебник. Из-за таких суеверий кто-нибудь мог попытаться осквернить церемонию прощания, унести клочок одежды поэта или даже вырезать кусочек плоти, чтобы сделать себе амулет от сглаза, как это часто происходило после смерти отшельников или святых. Четверых солдат поставили, чтобы охранять тело Данте от проявлений подобного невежества.

Джованни застыл позади сестры Беатриче, которая стояла у тела на коленях и молилась. Данте лежал в гробу со скрещенными на груди руками: огромное белое пятно в черных одеждах. Джованни тихо попрощался с поэтом. «Благодарю за все, великий учитель», — сказал он про себя. Он представил Данте таким, каким он предстал в их последнюю встречу, и, словно наяву, увидел, как поэт бредет медленными шагами по направлению к слепящему свету, который вот-вот поглотит его. «Он зашел к нам точно случайно, и после его ухода мир никогда не станет прежним», — подумал Джованни. В эту самую минуту он услышал всхлипы монахини и сам едва сдержался, чтобы

не заплакать. Антония поднялась, постояла еще несколько секунд и поспешно спрятала лицо в складках капюшона, а потом направилась к двери в ризницу и исчезла за ней. Тогда Джованни приблизился к гробу поэта и стал разглядывать его лицо. Оно было спокойным и немного нахмуренным, как будто Данте думал о чем-то своем. Он сильно похудел, а ввалившиеся щеки и глубокие складки у рта подчеркивали широкие скулы. Высокий лоб, обрамленный лавровым венком, показался несоразмерно большим. Джованни заметил, что губы у покойного почти черные, и это вызвало у него подозрения. Что стало причиной смерти поэта?

Поговаривали, что он заразился малярией в болотах Комаккьо, когда ездил в Венецию по поручению Гвидо да Поленты. Судьба распорядилась так, что один из ближайших друзей Данте, Гвидо Кавальканти, который пережил не один политический шторм, тоже погиб от этой болезни.

Джованни, будучи врачом, давно привык к безжизненным лицам и холодным телам мертвецов и не боялся их. Но теперь сердце его мучительно сжалось, как будто он утратил часть самого себя, словно добрая половина его вселенной внезапно погрузилась во тьму. Ему показалось, что губы поэта почернели от какого-то другого яда, который не мог передаваться по воздуху. Он вспомнил, что видел подобные случаи в Болонье, когда присутствовал при вскрытии трупов в учебных целях, и тогда речь шла о пищевом отравлении. Какой тайной были окутаны эти занятия с профессором-аверроистом, почитателем и толкователем трактатов арабских ученых! Такие опыты держались в строгом секрете, их участники были почти что тайным сообществом, сектой, поскольку изучение трупов считалось кощунством и ересью. Но они почувствовали вкус к этим занятиям именно потому, что проводить их было строжайше запрещено. К чувству открытия нового у студентов примешивалось ощущение совершаемого святотатства. Джованни не удалось побороть любопытство и захотелось выяснить все до конца. Он огляделся по сторонам — не смотрит ли кто? Все было тихо, вокруг никого. Тогда он осторожно взял руку поэта и внимательно принялся изучать его ладонь, пальцы и поверхность ногтей. Потом, поборов отвращение, попытался открыть ему рот, чтобы осмотреть язык, как вдруг услышал резкий крик:

— Что он делает? Стража! Где стража?

Еще один завопил:

— Святотатство! Кошунство!

Один из стражников набросился на него и оттащил от тела. Второй схватил за ноги, а третий сильно ударил кулаком прежде, чем Джованни успел что-то объяснить.

— Колдун! Богохульник! — слышалось с разных сторон, и вот уже вокруг образовалась небольшая кучка любопытных, готовых дать волю рукам. — К столбу его! Сжечь!

— Ради бога, позвольте мне поговорить с Якопо Алигьери, я все объясню! — взмолился Джованни.

Стражник, который ударил его, уже замахнулся вновь, но, к счастью, крики людей привлекли внимание Антонии, которая подошла к страже и поинтересовалась, в чем дело. Джованни, несмотря на такой неподходящий момент, смог увидеть ее лицо, все еще скрытое накидкой, и успел разглядеть, что она очень красива и молода. Ее зеленые глаза блестели от слез, взгляд был живой и глубокий. Антония внимательно посмотрела на него, и по взгляду Джованни понял — монахиня пришла к выводу, что незнакомца опасаться не стоит.

— Кто вы и что вам здесь нужно? — резко спросила она, глядя ему прямо в глаза.

Она прекрасно знала, что монашеская одежда защищает ее от подозрений, и потому ей не нужно было притворяться и изображать робость и стыд в разговоре с мужчиной; достаточно монашеской рясы, чтобы собеседник знал свое место.

Стражник открыл было рот, но, пока он не вмешался, Джованни поспешил сам поведать о происшедшем:

— О сестра, я Джованни, я прибыл из Лукки...

Он заметил, как при звуке этого имени монахиня вздрогнула, как если бы уже когда-то слышала его, но, поборов свое замешательство, Джованни продолжал:

— Вы Антония Алигьери, дочь поэта, не так ли?

— Теперь мое имя сестра Беатриче, а не Антония, — ответила она.

Она посмотрела на него: добрые глаза, которые то улыбались, то холодели, словно моля о пощаде. Перед ней был мечтатель, который находился на распутье и не знал, куда податься, словно ждал

решающего знака, который должен определить его будущее: согнуться под тяжестью разочарований и обозлиться на весь мир из-за равнодушия и коварства или прорываться сквозь темную чашу, сохраняя веру в себя, которая послужит ему во спасение.

— Что вы здесь ищете? — спросила Антония.

— Простите, дело в том, что я врач... и очень уважаю вашего отца. Я переписал его поэму вплоть до двенадцатой песни Рая и прибыл в Равенну для того, чтобы поговорить с Данте и получить от него последние песни Комедии, но опоздал... Пока я здесь стоял, на какое-то мгновение мне показалось, что ваш отец умер не своей смертью...

— Он умер от малярии, — ответила монахиня, — народ называет ее болезнью болот. Он заразился по пути в Венецию, — возможно, это случилось недалеко от аббатства Помпоза, где он останавливался на ночлег. Ведь в тех местах много ядовитых болот. Ему предлагали отправиться морем, но он не доверял венецианцам, которые взялись сопровождать его. Ему бы следовало вежливо отказаться от поручения мессера^[6] да Поленты или перенести посольство на более подходящее время, но он привык не щадить себя. Отец вернулся из поездки раньше, чем предполагал, поскольку у него начались приступы сильнейшей боли и лихорадки, так что порой он даже бредил. Болезнь развивалась быстро, и он смог добраться до дому только неделю назад, когда было уже слишком поздно.

Она замолчала и задумалась, повторяя его имя, как если бы пыталась что-то вспомнить: «Джованни, Джованни...» Потом она приказала стражникам отпустить его, поскольку хотела поговорить с пришельцем наедине. Те несколько мгновений раздумывали, переглядываясь, но потом подчинились, поскольку привыкли выполнять приказы, пожали плечами и удалились. Кучке любопытных хватило сурового взгляда. Когда они остались одни, Антония заговорила снова:

— Однажды в бреду мой отец назвал ваше имя. Он сжал мою руку и прошептал: «Беатриче, поторопись, передай Джованни, что возвращаться в Лукку опасно! Это я во всем виноват!» В бреду он часто называл меня Беатриче. Мне с трудом удалось его успокоить. Так откройте же мне, кто вы?

— Нет, ты ни в чем не виноват, — тихо прошептал Джованни. И продолжил громче: — Я познакомился с Данте, когда он приехал в Лукку, сразу после того, как его изгнали из Флоренции. Мы стали друзьями, если это можно так назвать, хотя он был значительно старше: ему было уже за сорок, а мне не исполнилось и двадцати пяти. Я был влюблен в одну девушку и потому все время читал любовные стихи Данте. Я чем-то понравился поэту. Должно быть, он узнал о том, что в Лукке издали новый закон, из-за которого я, подобно ему, был вынужден покинуть родной город. Но то не его вина...

— Но почему вы решили, что моего отца убили? Вы можете это объяснить?

— Есть некоторые признаки, которые свидетельствуют об этом. Так, например, мышьяк в определенных дозах вызывает приступы лихорадки, схожие с теми, которые вы описали. Мне известно, что во Флоренции есть умельцы, которые делают порошок из высушенных свиных внутренностей, пересыпанных мышьяком: этот яд гораздо опаснее обычной отравы. Порошок настолько мелкий, что обнаружить его невозможно. Губы поэта сильно почернели, кожа начала шелушиться, волосы поредели, к тому же не хватает одного ногтя. Однако похоже на то, что яд действовал очень медленно, понемногу; поэта, видимо, отравил кто-то из близких ему людей, чтобы убийство можно было выдать за смерть от малярии. Хорошо бы узнать, кто был рядом с Данте незадолго до смерти...

На лице сестры Беатриче отразилось сильное волнение. Несколько минут она молчала, размышляя, словно старалась припомнить то, что могло хоть как-то подтвердить услышанное, но так и не смогла.

— Но кому понадобилась его смерть?

— Мне это неизвестно, — ответил Джованни, — но смею предположить, что есть люди, которые отнюдь не в восторге от того, сколь велика слава поэмы Данте по всей Италии. Некоторые злодеяния так и остались ненаказанными, еще живы убийцы и грешники, о которых поведал миру ваш отец. Живы еще папы и короли, творящие зло и совершающие ужасные поступки, живы и продажные политики, которым Данте приготовил место в аду. У него могло быть много врагов. Все те, кто не сразу понял, сколь велика сила слова. И может

статься, они хотели сделать так, чтобы Данте не успел закончить *Комедию*.

— В это трудно поверить, — возразила Антония, — ведь это всего лишь слова, а они не могут никому навредить. Но если вы уверены, что это так, попробуйте найти доказательства вашим словам, я постараюсь помочь вам, насколько это в моих силах. И все же я просила бы вас быть осторожнее, чтобы моя мать и братья ничего не узнали. Пока у нас нет доказательств, лучше не посвящать их в эту историю: не все в состоянии вынести горькую правду. Возможно, вам удастся найти виновного... Но даже если и так, его наказание не вернет моего отца, поэтому, говоря по справедливости, мы только обманываем себя, приписывая одному несчастному ответственность за все свершенное зло, которое постоянно живет вокруг нас.

Джованни подумал, что глаза Антонии трудно забыть. Такой прекрасной девушке, должно быть, потребовалось немало мужества, чтобы принять постриг. Он задумался о том, являлся ли такой поступок обдуманном решением, и пришел к выводу, что так оно и было: насколько он знал, Данте был сильно привязан к дочери, а она к нему еще больше, и если Антония унаследовала отцовский характер, то она не могла пойти ни на какие уступки. Было видно, что она обладает твердым, решительным и далеко не легким характером. И красота ей только мешает.

На следующий день во время мессы кто-то заметил, что губы поэта немного приоткрыты, как если бы он собирался что-то сказать, перед тем как навсегда покинуть этот мир. Возможно, он хотел продиктовать миру последние песни поэмы, которые еще никто никогда не слышал. По городу прокатились слухи, что поэт сотворил чудо. Когда народ узнал, что поэма не закончена, в Равенне еще долгое время поговаривали, что видели, как кто-то ходит у церкви Святого Франциска и словно к чему-то прислушивается. Разумеется, люди, верящие в то, что Данте живым спустился в ад, ожидали, что поэт может с минуты на минуту вернуться в мир живых.

III

«Имена отражают суть вещей, — любил повторять Данте. — Вот ты: твое имя Джемма, что значит „драгоценный камень“, и потому ты тверда и сурова, как горная яшма, это и есть твой камень». Иногда он даже называл ее Пьетра, а не Джемма, поскольку это слово означало «камень». В ответ на это она замыкалась в молчании, словно подтверждая, что холодна и непреклонна, как камень. В их супружеской жизни было мало счастья. Сначала Данте никак не мог примириться с браком, навязанным ему отцом: едва мать сошла в могилу, как новоявленный вдовец пожелал жениться снова и, чтобы избавиться от сына, решил поскорее его тоже женить. Когда брачный договор был подписан, Данте было двенадцать, а Джемме еще меньше. Мысль о том, что выбора у них не было, не давала покоя будущему поэту. Он понимал, что его жена ни в чем не виновата, и по-своему уважал ее, но Джемма, несмотря на обстоятельства их брака, надеялась получить от него гораздо больше, нежели простое уважение. С другой стороны, за ней он получил приданое: двести флоринов. Не слишком много, но у Данте и того не было, только бесполезные земли, доставшиеся по наследству, и куча долгов. Данте не заботился о том, чтобы разобраться с должниками отца и раздобыть немного денег, и часто приобретал дорогие рукописи, не задумываясь о последствиях. Жена не понимала его: на нее легли все проблемы, связанные с воспитанием троих маленьких детей, и денежные заботы. Данте не тревожило финансовое положение семьи. Он вспоминал о деньгах лишь тогда, когда они были нужны ему на очередной манускрипт, а в остальное время он о них даже не думал. Меж тем его жена боялась за будущее детей, прокормить которых было не так-то просто. А муж продолжал влезать все в новые долги, чтобы расплатиться со старыми.

Вскоре он увлекся политикой, но оказался единственным человеком, кому не досталось ни гроша на этом хлебном поприще, в то время как его сводный брат Франческо отлично заработал. Однако, когда дело касалось того, чтобы помочь Данте, его хватало лишь на то, чтобы уговорить брата взять новую ссуду, гарантом которой он сам и являлся. Так Франческо понемногу зарабатывал, не подвергая себя

никаким рискам. Это он посоветовал брату отказаться от должности приора, когда атмосфера в городе накалилась и никто не хотел занять этот пост. Белые гвельфы из знатных семей осторожничали и держались в тени. «Тебя посылают вперед как жертву, — сказала Джемма, — сами они слишком боятся Корсо Донати и папы Бонифация. Эти двое что-то замышляют. Даже наши самые близкие друзья, семья Кавальканти, готовы в любую минуту упасть к их ногам». На этот раз муж удивил ее — подошел, обнял и тихо сказал: «Мой ангел, я прекрасно все понимаю (он так и сказал!), я сильно рискую, потому что я совсем один в этой битве, и мне не победить. Однако и Цицерон был один, когда принял должность консула, и это его погубило. Но отступить не в моих правилах, иначе потом я всю жизнь буду корить себя за то, что испугался, смирился и не решился восстать против посредственности и ничтожества».

Бывало, что Данге возвращался домой в хорошем настроении и пытался обнять жену, но она сердито отталкивала его. Тогда он обычно смеялся и говорил: «Джемма, Джемма, каменное сердце, я выпустил в тебя столько любовных стрел, а ты? Проще достучаться до рыцаря в железных доспехах! До твоего сердца не долетает ни одна стрела! Что же ты будешь делать, когда окончательно истерзаешь мою бедную душу? Знаешь, я вот придумал: напишу-ка я тебе стихотворение, в котором будут самые необычные рифмы, на какие я только способен, и эта канцона будет так тяжела для чтения, что если кто-нибудь возьмется читать ее вслух, то тут же сдастся, ибо не сможет произнести и трех строк.

Пусть так моя сурова будет речь,
Как той поступки, что в броню одета». [7]

Джемма отвечала, что пора заняться домашними делами: стол совсем развалился, дрова кончаются, Пьетро бегаёт весь перепачканный. Тогда он брал ее длинную косу и бил себя по щекам, говоря при этом: «Пусть красота твоих роскошных волос послужит хлыстом, бичующим мое тщеславие, рубищем, которое покрывает мою невоздержанность». Наконец он просил у нее прощения, продолжая беззлобно подтрунивать: для него это была просто игра, он и не думал

ее обижать. Но Джемме такие шутки совсем не нравились, она говорила, что медвежий юмор ей не по душе. Но где-то в глубине души она все же смеялась и даже жалела о том, что предмет его любви не она, а другая.

А теперь было уже слишком поздно. Когда Джемма приехала в Равенну, Данте бредил и не узнавал даже собственную дочь, которая всегда была при нем. Джемма не хотела уезжать из Флоренции, несмотря на то что муж посылал ей письмо за письмом и просил приехать. И вот, после двадцати лет разлуки, она едва успела добраться до Равенны, чтобы увидеть его при смерти. Возможно, она была к нему слишком сурова. Но все делалось ради детей: если бы она уехала из города, то семья лишилась бы дома. Люди стали слишком жадны: вряд ли бы они поделились доходом с реквизированных земель семьи Алигьери. Но даже теперь, когда Джемма прибыла в Равенну, она все еще не могла простить мужа или себя за то, что он ей не доверял и не посвящал в свои планы. Она вспоминала, как он восхищался, читая Вергилия, и бродил по дому, громко скандируя его стихи, которые были столь же непонятны, как и церковная проповедь. Если бы она знала, что очень скоро Данте и сам станет таким Вергилием для всех, кто говорит на простом языке, как выразился его друг из Болоньи! Если бы он сказал ей, что когда-нибудь будет купаться в лучах славы! Возможно, тогда она безоглядно вверилась бы ему и следовала за ним повсюду. Но он молчал, заставляя ее страдать, причиняя бессмысленную боль, принося лишь горести и разочарования, а ведь ему было прекрасно известно, что мучения без всякой надежды на то, что они прекратятся, — это настоящий ад! Он сам написал об этом!

Когда она приехала в Равенну, то увидела прекрасный дом, который правитель города пожаловал ее мужу, увидела, что Данте купается в славе и почестях, узнала, что властители Вероны и Романьи состязаются между собою за право принимать его у себя, осыпая сыновей Данте деньгами и знаками внимания, и все неожиданно встало на свои места. Двадцать лет беспросветного унижения, которое она претерпевала, живя во Флоренции, мгновенно утратили значение, и вся жизнь ее мужа стала для нее открытой книгой. Теперь она поняла, почему он был так суров, так упрям и несговорчив. Ведь чтобы выносить приговоры мертвым (а он взял на себя этот труд),

нужно быть суровым судьей, последовательным и безжалостным, как сам Господь Бог.

Но если бы он рассказал ей обо всем, она бы поняла! И ей не пришлось бы всю жизнь искать объяснений его поразительному упрямству, живя вдали от детей, которых изгнали из города вслед за отцом, едва им исполнилось четырнадцать. Не пришлось бы просить защиты у Донати, чтобы ее оставили в городе, надеясь на то, что когда-нибудь семья сможет вернуться во Флоренцию. Она не могла простить, что Данте не считал ее достойной, чтобы посвятить в свои планы. Джемма поделилась с дочерью своим горем и получила совет не терзаться понапрасну, поскольку отец хотел лишь защитить ее от напрасных волнений, сопровождавших его работу над поэмой: от бессонных ночей, от горьких сомнений, от взлетов и падений. Ведь он совсем не изменился, и теперь, когда у него появились деньги, он не замечал их точно так же, как когда их не было.

Дом в Равенне во многом напоминал самого Данте: относительно новый, он был построен на развалинах римской виллы, сохранив ее планировку: все комнаты располагались на первом этаже и выходили или во внутренний дворик, или в сад. Во дворе не осталось колонн, характерных для римской постройки, сохранились лишь две, встроенные в стену, которая разделяла две узкие длинные комнаты. Во дворе кое-где были видны остатки мозаики, там, где глухая стена отделяла жилище от улицы. Комната справа от внутреннего двора служила поэту спальней, там еще сохранился старый пол с выложенной мелкими камешками сценой похищения Европы. Джемме нравилась эта комната, окна которой выходили в сад. Иногда взор ее падал на кровать, ту самую, на которой скончался поэт. Теперь, когда Данте не стало, она часто мысленно беседовала с ним, чего с ней раньше не случалось. Она поняла, что очень многое хотела бы ему рассказать; как ей было обидно, когда он, в отличие от других, отказался вернуться во Флоренцию после амнистии! Конечно, для этого нужно было признаться и повиниться, но зато они снова смогли бы быть вместе, и она бы обняла своих мальчиков! Будь прокляты его глупая гордость, дурацкое высокомерие и негибкое упрямство, думала она.

Теперь оказалось, что он был прав, а она ошибалась. Он не мог признаться в том, чего не совершал, в мелких и недостойных

преступлениях, которые ему приписывали, и одновременно брать на себя право судить грешных и праведных. Ей оставалось только простить его — простить за то, что она осталась совсем одна.

— Мама! Ты где? — послышался голос Антонии.

Джемма вышла в сад и увидела Антонию с молодым человеком, которого заметила еще на церемонии прощания.

— Это Джованни из Лукки, — сказала Антония. — Он большой поклонник Данте. Скоро вы снова увидите, поскольку он хочет переписать последние песни *Рая*. Я тоже пока побуду с вами: настоятельница разрешила мне остаться с тобой и братьями, пока вы будете в Равенне.

— Не знаю, известно ли тебе, что отец не успел закончить поэму, — ответила Джемма. — Недавно приходили двое посланников от рода Скалиджеро, которые попросили у Якопо последние песни поэмы, но твоим братьям не удалось обнаружить рукописи. Они искали повсюду, но безрезультатно. В спальне осталось немало тетрадей отца, с которых он делал копию для господина Кангранде, а потом передавал их другим желающим, чтобы они могли переписать себе поэму. Таковых было предостаточно. Но *Рай* написан лишь до двадцатой песни, и это последняя песнь, которую получил от него правитель Вероны. Якопо говорит, что поэма обрывается там, где речь идет о небе Юпитера, и что потом по идее следует небо Сатурна и сфера неподвижных звезд; сама я плохо в этом разбираюсь, но Пьетро утверждает, что в последней части должно быть ровно тридцать три песни и тогда полное сочинение будет состоять из ста песен.

— Ты уверена, что они хорошо посмотрели? Я не сомневаюсь в том, что отец успел закончить поэму еще до отъезда. Перед тем как уехать, он зашел ко мне попрощаться. Я никогда не видела его таким внимательным, он слушал меня так, как если бы наконец освободился от груза собственных мыслей и наконец-то мог впустить в себя что-то еще.

— Джованни, вы должны понимать, о чем я говорю. Не знаю, при каких обстоятельствах вы познакомились, но в последнее время мой отец постоянно пребывал в мыслях о *Комедии* и не замечал ничего вокруг себя. Ты мог говорить с ним часами и думать, что он тебя слушает, но потом он вдруг смотрел на тебя и просил повторить все сначала, а вместо ответа говорил стихами. Но в тот день он был

другим, веселым, оживленным, и я подумала: это признак того, что *Комедия* закончена. Это был последний раз, когда мы виделись. Казалось, он даже помолодел. Я никогда не видела его таким спокойным, в таком приподнятом настроении.

В этот момент раздался голос Якопо, который звал их. Нужно было выйти во двор, где уже собралась толпа по случаю прибытия Гвидо Новелло, который желал познакомиться с госпожой Джеммой. Ее сердце учащенно забилося. Суровая Джемма не привыкла к светской жизни. Сын взял ее под руку и повел к гостям. Высокопоставленный посетитель был уже там, во дворе, он стоял неподалеку от старой оливы, которая росла в том месте, где у римлян когда-то было углубление для сбора дождевой воды. Вместе с ним прибыла его жена, а за ними толпилась охрана, а также знатные господа и почитатели Данте, один из которых при появлении Джеммы заиграл на цитре. Тут же стоял врач Фидуччо деи Милотти, очень уважаемый знатью, он был одним из самых горячих поклонников поэта и потому принялся читать его стихи:

Лежит страна, где я жила на горе,
У взморья, там, где мира колыбель
Находит По со спутниками в море.

Любовь, сердец прекрасных связь и цель...

Так он прочел всю пятую песнь *Ада*, где говорилось о Равенне и о Франческе да Полента, родной тете Гвидо Новелло. Разумеется, это были его любимые строки, которые он знал наизусть, и всякий раз, едва услышав их, не мог сдержать слез. Потому что он прекрасно помнил свою любимую тетушку, которая его обожала. Франческа была красива и образованна, поэтому бедный ребенок очень огорчился, когда в двадцать лет ее выдали замуж за жестокого Малатесту, по прозвищу Джованни Хромой, и она должна была отправиться в Римини. Гвидо было тогда десять лет, и отъезд любимой тети он переживал так, как если бы лишился собственной матери. Он помнил, что дядя Ламберто и бровью не повел, когда получил известие о смерти сестры, сохраняя с ее мужем хорошие отношения, как если бы

тот был вовсе не причастен к ее смерти, ибо союз с Малатестой был важен для блага города, которому угрожали с разных сторон. Но он, Гвидо, мечтал о мести и, если бы только мог, не преминул бы лично расправиться с проклятым убийцей. Но тот умер и без его помощи.

Когда чтение отрывка было закончено, Гвидо обнял вдову поэта и произнес торжественную речь. Он рассказал, что песнь о Франческе является для него самой волнующей из всей поэмы не только по той причине, что напоминает ему о несчастной тете, но и потому, что никто никогда еще не писал таких прекрасных стихов о любви. Эти стихи рассказывают о том, как человек разрывается между долгом и любовью лучше, чем строки Вергилиевой «Энеиды». Его прекрасная тетя была выдана за нелюбимого человека для того, чтобы сохранить мир между городами, она стала жертвой во имя мира во всей Романье. Но в благородном сердце любовь вспыхивает столь же быстро, сколь пламя на сухой соломе. Поэтому, когда он внимает этим строкам, ему кажется, что сама несчастная Франческа говорит с ним голосом Данте.

Джемма внимательно слушала речь и думала о том, что ей не особенно нравились те песни, в которых говорилось о любви Франчески. Ей казалось, что несчастная оказалась в аду вовсе не из-за своей порочной страсти, но из-за неудавшейся супружеской жизни, на которую ее обрекла семья и выносить которую она была не в силах. Джемма была уверена, что Данте, который познал истинную любовь, вложил в эти строки и собственный опыт. Он понимал, что чувствовала эта женщина, поскольку и сам жил в подобной ситуации. Жизнь Франчески отражалась в его собственной, словно в зеркале. Поэтому Джемме были совсем не по душе эти строки, и слезы, катившиеся по ее щекам, были вовсе не по той трогательной истории, которую увековечил ее муж в своей поэме. Она впервые призналась себе в том, что вся ее суровость, ее безумное упрямство, все эти двадцать лет, проведенные вдали от человека, который призывал ее к себе, несмотря ни на что, — все это было своеобразным проявлением любви к нему.

Пока правитель Равенны говорил о том, что хочет отблагодарить Данте за великую честь, которую тот оказал городу, проведя здесь остаток дней своих, и соорудить ему надгробный памятник, достойный столь великого поэта, — Джемма стояла и плакала, закрыв лицо руками, чтобы никто не увидел ее слез.

К счастью, все внимание публики было обращено к говорящему.
Никто не думал, что несчастный брак поэта, о котором в народе
ходило столько слухов, окажется настолько прочен.

IV

Наконец гости разошлись, и Джованни остался один. Сестра Беатриче позволила ему переписать *Рай*, оставалось всего восемь песен. Сама она собиралась отправиться в монастырь Святого Стефана и пробыть там вплоть до вечерни, а вернуться к закату. Прежде чем покинуть дом, она показала ему спальню и кабинет поэта. Это были две смежные комнаты, в которых ее отец проводил почти все свободное время за чтением и сочинительством.

Сначала Антония провела его в узкую и длинную спальню, что находилась по правую сторону старинного внутреннего дворика. Комната была довольно скромной. У самой двери стоял стол, над ним единственное окно. Напротив стола разместился большой деревянный сундук для хранения одежды, который, по всей видимости, служил и скамьей. В дальнем углу комнаты, куда уже почти не проникали солнечные лучи, стояла кровать — простой матрас на крепкой деревянной раме. В глаза Джованни сразу бросился кожаный свиток над кроватью: на нем в виде большого квадрата были расположены девять листов пергамента в массивной раме, при этом каждый лист был оправлен в отдельную тонкую рамку. Антония указала на него, а затем подвела Джованни ближе к кровати, чтобы он мог все рассмотреть. На каждом листе, встроенном в замысловатый квадрат, были обозначены строки *Комедии*, однако следовало приложить немалые усилия, чтобы разгадать смысл этой загадочной композиции.

— Это и есть доказательство того, что поэма была закончена, — сказала монахиня, указывая на последний лист.

Джованни внимательно взгляделся в листы пергамента в рамках и увидел, что на последнем, в правом нижнем углу, указывается на 145-ю строку тридцать третьей песни *Рая*:

<p><i>Ад</i></p> <p>Одиннадцатисложник Глава I, глава II</p>	<p><i>Ад</i></p> <p>Одиннадцатисложник LXXIX–LXXXI Глава X, LXI и LXIV Глава XV</p>	<p><i>Ад</i></p> <p>Одиннадцатисложник XLIX и LV–LVII с LXIV Глава XXXIII</p>
<p><i>Чистилище</i></p> <p>Одиннадцатисложник CXXXV–CXXXVI Глава V, одиннадцатисложник XCI–XCIII Глава XXIII</p>	<p><i>Чистилище</i></p> <p>Одиннадцатисложник LIV Глава XVIII</p>	<p><i>Чистилище</i></p> <p>Одиннадцатисложник XXXVII и XLIII–XLIV Одиннадцатисложник LXXVI и LXXXV Глава XXXII</p>
<p><i>Рай</i></p> <p>Одиннадцатисложник XLVI с CV–CVIII Глава III</p>	<p><i>Рай</i></p> <p>Одиннадцатисложник LV–LVII и LXX–LXXI Глава XVII</p>	<p><i>Рай</i></p> <p>Одиннадцатисложник CXIV Глава XXXIII</p>

— Что все это значит? — спросил он.

— Не знаю, — ответила Антония.

— Вы просмотрели эти строки? Возможно, они таят в себе какой-то особый смысл?

Сестра Беатриче отвела его в кабинет и показала те страницы поэмы, к которым относились эти заметки. Сначала она обратила его внимание на схему нумерации строк на каждом из пергаментов, которая отсылала к тридцати трем одиннадцатисложным стихам, взятым по одному или по пять, при этом они были расположены таким образом, чтобы сумма каждой строки и каждого столбца равнялась одиннадцати:

1	5	5
5	1	5
5	5	1

— Если смотреть на эту схему по диагонали, слева направо, — сказала Антония, — то мы обнаружим единицы, то есть отдельные строки, а в двух других малых квадратах найдем число пять, что означает пять строк поэмы. Взглянем сначала на строки, обозначенные единицей: первый пергамент указывает на первую строку второй песни поэмы: *День уходил, и неба воздух темный*, — тогда как последний отсылает к сто сорок пятой строке тридцать третьей песни *Рая*. Она нам неизвестна, но, по моим предположениям, речь здесь идет о заключительной строке всей поэмы. Таким образом, у нас есть начало и конец путешествия в загробный мир. Тогда строка из восемнадцатой песни *Чистилища* — *Так жизнь растенья выдает листва* — должна быть строго в центре квадрата. Если это так, то, создавая эту композицию незадолго до своего отъезда, мой отец совершенно точно знал количество строк в поэме, что говорит о том, что она была завершена... Первая строка — *...и неба воздух темный* — говорит о ночи и о смерти, вторая, та, что в центре, говорит нам о свете дня и земной жизни; последней мы не знаем, но если это и есть заключительная строка *Рая*, то она должна относиться к тому измерению, которое вне времени, вне дня и ночи, вне жизни и смерти: это та вечность, где хронология исчезает, то есть область абсолютного времени Божественной сущности. Темнота и ночь — это олицетворение первородного греха, тогда как день и лучи солнца вводят тему спасения, которое есть путь к свету...

Путь к свету... Джованни вспомнил о том вечере в саду, когда разговор с поэтом перевернул всю его жизнь.

— Мне кажется, — продолжала сестра Беатриче, — что в этой композиции отец подводит итоги своего путешествия в три загробных царства. Везде фигурирует число тридцать три: в каждой части поэмы

тридцать три песни, ровно тридцать три строки содержит и эта композиция, а кроме того, это символ Христа. Если мы посмотрим на композицию горизонтально, то обнаружим, что первая линия — это строки *Ада*, вторая — *Чистилища*, в то время как третья содержит отсылки к строкам из *Рая*. Вертикальные же линии, если отбросить отдельные строки и рассматривать лишь пятистишия, объединены личной темой и содержат указания на события из жизни моего отца. Прослеживается четкая схема, по которой можно отследить как важнейшие моменты его личной жизни, так и намеки на его духовные искания. Таким образом, содержание *Комедии* оказывается очень личным, но эти намеки могут понять лишь самые близкие люди. Он описал свое *реальное путешествие*, то есть всю свою жизнь, что наводит на мысль о том, что это послание для всех нас, а может быть, и лично для меня. Правда, я не совсем понимаю смысл третьего столбца.

— Но зачем, — удивился Джованни, — вашему отцу было нужно создавать эту странную композицию, обозначая цифрами отдельные строки, да еще накануне отъезда? Если он действительно закончил поэму, то, может быть, он оставил здесь какие-то знаки, расшифровав которые мы могли бы узнать, где нужно искать последние песни поэмы? Возможно, он знал, что...

— У меня нет никаких предположений на этот счет, — ответила Антония, — однако я ясно вижу, что если прочесть указанные строки в вертикальном порядке, не принимая в расчет те, что обозначены единицами и составляют диагональ, то десять строк первого столбца поэмы в иносказательной форме намекают на женщин нашей семьи. Я говорю о себе и своей маме. Строки же второго столбца повторяют пророчества об изгнании, которые герой поэмы услышал в *Аду* от предводителя гибеллинов Фаринаты дельи Уберти и Брунетто Латини, мудрого наставника моего отца. Потом их повторяет в *Раю* Каччагвидо — наш древний предок, погибший в Крестовом походе. В третьем столбце описаны чувства, которые отец питал к своим детям, но здесь же есть много намеков на какие-то неизвестные мне события: упоминается загадочная женщина из Лукки по имени Джентукка, которая вам должна быть прекрасно известна, чего не могу сказать о себе.

Имя прозвучало так неожиданно, что Джованни почувствовал, как ноги его подкосились. Антония тем временем протянула ему листок, на который переписала десять строк, указанных в первом столбце. Не хватало лишь одиннадцатой, обозначенной единицей. Две из пяти строк были из пятой, оставшиеся три — из двадцать третьей песни *Чистилища*, когда герой разговаривает с Форезе Донати:

Как знает тот, из чьей руки впервые,
С ним обручась, я перстень приняла.

И тем щедрей Господь в благоволеньи
К моей вдовице, радости моей,
Чем реже зрим мы жен в благотвореньи.

Пять строк *Рая* были из третьей песни, где говорилось о Пиккарде, сестре Корсо Донати:

Сестрой-монахиней была я там;
Клялась блюсти и крест, на мне надетый;

Мы все, горя желанием одним —
Святому Духу подчинить всю волю,
Счастливы тем, что созданы мы Им.

— Давайте посмотрим на первый столбец, — предложила Антония, — возьмем первые две строки из пятой песни *Чистилища*: «*Как знает тот, из чьей руки впервые, С ним обручась, я перстень приняла*». Пятая песнь *Ада* говорит о женщине и о любви. То же самое можно сказать и о пятой песни *Чистилища*, и о *Рае*. Франческа да Римини — образ незаконной страсти, за которую она претерпевает наказание в *Аду*, Пия деи Толомеи в *Чистилище* олицетворяет супружескую любовь; и наконец, Беатриче в *Раю* — чистое платоническое чувство. Последняя строка пятой песни *Чистилища* содержит слова «обручась» и «перстень», на староитальянском «джемма» означает драгоценный камень, который вставили в перстень. Однако в то же время Джемма — это имя моей матери, а речь в этой

песне идет о несчастной супруге. Выходит так, будто моя мать корит мужа за свою жестокую судьбу устами Пии деи Толомеи. Это звучит как обвинение, которое мой отец адресует самому себе.

— Следующие строки мне хорошо знакомы, — сказал Джованни. — Они из тех песен *Чистилища* и *Рая*, которые посвящены Форезе и Пиккардо, брату и сестре Корсо Донати, того самого, что был предводителем черных гвельфов. Именно они приговорили вашего отца к изгнанию.

— При этом они дальние родственники моей матери, — заметила монахиня. — Не забывайте, что и она из рода Донати. С этой семьей мы связаны тесными узами, а стало быть, с Форезе... Однако вернемся к тексту. Это место особенно важно, ибо мой отец всегда следовал простому правилу — не говорить слишком откровенно о близких людях или о своих чувствах. В таких случаях он всегда прибегал к риторическим фигурам. Здесь же он словами Донати выражает собственные мысли и чувства, касающиеся его жены и дочери: Форезе в *Чистилище* восхваляет стойкость и добродетель своей супруги. Его Нелла, как и моя мать, осталась во Флоренции совсем одна. Сам Форезе умер незадолго до того, как его лучшего друга, то есть моего отца, изгнали из города. Мать и Нелла были очень близки, они вдвоем переносили все тяготы, поэтому восхваление Неллы напрямую относится и к бедной Джемме... Моя мать очень любит именно эти строки: *«И тем щедрей Господь в благоволеньи / К моей вдовице, радости моей»*. «Вдовицы» — ведь именно так мы с Якопо прозвали маму и Неллу за то, что они были неразлучны и слишком часто вспоминали те счастливые дни, когда отец и Форезе пребывали с нами. Тогда мы еще жили во Флоренции, мне исполнилось двенадцать.

Она вздохнула и замолчала, потупив глаза, но вскоре продолжила свой рассказ:

— В одной из строк *Рая* говорится о Пиккарде Донати: *Сестрой-монахиней была я там*, то есть на земле. Она и вправду приняла постриг, однако предводитель черных гвельфов Корсо, ее коварный брат, силком увез ее из обители, чтобы выдать замуж за Росселино Тозинги, одного из своих друзей, богатого и знатного человека. С ним ее жизнь превратилась в ад.

Та же участь ждала бы и меня, если бы моя мать поддавалась уговорам дяди и позволила бы забрать меня из монастыря. Он очень

давил на нее, лелея планы выдать меня за своего старого друга, пожилого вдовца, который был весьма влиятельным человеком и, несомненно, помог бы нашей семье выпутаться из сложившейся ситуации. Тогда я решила покинуть Флоренцию. Мне кажется, что в этих строках отец словно обращается ко мне и говорит: «Антония, не сдавайся! Представь, что за жизнь ждет тебя с нелюбимым мужем, которому ты тоже безразлична». Он постоянно это повторяет. В пятой песни *Рая* он вкладывает ту же мысль в уста Беатриче, когда она поднимается с одного неба на другое и является ему в пламени сияющей любви, при этом несказанная красота и исходящий от нее свет ослепляют его. Беатриче говорит ему о том, что земная любовь — лишь слабый отблеск Божественного света, но и она хранит в себе слабый и неосознанный след Божественной искры, отзвук той невидимой космической энергии, что пронизывает все: звезды, Вселенную, человека... Это удивительная духовная сила, которую люди всегда недооценивали. «Нет в мире таких богатств, которых хватило бы, чтобы откупиться от наших несчастий. Всем нам дана одна-единственная жизнь, и она бесценна» — вот о чем кричит он своей поэмой мужчинам и женщинам, убитым любовникам, несчастным женам и обещанным монахиням.

Неожиданно колокола на башне пробили девятый час, и сестра Беатриче вынуждена была прервать разговор. Она покинула кабинет. Джованни остался один с автографом *Комедии* в руках. В доме еще находилась старая служанка, но она была занята работой на кухне. Едва монахиня вышла, Джованни снова обратился к тетради, куда она переписала те строки, к которым отсылали пергаменты в раме. Он едва бросил взгляд на стихи второго столбца, пророчащие поэту изгнание, но долго не мог оторваться от третьего: одно лишь упоминание о Джентукке заставляло его сердце учащенно биться.

Прочтя строки, выписанные из первой части поэмы, он сразу же понял, что речь в них идет о графе Уголино, свергнутом правителе Пизы. Он, его сыновья и внуки были приговорены к голодной смерти и замурованы в башне. Строки *Чистилища* были из двадцать четвертой и тридцать второй песен:

Мне имя слышалось как бы Джентукки.

Есть дева, и еще не носит повязки жен!
Полюбишь за нее ты город мой, хоть всяк его поносит.

Иоанн, Иаков, Петр возведены

И в страхе я спросил: «Где Беатриче?»

Поняла ли монахиня эти строки? Ведь в них имена апостолов Петра, Иакова и Иоанна соседствовали с именем Беатриче и перекликались со строками, где упоминался граф Уголино, любящий отец, который, чтобы не огорчать сыновей, скрыл от них то, что ему было известно о печальной участи, постигшей вскоре его семью. Должно быть, Данте, познавший все тяготы бедности после конфискации семейного имущества, пережил нечто подобное на пути из Ватикана, когда его настигла весть о том, что черные гвельфы захватили власть во Флоренции и теперь он жалкий изгнанник. В тот миг поэт, видимо, испугался за участь жены и детей, которые остались в городе. Он боялся, что черные гвельфы станут их преследовать, пока Франческо не принес ему весть о том, что семья ожидает его в Ареццо. Там они провели вместе несколько дней. Это была мучительная встреча. Что он мог сказать родным? «У нас ничего не осталось, все, что было, у нас отобрали, я пустил вас по миру и больше ничем не могу вам помочь...»

«А Антония... — спрашивал Джованни самого себя, — что ей известно о Джентукке?» Наверное, только то, что сказано в этих строках: что была некая женщина, которая, когда Данте совершал свое воображаемое путешествие, *еще не носила повязки жен*, то есть была очень молода, и из-за которой поэт полюбил Лукку. Только это она и может знать. Что еще мог рассказать ей отец? Или же она давно в курсе дела?

Кто знает, что случилось с Джентуккой, где она теперь...

Чтобы вернуться к реальности и немного отвлечься от грустных мыслей, перед тем как снова приняться за работу, Джованни решил осмотреться. Кабинет, как и спальня, был обставлен довольно скромно: пустой стол, книжный шкаф, сундук... На сундуке был вырезан черный орел. Голова его была изображена в профиль, глаз

блестел рубиновым зрачком и алмазными ресницами, три из пяти алмазов были фальшивыми и выделялись своим матовым блеском. Между спальней и кабинетом отсутствовала дверь, ее заменяла тяжелая гардина. Рядом с ней, на стене, Джованни увидел меч. Он с интересом принялся рассматривать книги, среди которых находилось и несколько рукописей: одни бумажные, другие на пергаменте, самые редкие были завернуты в кожу, другие, похоже, переплетены заботливой рукой самого Данте. Здесь стояли справочники по истории и географии, великолепная Библия, сборник трудов Фомы Аквинского, «Этика» Аристотеля с комментариями Альберта Великого, антология провансальских трубадуров и «Пояснения к стихотворству» Раймона Видаля, «Сокровище» Брунетто Латини, учителя Данте, «Астрономия» арабского ученого Альфрагана, а вслед за ним древние классики: Цицерон, Вергилий, Овидий, Лукан и Стаций. Но особенно тронула Джованни одна тетрадка: открыв ее, он сразу узнал почерк Данте. То был небольшой блокнот, разлинованный вручную, записи в нем относились, по всей видимости, к первым годам ссылки поэта. То было время, когда он скитался от одного правителя к другому, из монастыря в монастырь и не мог завести собственную библиотеку, поэтому носил с собою эту тетрадь, куда записывал фрагменты из книг, которые читал в придворных и монастырских библиотеках. Джованни раскрыл первую попавшуюся страницу и принялся перелистывать блокнот, читая то здесь, то там отрывки из записей поэта. Почти все они были на латыни. Первая же фраза поразила его до глубины души: «*Primus gradus in descriptione numerorum incipit a dextera... si in primo gradu fuerit figura unitatis, unum representat; ...hoc est si figura unitatis secundum occupat gradum, denotat decem... Figura namque que in tertio fuerit gradu tot centenas denotat, vel in primo unitates, ut si figura unitatis centum*».^[8] Джованни сразу узнал Книгу *абака* Леонардо Фибоначчи, в ней говорилось о том, как следует использовать арабские обозначения в зависимости от позиции цифр. В частности, Фибоначчи объяснял, что *figura unitatis*, символ единицы, может означать один, десять или сто, в зависимости от того, в какой позиции она стоит, если считать справа налево. На деле к такой системе прибегали лишь банкиры да богатые купцы, она помогала им, когда дело касалось сложных торговых операций, а обычные люди продолжали считать по старинке, используя простую систему римских

цифр, более привычную и понятную. Джованни решил продолжать чтение, но на этом выписки из Фибоначчи заканчивались, за ними следовали цитаты из «Этики» Аристотеля. В отрывке говорилось об одиннадцати добродетелях; при этом десять из них могли быть развиты путем постоянной практики позитивных страстей, последняя же, справедливость, охватывала все прочие и называлась «совершенной добродетелью»,^[9] ибо предписывала жить честно и творить добро. Вслед за этой записью следовала другая: «Et quid est bonum,^[10] а что есть добро? *Любовь, что с солнцем движет хоры звездны* (этой строкой я завершу святую книгу)». Вот! Это и есть последняя строка *Комедии*, которой недоставало на пергаментях: тот самый «неподвижный двигатель»,^[11] нехватная точка отсчета, что приводит в движение солнце, что существует вне времени и вместе с тем порождает его, чье присутствие вечно. Об этом и говорила Антония.

Наконец Джованни уселся за стол и принялся переписывать тринадцатую песнь *Рая*. Времени было немного, поэтому он писал скорописью в надежде на то, что, когда появится время, перепишет начисто. Он быстро закончил. Ему не терпелось прочесть, что же будет дальше, поэтому он принялся перелистывать рукопись.

Кто знает, быть может, поэт зашифровал в строках поэмы указание на то, как найти последние песни? Он склонился над рукописью и погрузился в чтение рассказа о встрече поэта с крестоносцем Каччагвидо, как вдруг краем глаза уловил какое-то движение, словно чья-то тень мелькнула во дворе и украдкой метнулась в спальню с черного хода. Он поднялся и, стараясь двигаться как можно тише, медленно обнажил меч. Затем осторожно приподнял занавес над проходом в спальню. Затаив дыхание, он заглянул в комнату и увидел человека в черных одеждах, коротко стриженного и довольно крепкого. На вид ему было лет пятьдесят, но силой он не уступил бы тридцатилетнему, ведь чтобы пробраться в дом, ему пришлось перелезть через садовую ограду, а это была довольно высокая каменная стена. Он стоял у кровати, спиной к проходу, и пристально разглядывал странную композицию над простой кроватью поэта. Джованни стал тихонько приближаться, и, когда незнакомец наконец-то почувствовал его присутствие, он был уже на расстоянии вытянутого меча. Незнакомец резко обернулся, но

Джованни тут же выхватил меч и точным и быстрым движением нацелил его в горло противника, так что острие оказалось точно меж двух серебряных цепочек, что украшали шею незваного гостя, обрамляя тугой воротник его плаща. И тому ничего не оставалось, как изумленно поднять руки и сдаться.

— Кто вы? — спросил незнакомец Джованни, ничем не выдавая волнения.

— С каких это пор, — ответил Джованни, — воры требуют объяснений у хозяев дома?

Рванувшись вбок, незнакомец попытался проворно увильнуть от оружия противника, одновременно прикрываясь от острого клинка ладонью. Но Джованни был готов к такому повороту событий, он проткнул воротник незнакомца острием меча и быстро притянул его к себе. Противник потерял равновесие и упал к его ногам. Свободной рукой Джованни схватил цепь, что висела у того на груди, так что если бы незнакомец вдруг вздумал дернуться, то тут же задохнулся бы. Вдруг Джованни заметил на одной из цепочек серебряный медальон с изображением двух всадников на одной лошади. То был символ всадника, единого в двух ипостасях, монаха и воина, солдата воинства Христова, знак тамплиеров.

— Итак, теперь я вас спрашиваю, кто вы такой?

Рыцарь заговорил, и речь его напоминала поток, внезапно прорвавший плотину. Он даже не потрудился подняться на ноги, а остался сидеть на полу, облокотившись на кровать. Его слова полились подобно Арно, когда эта спокойная река выходит из берегов в окрестностях Пизы.

— Мое имя Бернар, как и того святого, что благословил священное воинство.^[12] Сам я француз, но поскольку был рожден от греховной связи, отец, в знак искупления, отвез меня в Святую землю, и я прожил там с двух лет до двадцати одного года. Мать моя осталась во Франции, вскоре после нашего отъезда она скончалась, — это все, что мне известно о ней. Я вырос в городе Акра в доме отца, детство мое пришлось на годы перемирия. Но вскоре с востока потянуло войной, поэтому подростком меня готовили к тому, что если мне суждено погибнуть в борьбе со злом, то я непременно попаду в рай. Я был рожден рыцарем Храма и воспитан в ненависти к неверным. Сын грешника, праведной жизнью я хотел искупить грех своего рождения. Теперь все кончено: орден пал, сначала в Иерусалиме, а потом и в Европе, и вот я здесь, чтобы найти последние песни *Рая*, ибо в поэме Данте сокрыта карта нового Храма; эту тайну доверил в минуту смерти Великий магистр ордена Гийом де Боже Жерару Монреальскому.

— Так, значит, у вас заведено забираться тайком в чужой дом, чтобы взять то, что вам не принадлежит? И все потому, что вы привыкли ненавидеть неверных?

— Я глубоко убежден, — ответил рыцарь, — что Данте был тайным учителем ордена. Ему было известно, где именно будет воздвигнут новый Храм, и он зашифровал карту в своих стихах. Я прибыл в Равенну, чтобы увидеть Данте и поговорить с ним, но оказалось, что я опоздал. Мы познакомились, когда во время последней поездки он ночевал в аббатстве Помпоза, но у нас не было времени поговорить, мы обменялись лишь парой фраз. Тогда я спросил его насчет книги, и он заверил меня, что книга закончена и что последние тринадцать песен находятся в надежном месте. Полагаю,

что он говорил об этом доме. Думаю, что такая предосторожность была вызвана тем, что поэт обещал Кангранде ди Верона^[13] не обнародовать поэму без его предварительного согласия. Конечно, это было сделано лишь для виду, Кангранде все равно никогда бы не понял тайного смысла этих стихов. Но факт остается фактом: Данте хотел сделать поэму достоянием гласности лишь после того, как вернется из Венеции. Следовательно, тринадцать песен должны быть где-то здесь, в надежном месте. В тот вечер в Помпозе Данте был не один, его сопровождали люди из посольства, свита и двое францисканцев. В такой пестрой компании мы не могли обсуждать поэму, тем более вслух и у всех на глазах, — это было совершенно невозможно. Но я абсолютно уверен, что Данте являлся тайным рыцарем нового Храма, это так же верно, как и то, что человек создан по образу и подобию Господа нашего...

— Какая-то нелепица, — промолвил Джованни.

Вместо ответа, незнакомец принялся рассказывать о своей жизни. Он был словно неопытный вор, который, будучи схваченным за руку, принимается объяснять, что оказался на месте преступления по чистой случайности. Джованни сидел на кровати прямо перед ним.

— Вы не представляете, сколь важна тайна Божественного Завета! Попробуйте это представить. В Акре я уже был близок к тому, чтобы полностью искупить грех своего рождения, и уже поставил на себе крест. Я мог бы давно быть в раю, среди других мучеников Христовых... И уж конечно, вовсе не думал о том, что окажусь в этом доме и в поисках нового Храма оскверню душу воровством. Ведь я уже побывал на том свете. И то, что днем позже я очнулся в доме Ахмеда, было чистой случайностью. Мы были знакомы еще до осады, Ахмед — араб, родом из Египта. Это врач, всецело преданный науке, и очень добрый человек. Он поистине творил чудеса и даже вылечил моего отца травами и семенами восточных растений. Перед войной мы жили на Святой земле, подавляя в себе ненависть к неверным, чтобы хоть как-то существовать рядом с ними, но и они в свою очередь должны были мириться с присутствием христиан, которых считали проповедниками многобожия из-за их веры в Святую Троицу.

На рынке арабы предлагали тебе понюхать волшебное снадобье, якобы восстанавливающее силы, которое готовили из розовой воды, масла мирта и сандала, а про себя шептали: «Язычник, ублюдок,

почитатель троицы». Я давно привык к подобному обращению и не задавался лишними вопросами. Я ненавидел неверных, но среди них у меня были и друзья, такие как Ахмед. Это была смесь ненависти и уважения, вот что творилось в те годы в Святой земле. Но вскоре прибыли крестоносцы, и все пошло наперекосяк. Среди них были генуэзцы, пизанцы и венецианцы, готовые на все ради наживы. Затем-то они и отправились в поход. А пока они рыскали в поисках, чем поживиться, вести войну приходилось французам. За ними в Палестину прибыли безумные фанатики, ищущие мученичества и приключений, они продавали египтянам пленных турок, которые затем убивали своих хозяев. Для них война была лишь способом заработать, поэтому они страстно хотели, чтобы она продолжалась, но я был еще слишком молод, чтобы понимать суть происходящего.

За два года до падения Акры турки окружили Триполи, и тогда я увидел, как итальянцы погрузили на корабли все богатства, что могли увезти из погибающего города, и бросили французам на лютую смерть в сражении с мамлюками. После того как город пал, жить в нем нельзя было еще несколько месяцев из-за запаха разлагающихся тел. Затем настала очередь Акры.

Среди прибывших в Святую землю были ломбардцы и жители Умбрии, среди них затесались шарлатаны и каторжники. Богатые итальянские города мечтали избавиться от них и поспешили отправить всех бандитов в Крестовый поход. Наш город оставался последним оплотом христианства в Святой земле; султан Египта ждал лишь предложения, чтобы избавиться от нас, а так как он был в десять раз сильнее, мы затаились, надеясь, что из Европы придет подкрепление. Но, увы, оттуда нам прислали лишь нищий сброд да безумцев, мечтавших о том, как, захватив Иерусалим, они впишут в страницы истории свои имена. Пока же Иерусалим был далеко, они рыскали по Акре в поисках врагов, чтобы вершить расправу. Они убивали любого, кто вызывал у них подозрение: торговцев, купцов, крестьян из дальних районов и даже тех горожан, что уже обратились в христианство, но не понимали итальянского и носили бороды, подобно арабам. Какая разница, кого убивать: Бог все равно распознает своих на том свете!

И тогда Господь покарал христиан за такие бесчинства: султан аль-Ашраф прибыл к городу с многотысячным войском и сотнями

катапульта, самые мощные из которых носили имена Победоносная, Грозная и Катапульта Черных Быков.

Нас же было всего восемьсот рыцарей и четырнадцать тысяч пехотинцев. Казалось, пришло время той самой войны, ради которой мы жили, которой так ждали с верой и воодушевлением. Но эта война обернулась адской мясорубкой. Месяц не прекращался огонь катапульта, камни и греческий огонь крушили стены и поджигали дома. Дважды наша конница предпринимала ночные вылазки, чтобы разрушить катапульты, но неудачно. В конце концов триста наших рыцарей вынуждены были спасаться бегством от десяти тысяч турецких всадников. Наша единственная катапульта находилась на корабле. Сначала корабль вел обстрел врага с моря, но в бурю он пошел ко дну. Финальный штурм аль-Ашрафа пришелся на пятницу, это было в начале мая. Мамлюки мгновенно взяли первые стены, захватили несколько башен, в том числе Королевскую и Проклятую, они хотели пробиться к воротам Святого Антония и Святого Романа. Мы были там и героически сражались...

Бернар рассказал, как участвовал в сражении, как видел смерть отца и друга, как неверные ворвались в город и забавы ради убили юную девушку. И как потом, когда было ясно, что все кончено, он в надежде на спасение бросился в порт, расталкивал всех подряд, пока наконец не упал, сраженный ударом другого несчастного.

На следующий день он очнулся в доме Ахмеда и понял, что каким-то чудом остался жив.

— Вот такие вещи случались в Святой земле, — продолжал он, — ты мог остаться в живых после яростной схватки с полчищами неверных под предводительством египетского султана, чуть не погибнуть от руки христианина, всадившего тебе меч в спину, и выжить только благодаря арабу-мусульманину! Как видно, мир куда сложнее, чем мы себе представляем. И война слишком уж простая схема, чтобы что-то в нем изменить.

Добрый Ахмед ходил за мной, как за собственным сыном, его дом был окружен садом, который он сам насадил когда-то посреди поля. Он рассказал мне, как после битвы отправился в порт, чтобы предложить помощь нуждающимся в ней, и нашел меня. Он подозвал знакомого, и они погрузили меня на телегу. Я потерял очень много крови и выжил каким-то чудом. Я оставался в доме Ахмеда около года,

пока окончательно не оправился от ран. Все это время мы делали вид, что я его раб, чтобы у людей не возникало лишних вопросов. Ахмед был мудрый человек, он говорил, что на этой земле, где Азия выходит к Средиземному морю, покоя не было, нет и не будет, ведь это не просто территория — здесь проходит граница трех царств. Сюда стремятся многие народы: из Константинополя сюда доходили греки, из-за моря — франки, из степей — турки, из пустыни — арабы, из египетских земель — мамлюки, и даже монголы добирались сюда из самого Китая. Но земля эта была не только местом постоянных сражений, но и точкой пересечения разных культур, перекрестком цивилизаций. Он показал мне свою библиотеку, в которой хранилось много известных рукописей. «Оказавшись на этой заброшенной земле, арабы обнаружили здесь забытые искусства, они заново открыли греческую философию и геометрию, индийскую математику и астрономию древних египтян и вавилонян, а также многие другие бесценные науки, стекавшиеся сюда с разных концов света вместе с людьми. Они принялись развивать эти знания и приумножать их с поистине религиозным рвением, — рассказывал Ахмед. — Но теперь, с приходом мамлюков, культура, науки и искусства постепенно вырождаются, ведь мамлюки — это бывшие рабы, способные только к войне. Еще немного — и арабская культура окончательно падет, даже варвары-франки, прибывшие из-за моря, скоро станут умнее нас». Он говорил, что встреча великих культур оставляет глубокий след, гораздо глубже, чем война. «Бросай воевать, Бернар, займись наукой, учись! — часто повторял мне Ахмед. — Наука — вот что вечно, у нее нет ни родины, ни вероисповедания, она принадлежит лишь тем, кто посвящает ей всю свою жизнь. Христиане пробыли на нашей земле более двухсот лет, но какую пользу извлекли вы из учиненных вами побоищ? Что вы оставили после себя, кроме руин? Но если бы вы, уходя, взяли с собою книги наших математиков, врачей и философов, Абу Али Хусейна или Мухаммеда ибн Хорезми, изучили бы их хорошенько, добавили бы к их наблюдениям свои собственные; если бы вы приумножили те знания, что накопили арабы за долгое время, собирая их по крупицам из копилки разных народов, — это принесло бы великую пользу, куда большую, нежели реки крови, пролитые в этой пустыне. Если землю поливать кровью, плодородней она не станет. И если ты любишь свой народ, послушай меня! Учись,

познавай науки, это великое наследие, дающее людям связь с Богом, наука — это и есть истинная любовь к Господу, забудь ты о мученичестве и крови!»

Останься я у него, Ахмед выучил бы меня арабскому письму и показал, как читать ученые книги. Но я родился рыцарем и не знал даже латыни. Даже если бы я научился читать по-арабски, все равно не смог бы перевести ни строчки из этих ценнейших книг — да и на какой язык их следовало переводить? Кроме того, оставаться на Святой земле становилось слишком опасно. Я немного говорил по-гречески и был знаком с одним капитаном, поэтому я попрощался с Ахмедом и сел на византийский корабль. В порту мы расстались, обещая друг другу, что встретимся в раю, и не важно, каким он будет, мусульманским или христианским.

Только оказавшись во Франции, я понял, как глубоко заблуждались жившие в Святой земле, наивно полагая, что являются передовым отрядом той самой Европы, которая двести лет назад посылала в Крестовые походы Готфрида, Боэмунда и Балдуина.^[14] Все давно изменилось: принадлежность к ордену давала возможность заработать, поэтому штаб ордена превратился в машину для производства денег, а рыцари, которые когда-то играли важную роль, оказались всего лишь второстепенными фигурами. Теперь оруженосец, который умел считать проценты, значил куда больше, чем воин, готовый отдать жизнь за Святую землю. Я увидел, что богатствам ордена нет числа: подарки знати, земельная рента и ростовщичество давали немалые доходы, которые должны были идти на Крестовые походы, однако крестоносцы уже никого не интересовали. Тогда я покинул воинство Храма, и вскоре после этого предводителей его арестовали. Когда тамплиеров стали преследовать, я направился сюда. Италия — надежное место для бывших рыцарей: здесь нет короля, в каждой деревушке свои законы, при этом пять жителей из шести и не думают их соблюдать. Суд здесь вершится церковниками, при этом почти всегда тамплиеров готовы оправдать, в Равенне именно так и было. Поначалу я поступил в войско императора Генриха Седьмого, в гарнизон Угуччоне делла Фаджуола. Но пробыл с ними недолго, ведь я все-таки рыцарь-монах, и мне было тяжело общаться с солдатами, которые только и делают, что богохульствуют, грабят деревни да насилуют золотушных крестьянок. Я не привык

убивать христиан, меня приучили верить в то, что попасть в рай можно, только погибнув в бою с неверными, поэтому я стал бояться смерти. Для меня этот мир оказался слишком сложным. Когда орден распался, рыцари, кто хотел, могли обзавестись хозяйством или получить от ордена госпитальеров^[15] небольшую пенсию. Так что теперь я тамплиер на пенсии.

Джованни с неподдельным интересом слушал рассказ об Акре. Сначала он было подумал, что ему удалось поймать убийцу Данте, который зачем-то вернулся на место преступления, однако, слушая рассказ Бернара, он все больше убеждался в том, что этот человек не имеет ни малейшего отношения к смерти поэта.

— Так это не вы отравили Данте, — сказал он.

Бернар поднял голову и удивленно посмотрел на собеседника:

— С чего вы взяли? Что побудило вас... — Он даже не смог закончить фразу — так искренне было его удивление.

Тогда Джованни рассказал ему о своих подозрениях.

— Жалкие псы! — воскликнул Бернар. — Это были францисканцы!

Джованни не подозревал францисканцев, и прежде всего потому, что Данте глубоко уважал представителей этого ордена, однако присутствие среди свиты посольства двух представителей братства святого Франциска его несколько насторожило. Он попросил Бернара подробнее рассказать о них. Тогда рыцарь поведал ему об обеде в монастыре, на котором присутствовал аббат, трое из миссии Данте и двое францисканцев, которые присоединились к посольству и сопровождали его до города Кьоджа. Сам Бернар сидел за соседним столом со стражниками, которые громко обсуждали выпивку и знакомых шлюх. Но он не участвовал в беседе сотрапезников, а смотрел в другую сторону. За соседним столом велись разговоры о Церкви, о политике и империи. Двое меньших братьев вызвали у него кое-какие подозрения, они были не похожи на монахов: не участвовали в разговоре и часто перебивали беседующих, предлагая очередной тост, так что к концу трапезы совсем охмелели. Один из них был высок и худощав и, судя по выговору, вырос в Тоскане. На правой щеке у него виднелся шрам в виде перевернутой буквы «L», — по правде сказать, ему подходила роль скорее солдата, нежели монаха. Его товарищ был невысок, довольно плотного сложения. Сильный акцент с

подчеркнутым «ю» выдавал в нем южанина, скорее всего жителя Апулии, так как в речи его проскальзывали и другие особенности, характерные для этой местности. Больше Бернару было нечего добавить, так как сразу после обеда он отправился в Равенну, где собирался дожидаться возвращения Данте. Ученик поэта позволил ему за небольшую плату переписать первые двадцать песен *Рая. Ад и Чистилище* он раздобыл, когда находился в Вероне.

Бернар закончил рассказ, и они простились как старые друзья, пообещав помогать друг другу: Джованни сделает все, чтобы поскорее найти последние песни поэмы, а Бернар поможет ему расследовать странную смерть поэта. Бернар считал, что нужно любой ценой разыскать двух францисканцев, которые, возможно, лишь притворялись монахами. Совершенно очевидно, что кто-то хотел завладеть тайной нового Храма. После того как Святой город вновь оказался в руках султана, крестоносцы перенесли великую тайну из Иерусалима в новое место. Теперь она надежно спрятана, а где — можно узнать, внимательно прочитав поэму. Данте знал секрет крестоносцев, он был одним из хранителей древнего знания. Его послание спрятано в девятисложных стихах, это о нем Бернар слышал тогда в Акре! Гийом де Боже, отец Бернара и сам Данте умерли ради великого дела, он в этом убежден...

Бернар ушел тем же путем, что и проник в дом: просунулся в окно, уцепился руками за стену, подтянулся и спрыгнул вниз. Джованни восхитился его силой и ловкостью, но разговоры о новом Храме показались ему совершенно бессмысленными. Как видно, этот рыцарь не мог смириться с тем, что все оказалось напрасно, что тысячи людей погибли лишь ради наживы, которую король Франции и жадные венецианцы получили ценою их жизней, ведь он и сам сражался и видел, как в бою погиб его отец!

Вот какие дела творились в Святой земле.

После ухода Бернара Джованни вновь принялся за чтение *Рая*, надеясь найти в поэме хоть какой-то намек на то, куда мог Данте спрятать последние песни. Восемнадцатая песнь с самого начала показалась ему удивительной: в ней Данте попадает на небо Марса и смотрит на Беатриче, а от нее исходит такое яркое Божественное сияние, что при виде его поэт освобождается от всех земных желаний. Если судить по этим строчкам, то отношения Данте и Беатриче

сводились лишь к обмену несколькими взглядами на улицах города. Джованни представил, как все это было: они смотрят друг на друга лишь пару мгновений и тут же отводят глаза. В *Рая* Данте даже забывает о Боге, ему хватает лишь малой части Божественного — земной любви. А Беатриче упрекает его за это: *Не у меня в очах лишь сущность рая.*

Наконец Данте поднимается на небо Юпитера и присутствует при удивительном зрелище. Души кружатся в воздухе, словно солнечные зайчики, и поют — такой прекрасный танец света и музыки. Время от времени они останавливаются, образуя на лету разные фигуры, точно морские птицы, что носятся над морем недалеко от берега, и выстраиваются в буквы алфавита, сначала «D», потом «I» и, наконец, «L». Когда они составляют одну из букв, то останавливаются и замолкают, а потом возобновляют свой танец, и так продолжается снова и снова. Танцуют и останавливаются, танцуют и останавливаются, пока не покажут все буквы первого стиха Книги премудрости Соломона: «Любите справедливость, судьи земли».^[16] Когда они заканчивают эту строку и изображают последнюю букву, на смену им прибывают другие светящиеся души, которые объединяются и изображают голову орла, а последняя буква тоже становится его частью.

Этот орел описывается в двадцатой песне *Рая*: голова его повернута в профиль, единственный глаз состоит из шести светящихся душ, из которых одна являет собою зрачок орла, а пять других — ресницы, при этом два огонька горят чуть ярче, чем остальные. Джованни подумал, что где-то уже видел такого же орла, но где именно?

И вдруг он вспомнил и, обернувшись, увидел голову орла всего в нескольких шагах от стола, за которым сидел.

VI

Когда сестра Беатриче вернулась домой с вечерней молитвы и зашла в кабинет отца, Джованни стоял на коленях перед сундуком и разглядывал черного орла, вырезанного на крышке. Антония провела весь день, думая о незнакомце из Лукки, она никак не могла выкинуть из головы этого человека. И теперь, непонятно почему, она была рада, что Джованни все еще здесь. Услышав ее шаги, Джованни приподнялся.

— Тут двойное дно... — сказал он, указывая на сундук.

Антония не сразу поняла, в чем дело, и Джованни пришлось объяснять ей, почему за все это время он успел переписать лишь одну песнь, но когда стал читать остальные, то в последней песне нашел ключ к разгадке тайны: это черный орел на крышке сундука. Возможно, исчезнувшие песни поэмы находятся именно там. Чтобы открыть потайной ящик на дне сундука, достаточно коснуться пальцами зрачка орла и двух ярких алмазов, что образуют ресницы.

— Первый и пятый, — повторил Джованни, — Траян и Рифей... Нажимаешь — и раздается щелчок. Я как раз нажал, когда услышал звук ваших шагов, и поспешил закрыть потайной ящик. Но я успел почувствовать пальцем, что между первым и вторым дном этого сундука находятся листы бумаги. Разгадку этого ребуса вы найдете в двадцатой песне, где говорится о светящемся орле, который состоит из блаженных душ, сияющих светом праведным. Данте встречается с орлом на небе Юпитера, в надзвездных сферах справедливости, и этот орел изображен в поэме точно так же, как и на этом сундуке. Глаз его состоит из шести драгоценных камней, а на небе Юпитера это шесть блаженных духов, один из них в центре и представляет зрачок орла, а пятеро сияют вокруг него.

Сестра Беатриче предложила ему сесть и рассказать подробнее, но Джованни хотел во что бы то ни стало уступить ей стул, и в итоге оба они так и остались стоять посреди комнаты.

— Видимо, орел — это символ единой империи или, что еще вероятней, символ справедливости... — продолжал Джованни.

— Орел — это не просто символ империи, — уточнила Антония, — он и есть империя, поскольку воплощением империи является таинственный орел. Земная власть — это всего лишь тонкий луч от огромного солнца вечной справедливости, как и земная красота Беатриче — не более чем отблеск абсолютной Божественной красоты. Власть земных владык законна лишь до тех пор, пока она воплощает высший закон и справедливость, которым мой отец приписывал Божественное происхождение.

— Да, это так, — ответил Джованни, — когда я читал поэму, мне тоже показалось, что в девятнадцатой песни поэт отсылает нас к теме единства справедливости, поскольку орел состоит из сотни светящихся духов; он должен бы говорить «мы», но он говорит о себе «я», словно целое, неделимое существо. Ибо в мире существует лишь одна справедливость, и те, кто возлюбил ее при жизни, способны отказаться от многого, даже от себя самого, чтобы стать частью великого целого.

Джованни снова присел и приготовился открыть крышку.

— Так, значит, на небе Юпитера Данте говорит со справедливостью, а тысячи праведных духов сливаются в единый голос, чтобы выразить ее волю. Из многих рождается единое, ибо все ручьи когда-нибудь впадают в большую реку и растворяются в ней...

На этом их разговор был прерван появлением Пьетро, Якопо и Джеммы, которые вернулись домой. Джованни поднялся, делая вид, что потирает колено. Пьетро, успевший услышать обрывок их разговора, решил присоединиться к обсуждению. Это был молодой человек среднего роста, по характеру сдержанный и замкнутый. Он извинился за то, что прерывает их беседу, и добавил, что много думал об уникальности справедливости, той самой добродетели, которую отец ценил превыше всех остальных и горячо воспел в своей поэме. Отец говорил, что в мире действует Божественная справедливость, и даже если нам, простым смертным, непонятны переплетения ее нитей, она все равно существует и творит свое предназначение. Люди отвыкли от истинной справедливости, они извратили все понятия о ней и стали думать, что могут сами судить о том, что есть справедливость. Затем он прочитал стихотворение Данте «Три дамы к сердцу подступили вместе» и ударился в разъяснения:

— Три милые сердцу поэта девы, которые танцуют вокруг него в этом стихотворении, — это аллегии *трех форм права*. Первая — это

Божественный закон, который порождает все остальные, — его символом является орел, который говорит с Данте в раю. Формула этого закона приводится в Евангелии, она суммирует в себе смысл всех остальных заповедей: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Две другие девы — это воплощения первого закона, а именно общенародное и гражданское право, которые приспособливают к потребностям каждого людского сообщества главные принципы первоначальной формулы.

Антония несколько раз покосилась на Джованни, давая понять, чтобы он пока не рассказывал Пьетро о том, что они обнаружили в сундуке двойное дно. По крайней мере, так истолковал ее знаки Джованни. Меж тем Пьетро продолжал:

— Идея единства закона подводит Данте к мысли о необходимости единого европейского правительства, под управлением которого находились бы местные власти отдельных государств. Вы, конечно, знаете, какие горячие споры ведутся нынче о взаимоотношениях между всеобщим правом и местными законами разных королевств, герцогств и городов...

— Кризис империи, — добавил Джованни, — породил по всей стране невероятный хаос, ведь теперь власти каждого города придумывают собственные законы, которые не имеют ничего общего с законами других городов. В итоге ни о каком всеобщем праве не может быть и речи. У французов и англичан — короли, у немцев — император, в Италии же царит полнейшая анархия: каждым городом правит какая-то партия, которая и принимает законы, выгодные для одних и неприемлемые для их противников. До общего блага никому и дела нет, всякий, кто дорвался до власти, стремится навязать свои законы, и при таком раскладе права имеют лишь богатые и власть имущие, все остальные пред ними бесправны.

— Такое положение вещей совершенно не нравилось моему отцу, — заметил Пьетро. — Все это еще могло как-то работать, пока города были столь малы, что ничем не отличались от деревень, — ведь если все друг друга знают, желание сохранить репутацию может как-то повлиять на тех, кто издает законы. Но теперь все изменилось — некоторые флорентийские банкиры имеют конторы по всей Европе, деньги к ним льются рекой со всех сторон, они обогатились за счет мелких торговцев и ремесленников. А те тянут лямку, пытаюсь хоть

как-то прокормиться. Отсутствие справедливых законов, безмерная жадность, попрание человеческих прав — все это делает невыносимой жизнь тех, кому дорог мир и общественный порядок, науки и искусства, уравновешенный и осмысленный образ жизни, собственный город...

В глубине души сестра Беатриче была бесконечно рада, подметив, что Пьетро и Джованни сразу нашли общий язык. Потом их разговор обратился к поэме. Пьетро был сильно обеспокоен тем, что неверные и даже опасные толкования сочинения Данте множились день ото дня: одни воспринимали *Комедию* как новое Священное Писание, другие — как своего рода книгу пророчеств, третьи всерьез утверждали, что Данте был на том свете и описал все, что там увидел. Пьетро пытался доказать, что все это — не больше чем аллегория и литература. Любые мистические толкования произведения отца были весьма опасны, так как могли вызвать недовольство со стороны церковных иерархов. Поэтому он подумывал о том, чтобы написать к поэме обширный и подробный комментарий. Тогда Джованни рассказал ему о том, что тамплиеры утверждают, будто поэма Данте несет в себе секретное послание рыцарей Храма, а сам поэт являлся ее хранителем. Пьетро недоверчиво покачал головой — такая история его совсем не радовала. Потом они простились: Джованни вернулся в гостиницу, а братья Алигьери — к себе домой.

Антония и Джемма остались одни: сестра Беатриче крепко обняла мать. Так они просидели некоторое время в полной тишине. Антония потеряла счет времени. Ощущение горечи и смутные предчувствия не покидали ее. Затем Джемма отправилась в спальню и долго смотрела на большую кровать, которая была когда-то ее супружеским ложем. «Эта пустая постель и есть зеркало моей жизни», — прошептала она. Джемма очень утомилась за день и все же боялась лечь спать. Она знала, что быстро ей не уснуть, потому что едва она ляжет в постель, как мысли унесут ее в далекое прошлое, где она снова окажется одна с маленькими детьми и будет перебиваться изо дня в день без средств к существованию. Что касается сегодняшнего дня, то за Пьетро мать была спокойна: его карьера в Вероне устраивалась как нельзя лучше, рядом находилась заботливая женщина, и все же грусть не оставляла ее, ведь Джемма знала, что больше они не увидятся. А вот Якопо разочаровал материнское сердце: он, с его горячим характером и

падкостью на женщин, был слишком импульсивен, слишком непредсказуем. Однако радовало то, что по крайней мере один из сыновей останется при ней. Джемма знала, что стоит ей уехать из Равенны, как и Антония окажется от нее очень далеко, но гнала от себя эту мысль изо дня в день, не в силах справиться еще с одной болью. Она даже придумала себе в утешение историю, как молодой человек из Лукки, который последнее время вертелся вокруг Антонии, похитит ее из монастыря и увезет в Тоскану. И тогда все соберутся во Флоренции и она сможет посвятить себя заботам о внуках. Хотя эта мысль была отнюдь не благочестивой, она приносила ей невероятное облегчение. Наконец она представила себе великолепную свадьбу и заснула.

После ухода матери сестра Беатриче присела на скамейку в саду и стала смотреть на звезды. Необъятность ночи невольно обращала к молитве, порождала неясное желание чего-то огромного. Она подумала, что нечто подобное чувствовал и отец перед тем, как принялся писать *Рай*. Но для нее это чувство вылилось в неопределенное ожидание, для которого у нее не было слов. Ведь подобрать слова для того, чтобы описать тоску по неизвестному, почти невозможно. Иногда Антония как бы раздваивалась: дочь Данте и послушница Беатриче становились двумя разными женщинами.

«Зачем ты приняла постриг?» — настойчиво вопрошал ее коварный голос, а память подкидывала образы счастливого детства в надежных и крепких отцовских руках. Потом она вспоминала о тех чудовищных днях, когда его приговорили к изгнанию, — для нее это было время боли и страха, ибо она боялась, что больше его не увидит. Возможно, дело было в том, что мать оставалась совсем одна, но Антония не собиралась уезжать из города даже после того, как Пьетро и Якопо, которым едва исполнилось по четырнадцать лет, были вынуждены покинуть Флоренцию по приказу коммуны и отправиться в изгнание вслед за отцом. Ее мать отчаянно противилась постригу, она мечтала о том, что Антония выйдет замуж за достойного человека и познает счастье, которого лишили саму Джемму. Но молодые флорентийцы презирали дочь изгнанника. Никто не отваживался просить ее руки, а бедственное положение, в котором оказалась семья Алигьери, вызывало опасения даже у самых бесстрашных поклонников. Правда, были и такие, которые пытались добиться от нее взаимности, однако жениться никто не собирался. Наивные юноши из

хороших семей надеялись, что она станет доступной добычей, потому что терять ей было нечего. Но она не могла пойти на такое унижение, ведь она была дочерью Данте.

«Все дело в твоей глупой гордости, — злобно нашептывал ей внутренний голос. В твоём высокомерии... У тебя нет призвания к жизни в монастыре, ты выбрала себе эту нелегкую судьбу только из-за того, что не можешь простить обиды». Когда хотела, Антония умела быть неумолимой и безжалостной к себе и к другим. Ей оставался выбор между монастырем и одиночеством старой девы. «Тебе бы следовало согласиться на брак с человеком, которого выбрал твой дядя, а потом молиться о его скорой смерти; овдовев, ты могла бы вести свободную и достойную жизнь».

Сестре Беатриче только и оставалось, что вести внутренний диалог с этим голосом, но она не боялась его. Как можно говорить о крепкой вере, когда какие-то стихи вызывают у нее столько сомнений? Но ведь критиковать всех подряд и даже саму себя она привыкла с раннего детства, она всегда подвергала сомнению каждое слово в отчаянной попытке понять самую суть вещей. Со временем она научилась сосуществовать с неумолимым судьей, что жил у нее внутри. Недаром она была дочерью Данте.

Теперь, когда отца не стало, она вновь услышала голос своего второго «я», и он посеял в ней сомнения о правильности избранного пути... «А может, я сделала это только для того, чтобы бежать из Флоренции и последовать за отцом?» Но теперь голос был едва слышен, она уже научилась не обращать на него внимания и не принимала больше всерьез его упреки. «А что же Джованни? О нем ты забыла? Симпатичный юноша, не так ли? А если бы вы были вместе? Вы едва знакомы, но ты только о нем и думаешь... Жаль, что твоя одежда не может уберечь тебя от мыслей».

Затем ее размышления вновь обратились к орлу и сундуку. Держа в руке горящую свечу, Антония вернулась в отцовский кабинет и поставила подсвечник в стенную нишу прямо над сундуком, потом достала рукопись и стала перечитывать двадцатую песнь *Рая*, чтобы еще раз обдумать слова Джованни о тайне, которую хранили эти строки. Конечно, она прекрасно знала, что отец сомневался в справедливости теодицеи.^[17] Разве может быть *Рай* без Вергилия, без Аристотеля, без бессмертного Гомера, без Аверроэса? Господь должен

ценить тех, кто внес такой огромный вклад, чтобы обеспечить счастье ближних, и не важно, что они язычники или неверные. Эта мысль не оставляла Данте. Он надеялся на встречу с Беатриче в раю и мечтал узреть Господа, но не отказался бы и от того, чтобы перебраться несколькими словами с Цицероном, Платоном, Сенекой или Луканом. Может быть, они могли бы побеседовать молча, как это делают ангелы, просто читая мысли. Потому что среди современников Данте было лишь два-три человека, с которыми он охотно встретился бы в раю.

И именно поэтому в двадцатой песни, где говорится о Божественной справедливости, поэт делится своими сомнениями с читателем, а затем сам же дает ответ на поставленный вопрос, присутствуя при чудесном спасении двух язычников, освещенных Божественным милосердием. Орел обращает внимание Данте на тех, чьи души светятся вокруг его зрачка. Сам зрачок — это душа царя Давида, а вокруг нее ярко горят пять самых праведных духов, среди которых поэт видит Рифея и Траяна. Оба они — язычники, но почему-то находятся в раю и сверкают ярче остальных. Так вот почему Джованни обратился к орлу на крышке сундука! Как там он сказал? «Надо нажать на зрачок орла и более яркие камни, образующие его ресницы, а затем слегка нажать». Возможно, в сундуке спрятаны последние песни поэмы!

Сестра Беатриче последовательно повторила все рекомендации и услышала щелчок, после чего ей оставалось лишь протянуть руку и вытащить из сундука несколько листов бумаги. Затем она внимательно ощупала потайной ящик и убедилась, что больше там ничего нет.

«Да уж, последние песни оказались довольно короткими», — скептически заметила одна из ее половинок. Вторая молчала. Сестра Беатриче взяла листы и принялась внимательно изучать их при свете свечи.

VII

Джованни, выдавая себя за поклонника Данте, который хочет написать его биографию, расспрашивал о поэте каждого, кто попадался под руку. Выехав поздно ночью, в аббатство Помпоза он прибыл к полудню. Солнце взошло не так давно, но воздух уже раскалился, а над полями еще висела слабая дымка. Ветра не было и в помине, воздух казался недвижимым, спертым и затхлым. Время будто остановилось, как это бывает, когда в голове вертится одна и та же мысль и ты никак не можешь от нее избавиться. И вдруг из белого тумана внезапно выросли серые стены монастыря.

Войдя через северные ворота, Джованни подал привратнику пожертвование и предоставил лошадь заботам конюхов, а сам направился к церкви. Но прежде чем войти, он внимательно осмотрел внушительную колокольню. Чем выше она вздымалась, тем больше становились окна, а на последнем этаже их сменили широкие четырехугольные проемы. Форма крыши немного напоминала конус, а основание представляло собой окружность, в которую прекрасно вписывалась квадратная планировка здания. Эта колокольня казалась миниатюрной моделью мира и словно отражала его сущность: все в мире связано и замкнуто в круг, а конус постепенно сужает круг до маленькой точки. Все многообразие мира сводится к одному!

Джованни пересек внутренний двор и успел зайти в церковь до конца службы. Там еще оставалось восемь монахов из клироса, которые пели *Ave Regina* Маркетто Падуанского, четверо из них вели первый голос, остальные подтягивали вторым, сохраняя гармонию песнопения. Место аббата пустовало. Внимательно осмотревшись, Джованни заметил, что северный неф церкви со стороны колокольни закрыт лесами, а фресок не видно. Тогда он направился в другую сторону и остановился перед фреской, изображавшей святого Петра, который хотел пройти по воде, как это делал Иисус. «Человек пытается подражать Богу, — подумал Джованни, — но все его попытки обречены на провал».

Когда служба закончилась, он подошел к монахам, которые тем временем проследовали в главную залу монастыря.

— Меня зовут Джованни, я прибыл из Лукки, — представился он тому, что был постарше и имел неприступный и гордый вид.

Но тот не удостоил его ответом. Джованни подумал, что в этом месте царит какая-то странная атмосфера, а то, что в такой большой обители хор состоит лишь из восьми монахов, показалось ему дурным знаком.

— Джованни из Лукки, очень приятно, — попробовал он обратиться к другому монаху.

Этому было лет тридцать пять, и вид его выдавал человека утонченного и привыкшего к изяществу. Затем Джованни добавил, что думает написать биографию Данте и слышал о том, что поэт недавно побывал в Помпозе.

— Меня зовут отец Фацио, — ответил монах, но тут же прибавил, что о Данте ему рассказать нечего. Он видел его всего два-три раза, когда поэт приезжал в аббатство, и ничего о нем не знает.

Тогда Джованни спросил, почему на службе было так мало монахов. Отец Фацио поднял глаза к небу и горько усмехнулся.

— А как же тени, сын мой? — ответил он. — Ведь вы их не сосчитали. Если бы к тем, кого вы видели на службе, присоединились бы все остальные, то до Царства Божия на земле было бы рукой подать. Большинство монахов этого аббатства лишь тени: они приписаны к нашей обители, но никто никогда их не видел. Как видно, нездоровый воздух этих мест заставляет их подчиняться собственным правилам, вопреки всем заветам святого Бенедикта. Но стоит вам отправиться в Феррару или Равенну — и вы всенепременно встретитесь со многими из этих братьев, хотя в простом городском платье вам будет нелегко узнать наших монахов. Если так и дальше пойдет, то рано или поздно Помпоза перестанет быть аббатством и папа велит закрыть эту обитель.

С этими словами отец Фацио вздохнул и удалился, пожимая плечами и продолжая что-то бубнить.

Джованни пересек большой внутренний двор монастыря и обнаружил с другой стороны церкви две трапезные комнаты: та, что была побольше, предназначалась для монахов, другая, поменьше, — для гостей.

Здесь он остановился: делегация из Равенны должна была обедать именно в этой комнате.

— Рано еще трапезничать, — заметил монах, дежурный по кухне, который как раз проходил через залу.

Джованни представился и принялся расспрашивать его о том дне, когда флорентийский поэт обедал в аббатстве.

— Он съел немного супа, отварной курицы и выпил нашего лучшего вина — санджоретто, — ответил монах, который недопонял вопрос Джованни. При упоминании вина лицо его озарилось улыбкой.

Тогда Джованни спросил, помнит ли он поэта и был ли еще кто-то, кто обедал в аббатстве в тот день. Монах подтвердил слова Бернара о том, что с поэтом трапезничали двое проезжих монахов. Один был высокий и худой, другой пониже и в теле, оба принадлежали к ордену францисканцев. Еще с ними был рыцарь, высокий, бритый наголо и одетый в черное, он сидел за соседним столом вместе со стражей. Он говорил с Данте после обеда. На следующее утро все разъехались сразу после того, как в аббатство прибыла венецианская делегация. Видимо, двое францисканцев присоединились к посольству, поскольку они держали путь в Венецию.

— Какое впечатление сложилось у вас об этих монахах? — спросил Джованни.

— Как вам известно, францисканцы обычно довольно сдержанны, они проповедуют аскетизм и радость христианской жизни. Эти же двое были чересчур оживленными... как бы это сказать... невоздержанными, аскетизмом тут и не пахло. Они все время произносили тосты и пили вино, так что мне показалось, что Данте от них порядком устал. Они называли друг друга обычными именами, а не теми, которые даются после принятия пострига... Низкорослого звали Чекко, он был из Абруцци. Я хорошо запомнил его, потому что он рассказал мне, что после недолгого путешествия в Венецию оба они вернутся в Болонью, откуда выехали несколько недель назад. Узнав об этом, я передал ему записку для своего знакомого францисканца, который преподает в Болонском университете.

Теперь Джованни знал, где искать меньших братьев. Он расскажет обо всем Бернару и попросит рыцаря составить ему компанию. В Болонье у Джованни есть близкий друг, Бруно да Ландзано, с которым они когда-то вместе учились, у него путешественники смогут остановиться. Джованни решил, что было бы хорошо встретиться и переговорить с отцом настоятелем, но оказалось, что такового в

аббатстве не существует. Последний, дон Энрико, уже год как отошел в мир иной.

— Но кто же тогда принимал делегацию, если в аббатстве нет настоятеля? — спросил Джованни.

— Дон Бинато, кандидат в настоятели, в этой должности он устроил бы и Полентани, и его святейшество папу. Вторым кандидатом долгое время считался дон Фацио, близкий друг семейства д'Эсте, правителей Феррары, но сейчас он тише воды ниже травы. По-моему, он горячо надеялся на то, что между Венецией и Равенной разгорится война, — тогда семья Эсте взяла бы наше аббатство под свой контроль и он стал бы настоятелем.

Монах рассказал Джованни о разногласиях между приверженцами семьи д'Эсте и авиньонским папой, в результате чего монастырь оказался между молотом и наковальней. В Помпозу постоянно прибывали беглецы из других орденов, религиозные философы и бывшие тамплиеры, которые подвергались преследованиям со стороны папы. Он поведал об упадке монастырской жизни, которая держалась здоровым смыслом нескольких монахов и была лишена какой бы то ни было поддержки извне. После этого монах предложил Джованни отобедать за небольшое пожертвование в пользу аббатства. Обед состоял из чечевичной похлебки и куриного бульона, за трапезой они снова разговорились. Джованни попробовал знаменитого вина. Услышав о том, что его собеседник — врач, монах посоветовал Джованни зайти в монастырскую аптеку, которая находилась тут же неподалеку, а вход был расположен на главной площади, чтобы любой желающий мог сразу ее найти. После небольшой прогулки вдоль стен монастыря Джованни направился в аптеку.

— Позвольте представиться, меня зовут Джованни, я прибыл из Лукки.

Отец Агостино, аптекарь аббатства, хорошо разбирался в лекарственных травах и был настоящим знатоком в том, что касалось всевозможных растений. Джованни сразу же обрушился на монаха с вопросами. Поскольку он проявил повышенный интерес к ядам, отец Агостино насторожился. Такая тема показалась ему несколько странной для человека, который заявил, что прибыл в Помпозу, чтобы поговорить о поэте. Тогда Джованни признался, что по профессии он

врач и потому его интересует как поэзия Данте, так и лекарственные растения и яды.

— Вы думаете, что Данте отравили, не так ли? И что это случилось именно здесь, в Помпозе? — тихо спросил аптекарь. Джованни не ожидал такого прямого вопроса и немного растерялся. Монах тем временем продолжал: — В тот самый день, когда Данте прибыл в аббатство, я ненадолго вышел из аптеки по делам, а когда вернулся, то обнаружил, что с полки исчез мышьяк. Его мог взять кто угодно, несмотря на то что в аптеке оставался молодой послушник. Ведь парень был не слишком смышленным и дорого поплатился за это. Он часто пользовался моим отсутствием, чтобы обдeldывать свои делишки. И вот его отравили. Это случилось в тот самый день, когда Данте посетил аббатство, сразу после обеда. Именно этот послушник прислуживал за столом посольству из Равенны, в том числе и Данте.

— Да что вы! Кто-то отравил послушника? Говорите, он был еще молод?

— Да, всего восемнадцать лет.

— Скорее всего, яд был предназначен не для него. Возможно, он убирал еду со столов и что-нибудь съел или выпил?

— Он часто доедал за гостями, остатки обеда были платой за его службу.

— Но кто из аббатства мог желать смерти поэта? — спросил Джованни.

— Возможно, те монахи, что поддерживают семейство д'Эсте, — ответил дон Агостино. — Они были весьма заинтересованы в том, чтобы миссия посольства провалилась. Ведь война между Венецией и Равенной была выгодна для правителей Феррары, давно поджидавших случая, который позволил бы им заполучить это аббатство. Данте славился как прекрасный оратор. Он умел словом завоевывать умы и сердца. А когда речь шла о защите мира, он старался изо всех сил. Очень может быть, что его миссия обещала быть успешной и кто-то хотел его остановить.

— Например, отец Фацио?

— В том числе и отец Фацио.

— Я видел его лишь мельком, но он мне сразу не понравился...

— Такой, как он, не станет убивать своими руками, — если он и пойдет на такой крайний шаг, то, скорее всего, наймет для этого

нужного человека.

— Монахов-францисканцев?

— Никакие они не францисканцы, — грустно заметил отец Агостино. — Ни один францисканец не позволил бы своему товарищу называть себя Чекко. Скорее всего, они убийцы, но в таком случае их нанял не отец Фацио, а кто-то другой. Может быть, сами правители Феррары или венецианцы. Честно говоря, я понятия не имею, кто нанял этих типов. Я не настолько хорошо знал Данте Алигьери, чтобы составить полный список его врагов...

Расследование принимало все более сложный оборот. Было очевидно, что необходимо разыскать этих двоих, — францисканцы или нет, только они могли пролить какой-то свет на это дело. И если именно они и есть убийцы, то лишь через них можно будет узнать имя заказчика. Нужно срочно отправляться в Болонью.

Джованни поблагодарил аптекаря и спросил его, где можно найти дона Бинато. Монах ответил, что во второй половине дня он обычно посещает могилу отца Энрико, так что, скорее всего, его легко разыскать на кладбище, что у северной стены.

Джованни зашел на конюшню. Удостоверившись, что конь накормлен и отдыхает, он отправился на кладбище. Он медленно шагал вдоль длинного ряда белых мраморных надгробий, под которыми со времен основания аббатства покоились его настоятели. А вот и могила дона Энрико — на каменной крышке саркофага была высечена фигура со сложенными на груди руками. По соседству были похоронены такие знаменитые монахи-отшельники, как святой Гвидо и святой Мартин.

— Что вы ищете среди этих могил? — послышался чей-то голос. Казалось, он раздается прямо из-под земли.

Джованни повернулся и увидел монаха, который возвышался над одной из могил, как будто только что вышел из склепа. Он узнал пожилого монаха, с которым пытался завести разговор после службы, но тот не пожелал ответить на приветствие. Джованни сказал, что хотел бы поговорить о Данте и что, возможно, именно достопочтенный дон Бинато сможет пролить свет на интересующие его события. Тогда дон Бинато спустился, ибо стоял на лестнице, приставленной к одному из саркофагов.

— Тут всегда полно улиток, которые хотят уничтожить свою слизью память о великих людях нашей святой обители и стирают с могил имена. Поэтому каждый день я прихожу сюда и протираю эти саркофаги, а заодно молюсь святому Гвидо, чтобы он не оставил своей милостью наше аббатство.

Дон Бинато рассказал Джованни, что, когда Данте приехал в Помпозу, они разговорились на политические темы.

— Данте воодушевленно высказывал свои мысли о будущем и настоящем Европы и Италии, о папе и о кризисе империи, — сказал он. — Он был удивительным оратором, казалось, что во время разговора с ним я перенесся в совершенно иной мир. Данте был мечтателем. По его мнению выходило, что история всегда движется в нужном направлении, и даже если отдельные люди пытаются ей помешать и замедляют ее ход, все равно рано или поздно она одерживает верх. И тогда происходит то, чему суждено было свершиться. Он говорил, что государства Италии когда-нибудь объединятся, что все люди нашего полуострова будут говорить на одном языке, что Италия станет частью великой христианской империи, которая протянется от Испании до Константинополя, и во всей Европе восторжествуют единые законы, как во времена Карла Великого. Но чтобы это стало возможно, необходимо, чтобы Франция отказалась от германских земель и чтобы Церковь выпустила из рук светскую власть и занялась миром духовным, предоставив политику королям. Претензии на чужие земли порождают лишь войны, и если над королями нет единого закона, их жадность приведет лишь к неизбежным бедствиям.

Все это прекрасные мечты, но совершенно очевидно, что сбыться им не суждено. Германия и Франция никогда не смогут договориться, а король английский вот-вот объявит Франции войну. Поэты вечно придумывают какие-то химеры, но единственный реальный мир — лишь тот, что вокруг нас, и мы должны стараться свыкнуться с тем, как он устроен.

Джованни ничего не оставалось, как признать, что аббат прав: мечты о единой Италии и мирной Европе навсегда останутся мечтами. Ведь даже Равенна сейчас на пороге войны, ее притесняют Венеция и Римини, те же венецианцы при участии веронцев уже напали на Падую, в каждом итальянском городе проживают десятки беженцев из

других городов: черные гвельфы, бежавшие из Пистойи, оказавшись в Болонье, встречаются с белыми гвельфами, которых изгнали из Флоренции. Джованни подумал, что если в Европе и воцарится мир, то их поколению вряд ли суждено застать это чудесное время, что, впрочем, вовсе не означает, что Данте должен был отказаться от подобной мечты. Он не стал делиться с собеседником подобными размышлениями.

— До меня дошли слухи, — заметил он, — что в вашем аббатстве случилось большое горе: один из послушников скончался при загадочных обстоятельствах.

— Возможно, он что-то съел, у него всегда были проблемы с желудком, — поспешил ответить дон Бинато. — Этот парень любил поесть, я не раз попрекал его за грех чревоугодия. Очень надеюсь, что перед смертью он успел покаяться, мир праху его. — Сказав так, он перекрестился.

— Вам не приходило в голову, что его могли отравить?

Дон Бинато бросил на Джованни суровый взгляд и промолчал. Затем он быстро перевел разговор на другую тему.

— Сын мой, не хотите ли исповедаться? Наверняка у вас тоже есть грехи, и сейчас очень подходящий момент, чтобы очиститься.

— Все дело в том, что мне уже пора. Я хотел бы покинуть монастырь до вечера.

— В таком случае не смею вас задерживать, — ответил дон Бинато и протянул Джованни руку для поцелуя, как если бы уже был настоятелем.

Все эти догадки и сомнения относительно смерти послушника его порядком утомили. Если кто-то и хотел отравить Данте, а по ошибке отравил послушника, ему до этого не было никакого дела. Тем временем на протянутую руку уселся большой комар. Джованни наклонился и поцеловал руку будущего аббата. Самоуверенный монах резко повернулся и быстро зашагал прочь, недовольно бормоча про себя, что напрасно потерял время. Послушника не вернешь, да и Данте тоже... Если они скончались — на то была воля Божия, так тому и быть. И нечего людям мешаться в Промысел Божий.

Джованни остался стоять, неприятно пораженный тем, как резко оборвал дон Бинато столь важный разговор. Ему вспомнилась фреска, изображающая апостола Петра и его попытки ходить по воде.

«Апостолы всего лишь такие же люди, — подумал он, — напрасно мы ждем от монахов святости и подвижничества». Он прихлопнул комара, который уже примеривался, как бы его укусить, и невольно обратил внимание на то, что комар летел, странно наклонив тельце. И тут он вспомнил, что пора отправляться в путь.

VIII

Джованни прибыл в Равенну на следующий день к полудню и сразу отправился к Бернару, который остановился в монастыре Святого Теодоро. Он нашел его в паломнической келье, Бернар сидел за столом и внимательно изучал текст *Комедии*. Джованни поведал ему о том, что удалось узнать. Нужно было ехать в Болонью и разыскивать тех двоих, что выдавали себя за францисканцев.

— По мне, будет лучше, если мы останемся здесь и попробуем отыскать последние песни поэмы. Самое важное — это узнать, где находится сокровище тамплиеров, ведь если кто-то обнаружит его раньше, чем мы, оно может быть в опасности. Те, кто убил поэта, искали именно его.

— Если это преступление действительно связано с тамплиерами, возможно, найдя наемных убийц, мы сможем...

— Я не сомневаюсь, что смерть Данте связана с тайной тамплиеров, которая была ему известна. Кто-то хотел заткнуть ему рот, — отрезал Бернар.

— И это значит...

— Это значит, что вы поедете один, а я остаюсь, чтобы завершить здесь дела.

Джованни пытался настаивать, но Бернар никак не соглашался и тоже хотел убедить товарища остаться в Равенне, чтобы разыскать последние песни поэмы, поскольку был уверен, что Данте являлся тайным членом ордена рыцарей Храма.

— Когда я впервые прочел поэму, она поразила меня в самое сердце, — сказал Бернар. — Я почувствовал, как мои надежды оживают, как я снова возрождаюсь к жизни. Я словно вновь стал двадцатилетним юнцом, во мне проснулось то, что я считал безвозвратно погибшим. Этой книге суждено спасти весь христианский мир, это и есть крестовый поход, и сила его слова такова, что может помочь всей Европе. Когда-то мы защищали каменные стены на маленьком клочке земли посреди пустыни и даже не подозревали, что основное место борьбы находится здесь, в старой Европе, что насквозь пропитана ложью и алчностью. Сначала я этого

не понимал, но как только прочел первую песнь *Ада*, то почувствовал, что со страниц *Комедии* рвется в мир огромная энергия, словно сам Господь диктовал Данте эти строки.

Все это часть огромного Божественного замысла, и поэт занимает в нем центральное место. Ах, если бы мне было дано разгадать смысл этого таинственного рисунка! Но я вижу лишь несколько линий. Мне уже пятьдесят, времени осталось немного, и каждый день я молюсь о том, чтобы Господь позволил, по мере сил моих, приобщиться и мне к великому делу постепенного искупления грехов нашего мира.

Когда я прочел первую часть *Комедии*, я убедился, что это произведение таит в себе великую тайну.

Данте отправляется в путь из самого центра нашего мира, а затем он оказывается в центре Земли. Общеизвестно, что центром христианского мира является Иерусалим. Так что, если темный лес, в котором заблудился поэт, — это Оливковая гора, та самая, где Христу явился дьявол-искуситель, тогда долина, где Данте сбился с пути, — это Кедронская долина, что между Оливковой горой и горой Мория, известной еще как Храмовая гора, ибо на ней возвышается Храм Соломона. Выйдя из лесу, паломник хотел направиться в Иерусалим, но путь ему преградили три страшных зверя — Рысь, Лев и Волчица, воплощения похоти, гордости и алчности. Рыцари Храма при посвящении дают обет хранить целомудрие, жить в бедности и проявлять послушание и потому вынуждены постоянно бороться с этими чудищами. Я уверен, что выбор этих животных не просто случайность. Потом поэту является Вергилий, который воплощает собою разум, и рассказывает о том, что наступит день, когда явится Пес и восстановит мировой порядок, и тогда христиане вернутся в свои святые места и смогут почитать их как должно. Но пока к Храму не подойти, и потому им предстоит отправиться в другое путешествие. Так кто же этот Пес и что это за путешествие?

— Кто этот Пес? — невольно повторил Джованни.

— Образ гончегго пса впервые возникает в сцене сна Карла Великого в «Песне о Роланде», — ответил Бернар. — В этой поэме, повествующей о героической борьбе рыцарей-христиан графа Роланда с неверными, появляется образ святого Теодориха, который вмешивается в ход битвы и помогает императору спасти королевство. Некоторые тамплиеры считали, что Карл Анжуйский был последним

законным правителем Иерусалима, и потому появилась легенда о гончём псе — наследнике Карла, который родился под знаком Близнецов. В поэме говорится, что Пес родится «меж войлоком и войлоком», но это выражение можно истолковать также, как «меж близнецов», поскольку название созвездия дали близнецы Кастор и Поллукс, которых всегда изображают в войлочных шляпах. Наследник Карла вновь укажет христианам путь в Иерусалим, но пока это невозможно, поэт отправляется вслед за Вергилием в другое путешествие, которое приведет его к раю. Рай земной — это символическое обозначение нового Храма, куда тамплиеры перенесли нечто, что обнаружили в Иерусалиме. Они являлись хранителями этой святыни долгие годы, и после поражения ордена их миссия заключалась в том, чтобы сохранить этот загадочный предмет.

— Возможно, все так и есть, — заметил Джованни, — но доказать это уже невозможно. Я сильно сомневаюсь, что Данте имел какое-то отношение к обществу Семерых:^[18] он любил свет, тайны были не для него.

— А что тогда, по-вашему, означают эти цифры: пять, десять и пять? — парировал Бернар. — И кто этот загадочный персонаж, который отправит в ад короля Филиппа и папу Климента? Ведь именно они распустили орден и стали преследовать рыцарей-тамплиеров! Данте словно предрекает то, что уже свершилось. Церковь и светская власть покрыли себя позором, когда король и папа решились на это богомерзкое дело, и потому Данте отправляет их в ад и называет «гигантом» и «блудницей». А пять-один-пять может означать слово или имя: пять букв, частица «де» — одна и снова пять, например Jacob-de-Molay, то есть Яков де Моле, последний Великий магистр ордена, приговоренный к сожжению королем Филиппом и папой Климентом одиннадцатого марта тысяча триста четырнадцатого года. Пока его готовили к казни, он посылал проклятия этим двоим и предрекал им гореть в аду. Говорят, что он подошел к столбу совершенно спокойно и позволил палачам привязать себя. Единственное, о чем он попросил своих мучителей, — чтобы они привязали его таким образом, чтобы руки его были скрещены на груди и чтобы он мог видеть Нотр-Дам. Так перед смертью он мог помолиться Пречистой Деве. Когда разожгли огонь, он громко прокричал, что пройдет немного времени и его мучители будут гореть

в аду. Он знал, что среди толпы находятся члены тайного ордена, которые смогут сделать так, что его пророчество скоро сбудется. И они услышали его. Иначе как еще можно объяснить то, что папа Климент умер всего месяц спустя, а король не прожил и года? Папу отравили, а король погиб из-за несчастного случая на охоте, когда хитрые кабаны, вместо того чтобы пуститься прочь от всадников, бросились под копыта лошади, чтобы выбить седока из седла...

— Все эти совпадения впечатляют, но вы все равно не сможете ничего доказать. Или, быть может, у вас есть идеи, как это сделать?

— Все, что я видел, чему стал свидетелем, представляется мне крохотными частичками единого замысла. Линии должны сложиться в единую картину. Иначе все это не имеет ни малейшего смысла. Я не в силах поверить в то, что Гийом де Боже, Данте, мои товарищи и мой любимый отец погибли напрасно.

— Однако обычно так оно и бывает. Все мы умираем, и чаще всего в нашей смерти нет смысла, — тихо промолвил Джованни.

Ему показалось, что последних слов Бернар не расслышал.

Джованни вернулся в гостиницу, расположенную неподалеку от церкви Святого Виталия. Хозяин, привыкший к тайным свиданиям под крышей своей гостиницы, хитро улыбаясь, сообщил постояльцу, что наверху его ожидает молодая женщина, назвавшаяся его сестрой. Она очень настаивала, чтобы он позволил ей пройти в комнату брага. Разумеется, он не мог отказать женщине с такими прекрасными глазами.

— Если вам будет угодно доплатить небольшую разницу, я предоставлю вам более удобную комнату. Она находится на первом этаже. В ней вы найдете широкую постель, там не слышно шума, окна выходят во внутренний двор, неподалеку есть колодец... Дама ожидает вас уже несколько часов, я даже не знаю, правильно ли я сделал, что позволил ей войти в вашу комнату.

— Вы поступили как нельзя лучше, я немедленно отправляюсь наверх!

— Как только вам понадобится хорошая комната, я к вашим услугам!

Джованни бросился по лестнице к закутку на втором этаже и тихонько постучал. Дверь была не заперта. Там он нашел Антонию. Она была в простом черном платье, которое одолжила у матери, ждала его, сидя на сундуке под узким окошком и листая какую-то книгу, которая лежала у нее на коленях. Джованни поразило ее лицо с правильными чертами, короткие черные волосы и сверкающий взгляд, резкий, словно хорошо заточенное лезвие.

— *Комедия* исчезла, — сказала она, едва он ступил на порог. — Мой брат подозревает тебя. Вчера ночью кто-то проник в кабинет отца со двора и выкрал рукопись. Пьетро расстроился до слез, мать сильно испугалась. Ты можешь доказать, что ты ни при чем?

— Вчера ночью я был в дороге, я ездил в аббатство Помпоза. Конь заупрямился, и мне пришлось устраиваться на ночлег раньше, чем я успел добраться до Равенны. — Он смущенно почесал в затылке. — Довольно трудно понять, что же произошло в этом аббатстве. Мне кажется, что кто-то из всех сил постарался, чтобы последняя часть *Комедии* исчезла навсегда, и это только подкрепляет мои подозрения о том, что поэт был отравлен. Мне удалось узнать, что в тот самый день, когда Данте был в Помпозе, у местного аптекаря пропал мышьяк.

— О господи, это просто ужасно! Но кто же это мог быть? И зачем ему было убивать отца? Неужели этот человек испугался каких-то стихов?

— Дело в том, что слово обладает огромной силой. Произведение твоего отца может просуществовать тысячи лет и свидетельствовать будущим поколениям о страшных грехах, гнусных поступках и чудовищных несправедливостях, творимых тем или иным человеком, а этот кто-то хотел бы уничтожить следы своих преступлений.

Джованни поведал Антонии о знакомстве с Бернаром и о том, что рассказали ему в Помпозе о семействе д'Эсте. Однако, даже если у них был мотив для убийства, он никак не связан с исчезновением поэмы. Бернар тоже не мог украсть поэму, ведь у него уже есть свой рукописный экземпляр, к тому же он не одержим горячей страстью к литературе. Но именно он высказал предположение о том, что Данте мог знать какую-то тайну, из-за которой орден тамплиеров подвергся гонениям. Бернар уверял, что рыцари Храма вывезли из Акры некий секретный предмет, который они охраняли все годы существования ордена. Бернар толком не знал, о чем может идти речь, но если смерть

Данте и исчезновение рукописи как-то связаны, то совершенно очевидно, что феррарцы неповинны в этом.

— Ты думаешь, здесь не обошлось без французского короля? — спросила побледневшая Антония. — Да, Филипп Красивый яростно преследовал рыцарей ордена, но после его смерти новый король занялся совсем другими делами, я не думаю, что ему известно о какой-то поэме. А что, если это дело рук самих тамплиеров? Ты только подумай, ведь тот же Бернар уже пытался проникнуть в наш дом.

— Бернар говорил с твоим отцом. Ему было известно, что поэма закончена, он только и хотел, что получить последние песни. Поэтому и я решил заняться их поисками. Кстати, тебе удалось что-то найти в сундуке?

— Я нашла лишь несколько страниц *Комедии*, которые нам уже известны. Больше там ничего не было.

С этими словами она протянула ему четыре небольших листа, которые она разглядывала перед его приходом.

На первой странице было всего несколько строк:

...Кружась, несется Рысь...
...Навстречу вышел Лев...
...И с ним Волчица, чье худое тело...
...Но славный
нагрянет Пес, и кончится она.

Джованни сразу узнал строки о четырех загадочных животных, о которых говорилось в первой песни *Ада*. Он вспомнил о странном сне, который приснился ему в первую ночь, проведенную в Равенне. Он так сильно хотел поговорить о нем с Данте — только автор мог объяснить, что означают эти стихи. Но теперь тайна навсегда останется нераскрытой. На второй странице было еще пять строк, взятых из тридцать третьей песни *Чистилища*. Они предрекали пришествие кого-то, чье число 515, кто сможет искупить грехи Церкви и спасти христианскую империю. Не об этом ли он совсем недавно говорил с Бернаром?

Низводят день уж звезды в зодиаке,
Когда прорвет все грани некий дух.

Пятьсот и Пять и Десять — будут знаки
Послу с небес: пред ним падет и тварь,
И тот Гигант, что с ней грешит во мраке.

Третий лист содержал пять строк из восемнадцатой песни *Рая*, которые Джованни прочел после своего первого разговора с Бернардом. В этих строках говорилось о духах праведников, которые парили в небе Юпитера, образовывая первые буквы из Книги премудрости Соломона.

Так в искрах тех, оттоле и отсель
Слетаясь с пеньем, хор святых слагался
В фигуры букв: то D, то I, то L.

Потом, сложась в одну из букв, на миг
Умолкнувши, в том виде оставался.

На последнем листе была всего одна строчка, написанная на латыни. Джованни показалось, что это цитата из «Энеиды» Вергилия, где Гектор является Энею во сне и говорит, что вверяет ему троянские пенаты.

Троя вручает тебе пенатов своих и святыни. [\[19\]](#)

— Но что все это значит? — спросила Антония. — Кажется, на этих страницах обозначены самые сложные для толкования отрывки, как если бы это был код, какое-то послание. Но кому оно предназначено? К тому же эта цитата из Вергилия никак не связана с остальными стихами...

Джованни никак не мог объяснить эту связь, он лишь безуспешно пытался придумать какое-то объяснение. Связь между первой и второй страницей очевидна, то было два пророчества: одно из них

провозглашалось в начале, а другое — в конце путешествия поэта в загробный мир. Пророчество возвещало возмездие Пса, или Властителя, который должен восстановить порядок, уничтожить претензии Капетингов и умерить влияние Церкви, то есть убить Льва и Волчицу, которые своими грехами препятствовали осуществлению Божественного замысла и установлению правосудия под эгидой орла. С приходом загадочного мстителя власть Капетингов падет, а папа лишится своей власти и земель, и тогда порядок восторжествует. Но помимо отрывков из *Ада* и *Чистилища*, имелся еще один лист, где приводились строки из *Рая*. Рай — это великая тайна, которая раскрывается постепенно. Пророчества посланца Небес сбываются в сцене явления гигантского орла, который составлен из праведных духов. Все они любили высшую справедливость и потому были удостоены чести созерцать Господа на небе Юпитера. В конце концов орел торжествует, и это значит, что Христос вершит свой праведный Суд, обозначая тем самым начало христианской эры и тысячелетнего Царствия.

Но кому поэт адресовал эти строки? Кто станет этим загадочным мстителем? Казалось, что строка из Вергилия отсылала к наследникам Данте, словно поэт доверял своим детям сохранить поэму, подобно тому как Гектор указывал Энею на то, что он должен спасти пылающий город. Но ведь известно, что Эней был предком самого Цезаря, великим героем, перед которым орел раскрыл свою тайну, отцом будущей империи, одной из линий таинственного рисунка судьбы... В истории все связано невидимыми нитями: Эней и Цезарь, Цезарь и Христос, Христос и таинственный Пес... Возможно, это послание было адресовано тому самому Властителю, который разгадает секретный шифр и станет наследником великой тайны.

— Возможно, ваш отец подозревал, что поэму хотят украсть, что кто-то не хочет, чтобы он довел свой труд до конца, и именно поэтому, перед тем как уехать из дому, он решил спрятать последние песни? И в этих строках он оставил послание для тех, кто их найдет, завещая сохранить память о какой-то тайне?

— А что, если рыцарь прав и мой отец действительно был членом некоего тайного общества? Что, если это послание для тех, кто сможет его истолковать?

Антония закрыла лицо руками. Впервые за всю жизнь она почувствовала, что не в силах справиться с отчаянием. Смерть отца изменила ее. Она стала сомневаться во всем, и в том числе в своем решении принять постриг. Очень может быть, что никакого призвания к служению Богу у нее не было. Или же ее терзал страх перед одиночеством? Смерть отца снова объединила семью, но очень скоро им предстояло расстаться навсегда.

Пьетро вот-вот отправится в Верону, Якопо — во Флоренцию, а ей суждено оставаться в Равенне до конца дней своих, чтобы хранить память об отце и ухаживать за его могилой. Казалось, жизнь постепенно разрушала все мечты, разбивала привычные связи, сказка оборачивалась кошмаром: роль принцессы оказалась раздутой, жизнь ее ничего не значила. Странные обстоятельства преступления и исчезновение последних песен поэмы заставили ее подозревать даже самого близкого человека — собственного отца. Она резко подняла голову и обожгла Джованни взглядом.

— Расскажи-ка мне о Джентукке! — попросила она. — Ведь ты родом из Лукки, тебе должно быть что-то известно об этой женщине, которая заставила моего отца полюбить этот город...

И правда, Джованни знал Джентукку. Знал так, как никто другой.

— Поэт познакомился с семьей Джентукки, когда он останавливался в Лукке на несколько дней, вскоре после изгнания из Флоренции.

— Так, значит, она не была любовницей Данте?

Джованни попытался сдержаться, чтобы не рассмеяться.

— Конечно нет, сейчас ей не больше тридцати лет. Когда Данте был в гостях у ее семьи, она была еще совсем юной. Тогда-то мы с ним и познакомились.

— Пора тебе уже признаться, кто же ты на самом деле. Я теряюсь в догадках с того самого мига, когда увидела тебя в ночь перед похоронами. С тех пор это не выходит у меня из головы. Настало время разгадать таинственные строки, что висят над изголовьем в спальне отца. В первой строке говорится о графе Уголино и его сыновьях. Эти стихи можно истолковать как то, что отец беспокоился о нас после изгнания. Он знает, что приносит несчастье своим детям, но молчит, чтобы не огорчить их. Вот только у моего отца детей было не четверо, а трое. Затем появляется имя Джентукки, после чего следуют

две другие строки, в которых упоминается Беатриче, а также святые Петр, Иаков и Иоанн, которых Иисус призвал быть свидетелями своего Преображения. Похоже, что здесь Данте снова говорит о себе и своих чувствах по отношению к собственным детям. Ведь его дочь после пострига взяла имя Беатриче, а его сыновей зовут Пьетро и Якопо. Остается четвертое имя — Иоанн, то есть — Джованни! Выходит, что имена Джованни и Джентукки стоят совсем рядом и оба связаны с Луккой. Скажи мне, верно ли я понимаю, что пришло время обнять тебя и назвать братом? Ты и есть четвертый сын моего отца? Но кто тогда твоя мать? Если это не Джентукка, то почему эта девушка упоминается в стихах *Комедии*? Прошу тебя, раскрой мне всю правду!

Джованни почувствовал, как стынет кровь в жилах. Он медленно подошел к Антонии, погладил ее по голове и сжал ее руку. Несколько минут он молчал, словно собираясь с мыслями. Он не знал, как рассказать ей обо всем и вправе ли он открыться. Затем он снова обернулся к ней. Наконец он решился и принялся рассказывать свою историю. Голос его был тих, словно шелест осенних листьев.

IX

— Понимаешь, Антония, я и сам не знаю всей правды. Ответ я надеялся найти здесь. Я приехал сюда, чтобы спросить об этом. Согласно документам, меня зовут Джованни, сын Данте Алигьери из Флоренции. По официальной версии, я действительно сын поэта. Но мне никогда не узнать, кто мой настоящий отец. Только моя мать могла бы открыть эту тайну, если бы пожелала, но она умерла и унесла ее с собою в могилу. Таким образом, подтвердить или опровергнуть эти предположения мог только Данте. Я же могу только рассказать тебе то, что знаю сам.

Я родился в Лукке в тот самый год, когда моя мать переехала в этот город из Флоренции. Тогда она уже была беременна. Чтобы поправить дело, она вышла замуж за пожилого купца, у которого уже было двое детей от первой жены. Его сына звали Филиппо, а дочь — Аделазия. Отчим был постоянно в разъездах, поскольку сам вел дела. Он много времени проводил во Франции, между Труа и Дижоном, где торговал шелком и зарабатывал на обмене. У него было немало любовниц. В Лукке он появлялся редко, мать родила ему двоих детей, Лаппо и Матильду. А сколько еще детей было у него во Франции, один Бог ведает. Я не считался его сыном, и потому до двадцати лет у меня не было никаких документов. Меня звали просто Джованни, фамилию, как и все незаконнорожденные, я унаследовал от матери. Однако я подавал большие надежды, даже сочинял сонеты, хотя потом сжег все, что написал... Я состоял в учениках у одного довольно известного врача. К моему горю, не имея отца, я не мог считаться наследником и потому не годился в женихи девушкам из хорошей семьи. Меня принимали как друга, мне поверяли разные секреты, иногда мне удавалось закрутить короткий роман, но я не мог рассчитывать на хорошую партию. Однажды я прочел несколько стихотворений Данте, где он говорил о Беатриче. Он говорил о женщине, которая была молода и прекрасна и обладала «умным сердцем», и я подумал о Джентукке.

То, что Данте полюбил Лукку благодаря Джентукке, может быть связано с тем, что он совершил один весьма благородный поступок. Он

подарил мне то, чего не было у него самого, — по крайней мере, так мне показалось. Джентукка была прекрасна, ее красоту передать словами просто невозможно. Когда наши взгляды встретились, я почувствовал, что погиб, во мне вспыхнули такие сильные чувства, перед которыми извержение вулкана — просто маленькая вспышка, любовь переполнила меня, и я уже не мог ей противиться.

Ей было пятнадцать лет. Она еще не была объявлена невестой и попросила у своих родителей отсрочки. Ей нужно было обдумать, хочет ли она стать женой и матерью или же принять постриг. В тот день, когда я впервые увидел ее, она была очень серьезна. Я появился в их доме как близкий друг ее брата. Мы посмотрели друг на друга, и я признался ей, что лучше и сам стану монахом, поскольку у меня нет отца и я никогда не смогу взять ее в жены. Ведь чтобы посвататься, нужен отец, который придет просить руки невесты и договариваться о приданом.

Но в двадцать лет я стал Джованни Алигьери. В Лукку приехал твой отец. Он нанес визит правителю города. Он въехал в город на коне вслед за маркизом Мороелло и потому казался весьма уважаемым господином. Когда-то он был знаком с моей матерью, ее красоту он воспел в стихах, как и многих других красавиц Флоренции. Он написал о них стихотворение, которого потом весьма стыдился. Однажды он приехал к нам в дом, и так мы познакомились. Я рассказал ему о своем горе, и он подарил мне свое имя, чтобы я мог жениться на любимой женщине.

Когда мне было пятнадцать, я прочел его книгу «Новая жизнь». Это очень помогло мне. Жизнь подростка хрупка и ненадежна, казалось, еще вчера ты был ребенком и играл, скача на деревянной лошадке, но, проснувшись однажды утром, ты чувствуешь, как в тебе просыпается некий демон. Он овладевает тобой, и ты чувствуешь, что тело твое горит в огне, но еще не понимаешь, чего потребует демон в следующий миг. Твои родные молчат. Может быть, они и сами не понимают, что происходит с человеком, когда ему исполняется пятнадцать.

Книга Данте стала для меня настоящим другом. Это был не просто друг, с которым ты дурачился в детстве и который бахвалится тем, что понравился девушке, на которую ты давно положил глаз, чтобы посмотреть на твою реакцию. Все его старания лишь попытка

хоть на несколько минут освободиться от неведомого демона, который овладел и его телом, переключив на тебя его невероятную мощь. В «Новой жизни» было нечто совсем иное. Это был друг, который говорил с тобой начистоту, он рассказывал о том, как встретил девушку и не смел сказать ей ни слова, при виде ее он дрожал, терял дар речи, потому что она казалась ему самой прекрасной на свете. Он писал, что в присутствии возлюбленной чувствовал себя совершенно ничтожным, поскольку она была на редкость умна. Но он даже не пытался спастись от безграничности своего чувства, демонстрируя тем самым удивительную смелость. Он дал своему чувству имя — это была любовь — и утверждал, что сила ее может сравниться лишь с энергией, имеющей Божественное начало. Это та самая энергия, которая движет миром, управляя ходом планет, солнца и звезд.

Когда Данте пришел поговорить со мною, я был невероятно взволнован. Мне было очень интересно встретиться с тем самым юношей из «Новой жизни», который теперь стал взрослым мужчиной, чтобы понять, что он за человек. Я хотел понять, что будет, если тебе не суждено соединить жизнь с такой женщиной, как Беатриче или Джентукка. Я рассказал ему о том, какую роль сыграла для меня его книга, и он отвечал, что очень рад, если смог мне чем-то помочь. Своим учителем жизни он называл Гвидо Гвиницелли.^[20] Он говорил, что стихотворения этого поэта словно пронзили его тысячами стрел, многие из его канцон Данте помнил наизусть. Над некоторыми из стихотворений он размышлял годами. Я не стал скрывать от него свое наваждение и рассказал поэту о том, что даже подумываю о самоубийстве, поскольку больше не в силах противиться своему чувству. Я не могу смириться с тем, что моя любимая достанется другому, — размышляя об этом, я утратил всякую веру, поскольку Господь не должен был допускать такой несправедливости. Тогда он сказал:

— Я помогу тебе поверить снова.

Мы сидели в нашем саду, солнце палило так сильно, что земля растрескалась от жары. Трава пожухла, и бывшее поле казалось теперь пустыней. Данте поднял взгляд вверх и произнес:

— Взгляни на небо! Что ты там видишь?

И я ответил:

— Я вижу свет, яркий ослепительный свет.

— Отлично, а теперь закрой глаза.

Я закрыл глаза, и он сказал:

— Чувствуешь ли ты жар, которым наполняется твое тело?

— Конечно чувствую, как можно его не чувствовать?

— Это и есть свет, который ты видел до того, как закрыл глаза.

Свет пронизывает твое тело, как он пронизывает все, что есть на этой земле. И если отвлечься от наших телесных ощущений, то ты поймешь, что этот свет и это тепло на самом деле единое целое. По крайней мере, так об этом говорит Гвиницелли.

— И что же это?

— Любовь. Это и есть великая энергия, пронизывающая все сущее, которая движет Солнце, Луну и другие светила, которая проникает в каждого из нас, это и есть великая мировая душа, которая питает свою силой твою душу, равно как и мою. И это единственное, что нам известно о Боге. Наша Земля находится на самом краю мироздания. И любовь, которую ты в себе ощущаешь, не более чем малая искорка великой вселенской любви. И потому я, Данте Алигьери, флорентиец по происхождению, но не по духу, — добавил он шутливо, — перед великой мировой душой, которая прикоснулась к нам обоим в эту минуту, объявляю тебя, Джованни из Лукки, своим сыном и обещаю, что ты женишься на той, которую так страстно полюбил, при том лишь условии, что и она согласится выйти за тебя замуж.

После этого мы отправились к нотариусу, где оформили все необходимые бумаги, и с тех самых пор я стал Джованни Алигьери. Потом мы посетили отца Джентукки, потому что Данте захотел с ней познакомиться.

— Мой сын Джованни горячо полюбил тебя, и, возможно, он также тебе небезразличен. Но подумай, прежде чем дать ответ, ибо в наше нелегкое время женщине отнюдь не часто случается выйти замуж по любви, да еще за мужчину, который отвечает ей взаимностью.

От радости Джентукка расплакалась, она была так счастлива, что даже сама испугалась. После такого разговора мой новоявленный отец казался очень довольным. Я с нетерпением ждал, когда он расскажет мне о том, как все прошло.

— Лукка — прекрасный город, — промолвил он, — должно быть, это потому, что здесь почитают святого Вольта, чьи мощи покоятся в

местном соборе. Одно я могу сказать точно: в этом городе еще возможно явление чуда.

Но чуда не произошло. Документ о помолвке был уже составлен, и твой отец даже подарил мне небольшое поместье, которое получил от семьи Маласпина, правителей города, в награду за свои услуги, но свадьба не состоялась. Этому воспротивился Филиппо, мой сводный брат. Он говорил, что является наследником, и потому Джентукка по праву должна принадлежать ему. У Филиппо были могущественные друзья среди тех, кто имел в городе немалую власть. В числе его знакомых было немало черных гвельфов, в том числе сам Бонтура Дати. Они правдами и неправдами влияли на жизнь города, и потому Бонтура помог моему брату в его замысле жениться на Джентукке. Единственной целью Филиппо было оскорбить меня, отобрать у меня то, что было мне дороже всего, и доказать тем самым свое превосходство. Он сделал так, что в нашем городе вышел указ, запрещающий беженцам из Флоренции находиться в Лукке. Таким образом, я стал изгнанником, хотя никогда не был во Флоренции, ведь этот закон касался не только самого Данте, но и его детей. Поэт уехал из города, а мне оставалось одно из двух: либо уничтожить нотариальный акт, либо покинуть город. Так или иначе, я больше не мог жениться на Джентукке. Филиппо самолично позаботился о том, чтобы оформить у нотариуса расторжение помолвки.

Ночью я залез к ней на балкон, чтобы попрощаться. Я сказал, что отправляюсь в Болонью, где буду учиться на врача. Она сказала, что поедет вслед за мной, как только сможет. Я предложил ей бежать вместе, но она отвечала, что сейчас это слишком опасно, за нами сейчас же отправят погоню и быстро найдут.

— Не выходи за Филиппо, — попросил я.

— И не подумай, — ответила Джентукка.

На прощание мы обнялись и впервые поцеловались, расставаясь со слезами на глазах. Через три года, когда Генрих Седьмой ступил на итальянскую землю, а черные гвельфы бежали из Лукки, я вернулся в город, поскольку моя мать находилась при смерти. Там я снова увидел Филиппо, который, несмотря на все политические перемены, был жив и здоров и благополучно унаследовал дела своего покойного отца. При нем находилась его жена, но это была не Джентукка. Мне передали, что после моего отъезда она укрылась в монастыре, а потом

отправилась в Рим вместе с монахинями монастыря и в Лукку больше не возвращалась. Моя мать приветствовала меня слабой улыбкой, она с трудом могла говорить. Горько плача, она доверила мне свою тайну. Она сказала, что ее прошлое хранится в маленькой деревянной шкатулке, ключ от которой куда-то исчез. Я взял шкатулку и уехал на поиски Джентукки. Все это время она ждала меня в Болонье, как и обещала. Она прибыла в город вскоре после моего отъезда. Ее приютил у себя мой друг и сокурсник Бруно.

Это были чудесные дни, я никогда не любил жизнь так сильно, как тогда. Мы встретились, и все было понятно без слов: нас терзало желание и сдерживала стыдливость, мы разрывались между надеждой и отчаянием... Мы рассказали друг другу о своих приключениях и постепенно растаяли в объятиях... Очень скоро мы поженились. На нашей свадьбе присутствовали четверо свидетелей. Мы были счастливы, но уже начинали догадываться, что наше счастье не может длиться вечно. Мы купили маленький домик, я много работал и неплохо зарабатывал, у меня была репутация хорошего хирурга. Говорили, что у меня верная рука, но никто не догадывался, как она дрожала, прикасаясь к телу любимой...

Однажды я вернулся из лечебницы и не нашел Джентукку. В доме все было на своих местах, но моя жена исчезла. Я обыскал весь город, затем отправился на поиски в Лукку. Если ее не было и там, она могла быть где угодно, а «где угодно», как известно, понятие растяжимое. По дороге в Лукку я остановился в Пистойе, где меня перехватили посланники моего брата Филиппо. Они заявили, что в город мне лучше не соваться, поскольку я был по-прежнему вне закона и меня могли убить за слушание уже при въезде в Лукку. Тогда мне на помощь пришел мой друг Бруно, который отправился в Лукку вместо меня, но вернулся в Болонью ни с чем. Никто ничего о ней не знал, Бруно даже заявился к ее родителям, но они прогнали его, угрожая расправой. С тех пор мне ничего о ней не известно.

Когда я вернулся в Болонью, то наконец открыл деревянную шкатулку и обнаружил в ней несколько стихотворений, которые Данте посвятил моей матери. Среди них была одна баллада, которая так и называлась — «Виолетта». В ней Данте признавался моей матери в любви и умолял пожалеть его. Она начиналась так: *О Виолетта, ты моим глазам / Предстала, осененная Амором...* [21] Тебе знакомы эти

стихи? Вскоре моя мать покинула Флоренцию, будучи уже беременной, и вышла замуж за купца из Лукки. Потом родился я. А твой отец, а может быть и мой, объявил на весь мир о своей любви к Беатриче.

С тех пор, как Джентукка исчезла, прошло уже девять лет. Мне не было смысла оставаться в Болонье, я не мог больше жить в нашем доме. Первые три года я ждал, что она отыщется, а затем перебрался в Пистойю. В Равенну я отправился, чтобы узнать правду о своем отце. Мне нужно было понять, должен ли я вернуть Данте ту фамилию, которую он подарил мне в своем великодушном порыве.

Антония, теперь ты все знаешь, но будет лучше, если твои братья и мать не будут посвящены в наш секрет. Ведь у нас с тобой есть что-то общее. И ты должна знать о своем отце всю правду. Твой отец любил Виолетту еще до того, как встретил Беатриче, и гораздо раньше, чем женился на Джемме. Эта женщина, о которой он говорит в «Новой жизни», — она вовсе не была ширмой, скрывающей его чувства к другой. Она была его первой любовью, совсем иной, нежели все те, что были после, и, когда он писал «Новую жизнь», она была еще жива. Но чем закончилась эта история любви и почему, этого мы никогда не узнаем. Как бы то ни было, являюсь я его сыном или нет, он никогда не смог бы мне дать больше того, что я получил, он был настолько великодушен, что я могу сравнить это только с широтою вселенской души.

Мы познакомились, когда он был очень беден и довольствовался самым малым. Он потерял все, что имел, и если не находил приюта у правителей города, то просил его в монастырях. Он ел очень мало, но жадно читал книгу за книгой, в монастырях и при дворах разных государей он мог легко утолять свою жажду к чтению. И все же, несмотря ни на что, он отдал мне все до последней капли, чтобы я смог начать самостоятельную жизнь. И это было сделано ради любви, ибо так он надеялся изменить жизнь к лучшему. Когда ему было двенадцать, родители обвенчали его с твоей матерью. Мне же он желал лучшей участи, ибо надеялся, что я смогу жениться на любимой Джентукке. Того же он желал и тебе и очень старался, чтобы тебя не постигла участь Беатриче, Пии или Франчески. И это нас роднит: и мне, и тебе он хотел подарить лучшую жизнь — жизнь, подобную раю,

не похожую на его собственную, отличную от жизни всех тех, чей путь омыт горячими слезами.

И хотя моя мечта сбылась лишь на несколько месяцев, этим я обязан именно Данте.

И не его вина, что от моей любви осталась лишь зияющая пустота.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Сыновья Данте, Якопо и Пьетро, оба стихотворцы, поддались на уговоры добрых друзей и взялись завершить отцовское творение по мере своих сил, чтобы оно не оставалось незаконченным, когда на Якопо, который был предан памяти отца больше своего брата, вдруг снизошло таинственное видение, которое не только заставило его отказаться от столь безрассудного замысла, но и навело на след последних тринадцати песен поэмы.

Дж. Боккаччо. Малый трактат в похвалу Данте

Наступили пасмурные серые дни, и первый осенний дождь окропил хмурую землю. Легкий, точно воспоминание из далекого детства, он бесшумно поглаживал влажными ладонями крону сучковатой оливы, что росла во внутреннем дворике, извиваясь всем телом, словно актер, изображающий страшные муки. Время прощания приближалось. Оно подкрадывалось все ближе и ближе, но все молчали, точно не замечая, какой сегодня день. Из всей семьи неотложные дела были только у Пьетро: ему нужно было возвращаться в Болонью, чтобы продолжить изучение права. А вот Антония, Якопо и Джемма не спешили так скоро уезжать, им хотелось еще немного потянуть время, и потому они никак не могли назначить дату отъезда, ведь это означало расстаться, и, скорее всего, очень надолго. И потому Якопо вдохновил совет нотариуса Джардини, друга Пьетро, не бросать читателя на полуслове и дописать вместе с братом тринадцать песен *Рая*, после чего подарить поэму Кангранде ди Вероне.

Другие члены семьи тоже одобрили эту затею, и вовсе не потому, что кто-то из братьев чувствовал в себе силы осуществить задуманное. Просто это означало, что вся семья проведет в Равенне еще несколько месяцев.

Братья день за днем обдумывали план работы: они рисовали карты небес, читали трактаты известных теологов, каковые имелись в отцовской библиотеке, и пробовали сочинять стихи, подражая стилю Данте. Но из-под их пера выходили лишь бездушные, мертвые строки с большой претензией на оригинальность. От этих вычурных стихов веяло надуманностью и высокопарностью.

Зато время шло, а они все еще оставались в Равенне, вместе. Якопо бродил по городу, надеясь встретить свою музу, которая пробудила бы в нем вдохновенную страсть наподобие той, что испытывал Данте к Беатриче. На улицах он видел много красивых женщин: то благородную даму из придворного круга, то простую девушку из пекарни, то дочь состоятельного купца. Первая была изящна и хорошо воспитана, но невероятно кокетлива и тщеславна, вторая была настолько неучена, что в сравнении с нею даже

могильщик показался бы отличным оратором, третья же была разряжена, словно церковный алтарь на Рождество. Однажды на мосту Якопо случайно встретился взглядом с какой-то девушкой. Когда он проходил мимо, она потупила глаза, смутилась и покраснела, — ему показалось, что она как нельзя лучше соответствует всем требованиям поэтического канона, кроме того, ее одежда и поведение указывали на то, что она из хорошей семьи. Поэтому Якопо сразу влюбился, но едва он принялся ухаживать за своей избранницей, как она напустила на себя важный вид и стала выказывать равнодушие. Якопо даже показалось, что она нарочно набивает себе цену, лишь изредка оказывая ему знаки внимания, чтобы не потерять поклонника и придать себе веса. Прошел месяц, и Якопо перестал добиваться ее любви, одному из друзей он сказал, что вся эта история скорее подходит для торгашей на рынке, чем для поэта и его возлюбленной, потому что поэзия от подобных препирательств тут же испаряется, как пар из кастрюли.

Он пришел к выводу, что для любви ему нужна не абы какая женщина, а та, которая будет «умна сердцем», подобно премудрой донне, которую воспел его отец в своих знаменитых канцонах, если, конечно, такие женщины не перевелись еще на белом свете. Однако поиски идеала продвигались вяло и так и не увенчались успехом.

Антония хорошо знала, что Якопо отнюдь не прост: он вечно искал такую женщину, которая смогла бы быть и Беатриче, и Джеммой в одном лице — веселую, решительную и в то же время возвышенную — одним словом, мадонну-домохозяйку, с ангельскими чертами и завидным упорством. Было очевидно, что такого сочетания ему не найти никогда, так что все эти поиски были бессмысленны и бесплодны. Пьетро был другим, совсем не то, что брат: он был проще, серьезнее, спокойнее и редко раскрывал родным свои мысли и душу. Рано или поздно он, видимо, все же женится на девушке из Пистойи, которую присмотрел ему отец. Она была не особо красива, зато очень обходительна, заботлива и так же робеет, как и Пьетро. Якопа была еще ребенком, но очень понравилась Антонии: эта женщина стала бы для брата надежной спутницей жизни. Наблюдая за ними, монахиня замечала в их отношениях скрытую гармонию. Между Пьетро и Якопой не было страсти, но было взаимоуважение, понимание и доверие. Они не любили друг друга, но очень уважали. В отношениях

этой пары не было ничего общего с любовью из рыцарских романов, зато в их взглядах читалась прочная привязанность, излучающая уверенность, мир и спокойствие. За Пьетро отец принял правильное решение. А вот для Якопо сделать выбор было сущим мучением, и Данте это прекрасно знал. Он ждал, когда молодой человек повзрослеет, и не хотел его принуждать.

Антония часто размышляла об отце: сколько всего он знал, но как мало рассказывал своим детям! В последнее время Данте словно чувствовал, что время его сочтено, что жизнь капля за каплей покидает его и песчинки в часах ускоряют свой бег, и потому передоверил дочери все заботы о Якопо, словно хотел сказать: «Вы вскоре не увидите меня».^[22] А теперь Антония узнала о существовании Джованни и почувствовала с ним глубокую связь. В пьесе под названием «жизнь» Данте уготовил для них особую роль, куда более сложную, чем для остальных. Они не должны были жить во лжи и иллюзиях. Вот каков был ее отец. Собственная удивительная судьба утвердила его в мысли о том, что в мире что-то сломалось, пошло не так и что пора это изменить. Он открыл Кангранде, что написал свою поэму, чтобы «вырвать живущих из состояния бедствия в этой жизни и привести к состоянию счастья».^[23] Таким образом, шаг за шагом, читатель вместе с Данте поднимался от беспросветной боли дикого леса к свету и музыке *Рая*.

После рассказа Джованни Антония успокоилась, в ее душе поселился мир, безумное напряжение последних дней отступило, она почувствовала, что стала гораздо радостнее, словно какая-то волшебная энергия наполнила ее до краев. Сомнения развеялись, и Антония пообещала себе, что теперь жизнь переменится; она поняла, что приняла верное решение: тихий дворик монастыря, душевная гармония, радость созерцания — где еще она бы нашла все это? И все же душа Антонии терзалась при мысли, что ей не суждено стать матерью, особенно при виде чужих детей. Но то были лишь порывы, краткие мгновения тоски.

Когда монахиня услышала рассказ Джованни, она всерьез задумалась, словно почувствовала, что за всем этим таится некий хитроумный узор, загадочный план, который касается не только ее предполагаемого брата, но и самой Антонии. И даже если ее выбор в итоге казался не совсем добровольным, он был обусловлен семейными

обстоятельствами, а судьба, кто бы ее ни predetermined, была соткана любовью.

Покуда Антония пребывала в размышлениях о своей жизни, в монастыре Святого Стефана, где она подвизалась, произошло нечто необычайное. Однажды, в конце сентября, у ворот монастыря остановилась странная повозка, в каких обычно возят прокаженных, запряженная грязной хромой кобылой. Поначалу сестра Беатриче услышала шум колес и звук трещотки, предупреждающей о приближении прокаженных, а затем до нее донеслись возмущенные крики привратницы, которая ни за что не хотела открывать ворота незванным гостям. Из повозки вышли женщина и ребенок, лица которых за бинтами было никак не разглядеть, они спрашивали сестру Беатриче. Антония спустилась к воротам и увидела привратницу, которая, орудуя метлой, пыталась отогнать гостей от ворот. Набравшись храбрости, монахиня пригласила женщину войти в приемные покои. Ребенку на вид было лет восемь.

— Простите меня за то, что мы напугали вас своим появлением, — сказала загадочная гостья, — но женщине в наше время довольно опасно путешествовать по Италии в простой одежде.

Она сняла повязку, которая скрывала ее лицо, и перед Антонией предстала красивая молодая женщина с яркими голубыми глазами и светлыми волосами до плеч. Лишь присмотревшись, можно было заметить несколько мелких морщин вокруг глаз и едва заметную складку посередине лба, свидетельствующих о том, что ей уже за тридцать.

— Эти лохмотья и трещотки хорошо защищают от разбойников и солдат. Все боятся прокаженных. Все, кроме вас, — добавила она, улыбаясь.

«Кто эта женщина, что прикидывается прокаженной, чтобы спокойно пересечь Апеннины?» — удивленно подумала Антония.

— Простите меня, — сказала незнакомка, — меня зовут Джентукка, я ищу своего мужа, Джованни. Я знаю, что он приезжал сюда, чтобы поговорить с вашим отцом. Может быть, вы что-то знаете о нем?

— Он отправился в Болонью несколько дней тому назад вместе с человеком по имени Бернар.

— Я так мечтала, чтобы он наконец увидел своего сына! — вздохнула женщина. На лице ее читались усталость и разочарование от того, что она напрасно проделала столь долгий путь.

Джентукка рассказала Антонии, как в Болонье она была похищена собственными родственниками. Они увезли ее в Лукку, надеясь выдать замуж за Филиппо, который недавно стал вдовцом. Однако совсем скоро родители узнали, что Джентукка уже вышла замуж, а кроме того, была беременна. По счастью, Филиппо оказался не столь великодушен, как его отец по отношению к госпоже Виолетте. Он с негодованием отказался от подобного брака. Джентукка родила сына в простом сельском домике, который Данте подарил Джованни на свадьбу. Сестра Беатриче заметила, как сильно мальчик похож на деда.

— Прошу у вас позволения оставить здесь маленького Данте на какое-то время, — продолжала Джентукка. — Нашей повозкой управляет моя подруга, ей тоже пришлось переодеться прокаженной, мы отправимся в Болонью на поиски Джованни, а затем вернемся за моим сыном. Если мне не удастся разыскать мужа, я буду ждать его в Пистойе вместе с Данте. Рано или поздно ему придется вернуться туда, ведь там его дом. Я поселилась у подруги, Чечилии, она — вдова Гвиттоне Альфани. Во всей Пистойе лишь она одна знает, кто я на самом деле.

Сестра Беатриче сохранила этот разговор в тайне и уклонялась от любых вопросов, если кто-то пытался дознаться о загадочном ребенке, который, словно из ниоткуда, появился в монастыре Святого Стефана. Она не отпускала мальчика ни на шаг и, если верить слухам, окружила его такой заботой, которая могла бы показаться чрезмерной.

«Сама она никогда не станет матерью, вот и изливает любовь на подкидышей» — так подшучивал над монахиней аптекарь с соседней улицы. Сам он заслужил репутацию человека расчетливого, он читал Аристотеля и Боэция, и в мыслях у него был такой же порядок, как и на полках с лекарствами, которыми он торговал. Он всегда считал, что звездам на небе следовало бы собраться вокруг Полярной звезды и образовать ровную и правильную фигуру, а то, что они разбросаны по небосводу как попало, означало для него одно из двух: либо мир устроен совершенно неправильно, либо Бог в свое время недооценил труды Евклида.

II

Джованни и Бернар без промедления отправились в путь, хотя Джованни и потребовалось какое-то время, чтобы убедить француза покинуть Равенну. Бернар не хотел уезжать, пока не найдет последние песни поэмы. Его удалось убедить лишь после того, как Джованни поведал ему о краже в доме поэта: если воры все же обнаружили рукопись, она могла исчезнуть навсегда, поскольку целью убийц, очевидно, являлось вычеркнуть поэму из истории человечества. Узнав обо всем, Бернар настолько загорелся желанием ехать как можно скорее, что Джованни с трудом удавалось его сдерживать.

В целях предосторожности они присоединились к каравану флорентийских купцов. В него входили с десятков повозок и небольшой отряд всадников, так что передвигаться удавалось довольно медленно. Через день они добрались до Имолы, где остановились на ночлег.

Всю дорогу Бернар провел, скрестив руки и свесив ноги с повозки, его конь покорно плелся позади, привязанный к оглобле. Пока он предавался своим размышлениям, Джованни ехал верхом рядом с мелким торговцем тканями, Меуччо да Поджибонси. Меуччо был упитанным и добродушным на вид, только этрусские глаза выдавали в нем хитрого дельца. Он и его товарищи возвращались из Ломбардии и Шампани, где проходили торговые ярмарки.

— Торговля не идет, рынки совсем обнищали, не то что в былые времена. В оны годы мы обменивали товар целыми возами, а теперь это всего лишь жалкие крохи, мы существуем лишь благодаря тому, что постоянно завышаем цены. Купцам — тощие клячи, а банкирам — тучные коровы, сколько так может продолжаться, бог его знает... Если и дальше пойдет в том же духе, все это плохо кончится, торговля совсем прекратится, останемся мы с пустыми карманами.

И правда, дела шли из рук вон плохо: все крупные ярмарки, где была сосредоточена основная торговля, были в Париже, об этом позаботился сам Филипп Красивый, но с тех пор, как французский монарх разогнал орден тамплиеров и тем самым нажил несметные богатства, он поспешил избавиться от итальянских банкиров. Его сын Филипп Длинный завершил дело, окончательно выставив итальянцев

из Франции, поскольку считал, что этой нации не стоит доверять. Очень может быть, он был недалек от истины. Тогда у французов даже появилась поговорка: «Остерегайся ломбардцев и евреев». Крупные банкиры строили свои спекуляции на курсах золота и серебра. Они получали доходы золотом, а расплачивались серебром, так что цены постоянно росли, если сумма сделки была невелика, и оставались стабильны, когда речь шла о крупных операциях. Поэтому богатые богатели, а бедные еще больше беднели. Флорентийские банкиры наводнили все рынки Европы чеками, векселями и страховыми бумагами — от этих бумаг не было спасения. Ими кредитовали всех — от английского короля до собственного города. В общем, пока те, кто работал и продавал плоды своего труда, год от года нищали, банкиры Флоренции крепко затягивали веревку на шее Англии, которая не могла выплачивать безумные проценты за денежные ссуды.

«Это все они, черные гвельфы, гори они в аду! Они уже добрались до папской казны и осмеливаются угрожать самому немецкому императору!» — не уставал возмущаться Меуччо.

На следующий день они продолжили беседу. Слово за слово разговор зашел о Данте. Его имя было хорошо известно: Меуччо не только слышал о поэте, но даже прочел пару песен из *Ада*. Он считал Данте товарищем по несчастью, ведь уж он-то знал, что поэт тоже пал жертвой черных гвельфов. «Поэты им не по душе, — говорил купец. — Как прав был Данте, когда негодовал и проклинал Рим и его безмерную жадность! Люди стали поклоняться деньгам больше, чем Христу, деньги пропитали ядом славные итальянские коммуны, а жадный зверь все жрет да жрет! И чем больше он жрет, тем голоднее становится... Но сколько веревочке ни виться, а конец все равно придет, рано или поздно мыльный пузырь лопнет и платить по счетам придется и правым, и виноватым. Но тем, кто стоял у истоков, придется заплатить куда дороже, ведь, когда они поймут, что, сидя за своими бухгалтерскими книгами, они не умнее того осла, что вращает мельничный жернов вокруг столба, будет уже слишком поздно. Даже работа этого осла приносит больше пользы: из муки можно испечь хлеб, а вот из их жира даже мыла не сваришь».

На следующий день к вечеру караван прибыл в Болонью. Джованни и Бернар отправились в недорогую гостиницу договориться о ночлеге. Они хотели с утра пораньше навестить Бруно, потому что

потом он отправлялся к пациентам и возвращался поздно. Перед сном Бернар решил прогуляться и заглянул по пути в знаменитый трактир, что располагался в башне Гаризенда. Он устроился за столом, где уже сидела веселая хмельная компания, и заказал кружку красного вина. Мрачные думы снедали его, пока он медленно потягивал темную жидкость. Его соседи совсем разошлись и шумели вовсю. С той стороны стола то и дело слышалось: «Пей до дна, пей до дна!» Видимо, это были студенты.

Весь день Бернар пребывал в дурном расположении духа; по дороге он еще раз все обдумал, и шумное и веселое застолье еще больше нагоняло на него тоску. Он размышлял о том, как скоротечна оказалась жизнь: вот ему уже пятьдесят, а годы пролетели, словно миг. Жизнь почти что прожита, но как незаметно и как бессмысленно она прошла! Если бы Ахмед тогда не спас его, она оказалась бы еще короче, но хотя бы обрела определенную смысловую законченность: он умер бы как мученик в Святой земле, и на этом можно было бы ставить точку.

Он вспомнил себя молодым: когда-то он мечтал о славе, о сражениях за истинную веру, надеялся, что станет героем и о его подвигах бродячие певцы сложат песни. Имя его будет звучать со всех площадей Европы, а купцы и простой люд, что съехались на ярмарки, услышат песни о нем и разнесут молву о новом герое по разным странам. Слава его загремит повсюду: в Италии, во Франции, Германии, во Фландрии... Он мечтал, что станет образцом рыцарства, как какой-нибудь Роланд или Парцифаль... Но все эти мечты безвозвратно погибли в Акре в тот самый день, когда он бросился в порт в поисках спасения. То был самый страшный день в его жизни. Первый же бой обернулся для Бернара чудовищным поражением; прошло много лет, и ничего уже не исправить, надежды больше нет. Его мир погиб, а он каким-то чудом был все еще жив. После Акры он скитался по чужим городам, словно призрак, не зная ни языка, ни жизни этих земель. О, если бы его спас не мусульманин, а кто-нибудь другой... Хотя теперь он уже не верил, что убийство мусульманина сможет обеспечить рыцарю место в раю. За что же тогда он сражался?

И все же он продолжал соблюдать правила ордена: слишком уж привык к такой жизни. Сложнее всего оказалось с обетом целомудрия. Эти мальчишки за его столом явно ощущали себя центром мироздания,

кто знает, о чем они мечтали. Может, хотели стать нотариусами или заработать кучу денег, а может, просто веселиться до упаду... Европа изменилась... или она всегда была такой? Что он знал о ней, он, чей дом был так далеко отсюда?

В эту минуту один из студентов затянул «Dulce solum natalis patrie»,^[24] а остальные тут же подхватили, особенно усердно налегая на последний куплет, где герой жалуется на любовные муки, уготованные Венерой влюбленному:

Ибо сколько пчел в Рагузе,
Сколько в Додоне деревьев,
Сколько рыб в морской пучине,
Столько мук влюбленный терпит!

Между столами тем временем с грацией пантеры кружила очень красивая женщина, — по крайней мере, Бернару она показалась именно такой. Видимо, это была местная проститутка. На вид ей было лет тридцать, темные волосы спадали на ее округлые плечи, карие глаза блестели, а кожа отливала белизной. Пышная крепкая грудь теснилась в декольте, платье откровенно облегалo широкие бедра, а затем резко, подобно струям фонтана, расширялось пышными складками. Она старалась держаться подальше от столов, за которыми сидели студенты, — те были слишком молоды и к тому же безнадежно бедны.

Время от времени она подсаживалась к кому-то из постоянных клиентов, гладила его по голове, о чем-то болтала или дружелюбно улыбалась. Молодые люди отпускали в ее сторону грубые, непристойные словечки.

В какой-то момент он потерял ее из виду, как вдруг она оказалась у него за спиной, а затем и на коленях.

Бернар сидел с каменным выражением лица.

— Что ты здесь делаешь совсем один? Хватит тебе думать...

Он не ответил. Она встала, взяла его за руку и потянула к себе. Бернар поднялся, позволяя увлечь себя к лестнице, ведущей на верхний этаж.

«Ты идешь навстречу Сатане», — прозвучал где-то внутри его гулкий голос, но тело уже перестало повиноваться. Он весь превратился в послушный механизм, которым она с легкостью управляла. Лестница осталась позади. Один из студентов бросил вслед удаляющейся паре пустую кружку, которая упала у них за спиной:

— И из старой курицы можно сварить хороший бульон?

Другой добавил:

— *Uni amor, ibi miseria*,^[25] десять монет сегодня, еще десять завтра, а чем потом платить за жилье?

В отличие от Бернара, Джованни сразу отправился в гостиницу. Он устал, поэтому тут же, не раздеваясь, растянулся на кровати, но никак не решался потушить лампаду. Заснуть не получалось: в голове крутились мысли, он думал о четырех страницах рукописи, которые Антония показала ему накануне отъезда. Он размышлял о том, кто такой Пес, о загадочном числе DXV, об орле, о той связи, которая должна объединять те три фрагмента, которые они нашли в потайном дне сундука... Порой эти связи так очевидны, а порою совсем туманны. Явится Пес и убьет Волчицу. Джованни представил себе эту сцену: ловкий и сильный Пес борется против сребролюбия и жадности, против черных гвельфов, против владельцев несметных богатств, циничных людей, не знающих мук совести, развративших народ любовью к деньгам, они-то и попадут в лапы породившего их Сатаны.

Настанет день, и придет Властитель, DUX, наследник орла, который убьет Блудницу и нового Голиафа и очистит алтарь и трон от грязи и скверны. И возлетят, и воспоют, и сложатся в буквы души святых, опоясанные светом, и раскроется замысел Божий в небе Юпитера, и воцарится на земле небесный порядок. И вернется на землю торжество Моисеева закона, заповеди Христовы, попранные политиками и преданные церковной братией. И закончится история человеческая, и вернуться в утробу агнца добро и зло.

Но почему же Данте спрятал именно эти листы, если те же самые слова постоянно повторяются во всем тексте поэмы и обращены к каждому ее читателю? Кому он адресовал эти строки? И что они должны были означать для того, кто их найдет?

Джованни вдруг вспомнил о строках из Книги абака, которые нашел в старой тетради поэта. «Возможно, числа — это ключ к

разгадке, — сказал он сам себе, — и все дело в той самой единице, la figura unitatis, меняющей значение в зависимости от того, в какой позиции она находится? DXV — это римская цифра, но если переписать ее по-арабски, получится 5–1–5, как и говорил Бернар. Однако в последней части поэмы, когда говорится об орле, составляя первую строку *Книги премудрости Соломона*, духи образуют буквы „D“, „I“, „L“».

Именно первые три буквы слова или фразы самые узнаваемые, и, насколько ему было известно, их часто зашифровывали цифрами, чтобы дать словам нумерологическое толкование... Буквы «D» + «I» + «L» — это DLI, эта римская цифра по-арабски пишется 551, пять-пять-один.

Джованни встал, взял лист и котомку с пером и чернильницей, сел за стол и записал буквы и соответствующие им арабские цифры. Да, в таинственных пергаментях над кроватью поэта содержался нумерологический код, это ключ к разгадке, и как это он сразу не понял? Таким образом, строки *Ада* воплощали числа 1–5–5, строки *Чистилища* — 5–1–5, а стихи *Рая* — 5–5–1... Посмотрим:

$$\begin{aligned} ? &= 1-5-5 \\ DXV &= 5-1-5 \\ DLI &= 5-5-1 \end{aligned}$$

Потом Джованни вспомнил о странном сне в сказочном лесу: три твари Сатаны олицетворяли собою три буквы L: Lynx — Рысь, Leo — Лев, Lupa — Волчица. А потом появляется Vertragus — гончий Пес. Выходит, что первые буквы латинских названий этих зверей тоже можно трактовать как римские цифры: L+L+L+V, три раза по пятьдесят плюс пять, то есть CLV, то самое число, которого так не хватало; если записать его по-арабски, получается 155. Таким образом выходит, что эти числа совпадают с теми, что указаны в пергаментях:

$$\begin{aligned} LLLV &— 1-5-5 \text{ } \textit{Ад} \\ DXV &= 5-1-5 \text{ } \textit{Чистилище} \\ DLI &= 5-5-1 \text{ } \textit{Рай} \end{aligned}$$

Очень может быть, что это и есть ключ к разгадке: все отрывки содержат комбинации из этих цифр — одной единицы и двух пятерок,

при этом последовательность чисел постепенно ведет единицу слева направо: от ста к десяти и от десяти к единице. То есть, таким образом, принцип *reductio ad unum* — от множества к единству, как сказал тогда Пьетро, воспроизводится графически. А кроме того, сумма цифр всегда равняется 11, в то время как сумма всех трех сумм дает число 33.

Джованни нарисовал нумерологический квадрат:

33	11	11	11	33
11	1	5	5	11
11	5	1	5	11
11	5	5	1	11
33	11	11	11	33

Картина превзошла самые смелые ожидания: пергаменты над кроватью и стихи, найденные на дне сундука, указывали на одни и те же цифры, а значит, все это должно было иметь какое-то особенное значение. Тридцать три — это ведь не просто число, это ключ ко всей поэме Данте: тридцать три слога в каждой терцине, тридцать три песни в каждой части поэмы. Это священное число, символизирующее возраст Христа, число теодицеи — знак Божественной справедливости, поскольку число одиннадцать означает справедливость, а число три — Троицу. И если держать это в голове, то тогда передвижение единицы от сотни к десяти и от десяти к единице может означать путешествие Данте по трем царствам загробного мира, описанное в нумерологическом виде. Но это еще не все: и нумерологическая последовательность, и само путешествие Данте могут воплощать собой переход от хаоса множества к единству разума, от самых последних земных созданий к той неподвижной точке отсчета, которая дает начало Вселенной, то есть к самому Творцу. Пророчество о гончех Псе и о Властителе должно

исполниться на небе Юпитера в виде орла, который представляет собой единство справедливости.

Возможно, все эти знаки не стоит воспринимать слишком буквально, они могут просто указывать на то, что во всем нужно лишь следовать вселенскому порядку, намекая на будущее единство христианства через слияние всех наций в единую Святую Республику, основанную когда-то Карлом Великим.

Однако Джованни никак не мог понять, почему эти цифры так настойчиво повторяются. Они опять возникали в рассказе о Траяне и Рифее, когда Давид, то есть зрачок орла, был окружен пятью драгоценными камнями, которые были пятью праведными душами.

От стольких открытий Джованни разволновался, хотя в то же время испытывал недоумение. Зачем Данте зашифровал в поэме такое сложное загадочное послание? И как оно было связано со смертью поэта?

III

Женщину, которая увела Бернара, звали Эстер. Ее комната была на втором этаже. На столе стоял деревянный ящичек с широкой щелью, куда она велела ему бросить десять монет. А если добавишь еще — тем лучше: три монеты — плата за комнату и другие расходы, две — за саму работу, и еще пять — небольшая предосторожность на случай неприятных последствий.

Комната была довольно просторной, в жаровне горел огонь, на огне в кастрюле закипала вода. На полу стоял таз с холодной водой, а в углу кровать, накрытая стеганым войлочным одеялом, грязным, со множеством пятен, оставленных потными клиентами. «Покрыта пестрой шкурою, кружась, несется Рысь», — вспомнил он дантовский символ грязного сладострастия. Знак был как нельзя более ясным: скорее бежать из этого греховного места, пока еще не поздно. Но вместо этого он увидел, как его рука кидает монеты в ящик на столе, и промолчал, продолжая озираться вокруг и не переставая удивляться происходящему, словно это был кто-то другой, а не он сам.

Факел освещал угол комнаты, длинные колеблющиеся тени Бернара и Эстер скользили по стене. Бернару вспомнилась тень поэта в огне, что сжигал в *Чистилище* бывших прелюбодеев, — это был еще один знак. Как только последняя монета отзвенела, Эстер быстро разделась, оставшись в одних панталонах, обнажив цветущую грудь и отвисшие бока уже подсыхавшего тела. Это зрелище заставило его разум замолчать, Бернар стоял неподвижно, потрясенный увиденным, он словно обратился в камень. Эстер подошла поближе и принялась раздевать его. Тут она увидела медальон со знаком ордена тамплиеров и большой шрам под левым плечом.

Она опустила голову и задумалась.

— Это... Это со мной впервые, — пробормотал Бернар так тихо, что даже сам не расслышал собственного голоса. Он повторил погромче: — Я первый раз с проституткой...

— Я не проститутка, — ответила она, оскорбившись, после чего резко отвернулась и отошла от него.

— Не проститутка? Прости, я думал... — пробормотал он, смущаясь все больше.

— Я вынуждена заниматься этим грязным делом, потому что я совсем одна, мне надо чем-то кормить детей, — грустно продолжала она, направляясь к постели. — Я скорее несчастная мать, чем продажная женщина...

Она сняла грубое грязное одеяло и бросила его в угол, а потом открыла сундук и достала оттуда легкое шерстяное покрывало. Бернар сразу все понял и помог ей растянуть его на кровати.

Женщина залезла под чистое покрывало и указала ему на место рядом с собой. Бернар тоже разделся, оставшись в одних панталонах, и устроился под покрывалом.

Эстер тихонько прикоснулась к его шраму волосами, затем головой, ее грудь коснулась его плеча. От нее приятно пахло лавандой. Она дотронулась рукой до его груди. Он оставался неподвижен и скорее смутился, чем почувствовал возбуждение.

— Ты рыцарь?

— Когда-то я был им...

— А эта рана?

— Я получил ее в Акре.

Но как это произошло, он умолчал. Он попросил ее поведать свою историю.

Тогда она рассказала, что в юности была очень красивой и слишком доверчивой девушкой. Будучи из простых, она позволила богатому и знатному молодому человеку ухаживать за ней. Это было очень глупо. Она так полагалась на свою красоту, что всерьез поверила, что графский сынок женится именно на ней, а не на той толстенной рыбообразной герцогине или виконтессе, с которой был помолвлен еще с рождения, согласно договору, заверенному подписями родителей и скрепленному сургучными печатями. «Давай убежим вместе, любовь моя, — повторял он ей то и дело, — только я и ты, вместе навсегда». Но достаточно было их первенцу появиться на свет, чтобы возлюбленный исчез и больше не появился. «Выкручивайся сама!» — сказал он и бросил ей мешочек монет, которых едва хватило на содержание ребенка в первый год жизни.

Пришлось выкручиваться, но дела шли из рук вон плохо: работы не было, а если и была, то за нее платили сущие гроши. Пришлось

идти на панель, чтобы оплатить долги.

— И вот где я теперь, — подытожила она.

Отцом второго ребенка мог быть кто угодно: случайный прохожий, солдат, судья, а может быть, даже священник. Это было ее наказание за чрезмерное тщеславие, и она его заслужила. Теперь она расплачивалась по заслугам, ибо поверила, что красота — это Божий дар, который защитит от всех напастей мира. Она слишком часто любовалась своей красотой, и вот теперь настало время расплаты: всеобщее презрение, постоянные унижения — все это следствия выбранной... профессии. Никто уже не женится на женщине, чьи дети рождены во грехе и которую все называют тем грязным именем, которым наградила ее и он, Бернар. Но ее милые мальчики никогда не узнают, чем она занимается. Она накопит достаточно денег, чтобы навсегда покинуть Болонью, они уедут к морю, где их никто не знает, и начнут новую жизнь.

— Сказать по правде, я... — Бернар спрашивал себя, как могло случиться, что даже в такой момент проклятый инстинкт, заставлявший его защищать слабых и угнетенных, так быстро им овладел, и насколько это уместно здесь и сейчас пытаться спасти беззащитную молодую женщину. Он даже почувствовал себя виноватым за то, что назвал ее проституткой. Он погладил ее волосы и с силой прижал к себе. Так, крепко обнявшись, они проговорили около часа. Он рассказал ей свою историю.

— Уезжай отсюда! У меня есть кое-какие сбережения, мы сможем начать новую жизнь.

И смущение стало отступать, и возбуждение взяло над ним верх. Бернар снял с нее длинные панталоны и принялся ласкать ее бедра и роскошные груди. Он сильно дрожал всем телом, чувства и желания переполняли его. Никогда прежде он не испытывал ничего подобного. И вот теперь, когда ему уже пятьдесят... Он стал развязывать тесемки своих панталон, когда какой-то пьянчуга вдруг бешено забарабанил в дверь комнаты, где они находились. «Моя очередь! — кричал он на весь коридор. — Когда уже подойдет моя очередь? Я жду уже полчаса! Эстер!»

На ее лице изобразилось разочарование.

— Мне так жаль, Бернар, — сказала она. — Твое время закончилось, как-нибудь в другой раз.

И все же ей были по душе такие сентиментальные клиенты, как Бернар. Она научилась узнавать их с первого взгляда. На них приходилось тратить гораздо больше времени, и таким образом они уменьшали ее часовой заработок. Но существенное преимущество было в том, что зачастую они ограничивались разговорами и поцелуями, и поэтому пять сольдо «на всякий случай» становились ее чистым заработком. Она же предпочитала лишний раз не рисковать: теперь, когда у нее уже скопилась порядочная сумма, еще один ребенок был бы совсем некстати.

Пьяный за дверью продолжал звать ее. Затем раздались жалкие всхлипы:

— Ну, Эстери-и-и-ина...

Бернар вскочил с кровати прямо в развязанных панталонах и с угрожающим видом бросился к двери. Он приготовился хорошенько отколотить этого любителя плотских утех.

— Простите меня, мадам! — бросил он Эстер.

Но когда он раскрыл дверь, пьянчуга упал на него прежде, чем Бернар успел замахнуться. Он был мертвецки пьян. От мужчины небольшого роста несло как из винной бочки. Бернар взял его под мышки и, придерживая, заглянул ему в лицо.

— Святые небеса! — воскликнул он, сразу узнав его.

Размышляя о своем открытии, Джованни не сомкнул глаз. Пергаменты над кроватью поэта и стихи, найденные в сундуке, вместе образовывали сложную нумерологическую комбинацию, смысла которой он никак не мог разгадать. Он понимал, что нужно идти по следу, но куда именно? Может быть, этот след ведет к тайнику, где спрятаны последние тринадцать песен? Но Джованни всерьез подозревал, что речь идет о чем-то куда более важном, и как раз потому, что загадочный шифр содержится не в самой поэме, которую мог прочесть кто угодно, но в непонятных и таинственных частях произведения.

Он впервые всерьез задумался о том, что рассказал ему Бернар, когда они впервые встретились. Новый Храм тамплиеров, девятисложные стихи: тогда ему показалось, что это полнейшая бессмыслица, поэтому он даже толком не расспросил рыцаря. Но теперь-то было очевидно, что в этих стихах зашифровано послание.

Выходит, Данте перед своим отъездом в Венецию прекрасно знал, что подвергается опасности, и поэтому оставил в доме кучу подсказок, которые вели к его тайне. А ключом к разгадке служит заключенный в поэме нумерологический квадрат, хотя очень может быть, что никто так никогда и не смог бы его расшифровать, если бы не другие знаки, которые Данте щедро оставил по всему дому.

Первое, что приходило в голову, — это мысль, что послание предназначалось детям поэта, вот только... И тут вошел запыхавшийся Бернар.

Джованни хотел было рассказать ему о своем ночном открытии. «Возможно, я понял, где...» Но Бернар не дал ему договорить: «Скорей, собирайся! Нам надо спешить, скорее за мной, я нашел одного из убийц!»

И пока Джованни одевался, бывший рыцарь рассказал ему обо всем, что произошло, — разумеется, некоторые щекотливые моменты он опустил. Он просто сидел в трактире, что находится в башне Гаризенда, когда увидел среди посетителей того самого щуплого францисканца из аббатства Помпоза. Его звали Чекко, он был родом из Аbruцци, из города Ландзано, как и друг Джованни. Возможно, Бруно даже его знает — видел на улицах города или слышал о нем. Он уже распрощался с монашеским одеянием, но, несмотря на это, Бернар сразу его узнал. Он принялся расспрашивать его о деле, но тот отключился. Тогда Бернар отнес его в комнату на втором этаже, однако состояние негодяя отнюдь не располагало к разговору, не говоря уже о диком диалекте, на котором тот изъяснялся. Вытянуть из него ничего не удалось. Единственное, что удалось узнать Бернару, так это то, что сообщника Чекко, того самого, со шрамом в виде буквы «L», звали Терино; он был родом из Пистойи, и именно он должен был получить от неизвестного лица деньги за работу, чтобы разделить их с Чекко, но в день оплаты его и след простыл. Они вместе прибыли в Болонью, но потом Терино отправился на встречу с клиентом и больше не вернулся. Наверное, прихватил денежки и рванул во Флоренцию, где у него была подружка, некая Кекка из Сан-Фредиано. «Меня провели, как последнего дурака», — твердил он как заведенный. Бернар снял с него обувь и уложил на кровать. Потом он побежал за Джованни, а дверь запер на ключ, чтобы мерзавец не сбежал. Когда тот отоспится и немного придет в себя, они смогут допросить его снова.

Бернар и Джованни довольно быстро добрались до трактира: он находился не так далеко от гостиницы, рядом с университетом. По дороге поднялся сильный колючий холодный ветер. Они вошли в трактир и поднялись на второй этаж. Между первым и вторым этажом на лестничной площадке стоял стол, за ним никого не было. Бернар обогнул его и открыл выдвижной ящичек: «Ключ был здесь!» Пока он рылся в ящичке, беспокойство его росло: «Его здесь нет! Кто-то украл его, скорее!»

Они рванули на второй этаж, Джованни кинулся к двери вслед за Бернаром. Дверь была распахнута настежь, ключ все еще торчал в замке. Комната оказалась пуста, от Чекко не осталось и следа, хотя они тщательно все обыскали. В комнате никого не было, лишь в углу валялся большой узел с вещами исчезнувшего Чекко. Помимо барахла, они нашли в нем маленькую ампулу, на дне которой остались следы какого-то белого порошка, и еще медальон точь-в-точь как у Бернара, со знаком ордена тамплиеров: два рыцаря на одной лошади. Джованни показал Бернару медальон, Бернар сердито поморщился. «Овцы, сбившиеся с пути истинного», — пробормотал он себе под нос.

Их поиски были прерваны голосами и криками, доносившимися снизу, из внутреннего двора. Они бросились туда. Во дворе царил суматоха: несколько человек носились туда-сюда с полными ведрами воды, пытаясь потушить огромный костер, который угрожал спалить все здание. Во дворе бушевал ветер, он накручивал спирали и раздувал пламя, подкидывая в воздух угли и головешки и образуя пепельный смерч. «То адский вихрь, бушуя на просторе, с толпою душ кружится в царстве мглы», — неизвестно с чего подумал Бернар. Это смерч из ада, что уносит души тех, кто совершил грех прелюбодеяния. И тут же его губы сами принялись шептать те строки из *Чистилища*, где говорилось о пламени, пожиравшем души грешников, возлюбивших плоть:

Здесь полымя с утеса пышет вниз,
с карниза ж ветер дует вверх, склоняя
огонь назад...

Это гибельное место и знаки, которые посылались ему свыше, — все смешалось... Ему следовало скорее раскаяться в своих порочных желаниях, в том, что он совершил грех, нарушил обет, но у него ничего не получалось. В окне второго этажа мелькнуло перепуганное лицо Эстер. Бернар бросился к ее комнате, он хотел помочь, успокоить ее. Джованни тем временем помогал тушить пожар, пытаясь сбить огонь своим плащом, так что он потерял товарища из виду. Когда Бернар добежал до комнаты Эстер, дверь была открыта, но женщины там уже не было. Он увидел на полу таз с водой, распахнул окно и вылил воду прямо в огонь. Когда он снова спустился во двор, огонь был уже почти потушен. В самом центре костра виднелась темная тлеющая масса: то были обугленные останки человеческого тела. Бернар подобрал с земли металлическую пряжку, очистил ее от копоти и тут же узнал знак ордена тамплиеров: конь несет на себе двух всадников. Это было все, что осталось от Чекко да Ландзано.

Когда они добрались до приятеля Джованни, день уже подходил к вечеру. Самого Бруно не было дома. Навстречу им вышли его жена и пятилетняя дочь, Джильята и София. Джильята тепло приняла путников и, ни минуты не раздумывая, предложила каждому из них занять отдельную комнату, так как дом у Бруно был удобный и просторный, места хватит на всех.

— Есть какие-то новости от Джентукки? — спросила она.

Джованни поведал ей о своих странствиях и о недавнем путешествии в Равенну. Джильята призналась, что, с тех пор как они виделись в последний раз, в Болонье тоже не было о Джентукке никаких известий. Потом она отправилась готовить комнаты, а маленькая София принялась рассказывать Бернару странную сказку об эльфах и феях, которую он терпеливо слушал, силясь изображать внимание, но стоило ему забыться, как лицо его вновь становилось грустным и озабоченным.

В ожидании Бруно они расположились за столом в гостиной. Джильята рассказывала Джованни последние новости об общих друзьях и о муже. С ними Джованни провел лучшие годы своей жизни, то были годы учебы у Мондино деи Луцци,^[26] который преподавал анатомию по принципам Гульельмо да Саличето.^[27] Потом были тайные опыты с профессором-аверроистом,^[28] вскрытие трупов, общение с ученым-евреем, который переводил с арабского и привез из

Святой земли ценнейшие книги не только по медицине. Джильята даже выучила арабский, чтобы помогать мужу. Она показала Джованни последний свиток, который им удалось раздобыть: исследование о циркуляции крови Ибн аль-Нафиса.^[29] Джованни немного завидовал друзьям: они остались в Болонье, где был университет, где кипела научная мысль, где велась бурная деятельность, в то время как он сам себя запер в жалком болоте провинциального городка, живущего вчерашним днем. Хотя, с другой стороны, он пользовался на практике лишь теми знаниями, которые получил в университете, и в маленьком городе этого оказалось достаточно, чтобы он стал всеми уважаемым врачом. Джильята рассказала ему, что и в Болонье теперь не все так гладко, Церковь давит все сильнее, ее слуги становятся все более нетерпимыми.

— И все это по вине Фридриха Второго, — сказала она. — И не потому, что был плохим императором, а как раз наоборот: потому что он был великим. До его воцарения монахи ездили в Толедо, чтобы чему-нибудь научиться у арабов, а потом переводили мусульманские и греческие книги на латынь и таким образом являлись единственным источником научной мысли. Но потом, когда он окружил себя лишь светскими лицами и стал покровительствовать наукам, Церковь заняла оборонительную позицию: Гогенштауфен был врагом, а поскольку он любил науку, то и наука стала врагом Церкви. И тогда Герардо да Кремона^[30] сменил свой ученый пыл на ревностное служение поиску еретиков, и удушающая атмосфера всеобщего подозрения окутала город. Кто знает, сколько времени пройдет, прежде чем Церковь осознает, что Фридриха давно уже нет на этом свете.

Она рассказала о том, что Бруно теперь в одиночку продолжал все исследования, поскольку их учителя-аверроиста обвинили в ереси и он был вынужден бежать из города, так что никто не знает, где он скрывается. Сейчас Бруно занимается изучением циркуляции крови, и похоже на то, что теория Галена о четырех жидкостях и о трех духах-пневмах в теле человека — совершенная чепуха.^[31] И все же он пока не решается опубликовать результаты своих исследований. Ведь одного доноса завистливого коллеги будет достаточно, чтобы отправить врача или философа на костер. Теперь ученые не могут доверять друг другу и свободно делиться своими открытиями.

Поэтому наука почти не движется вперед. Даже исследование трупов пришлось приостановить, теперь это стало слишком опасно.

Джованни ждал Бруно с нетерпением. Ему хотелось скорее поделиться с ним результатами своего расследования, ведь его друг был весьма образованным человеком, он знал Священное Писание и труды Отцов Церкви, читал трактаты латинских классиков, старых и новых философов, он мог бы помочь ему расшифровать тайное послание и найти объяснение строкам о Псе и о Властителе.

Наконец Бруно вернулся, и они обнялись, как братья. Джильята приготовила ужин, а потом, когда они поели, отправилась укладывать дочь.

— Доброй ночи, Джованни! — сказала она. — И не грусти! Вот увидишь, если Джентукка жива, рано или поздно вы снова встретитесь!

София тихонько шепнула матери:

— А Бернар завтра уже уедет или еще побудет с нами?

Джиллята успокоила ее, ответив, что завтра она сможет продолжить свою историю. София поцеловала отца, помахала ручкой рыцарю и исчезла вслед за матерью, которая рассказала ей о жизни Бернара и о том, как много-много лет назад он участвовал в Крестовом походе и сражался с турками.

IV

Оставшись втроем, мужчины расположились вокруг стола, и Джованни рассказал Бруно о событиях, которые произошли в Равенне: о смерти Данте, о своих подозрениях, об исчезновении рукописи и о том, что они нашли несколько загадочных страниц в сундуке с двойным дном. Потом он поведал ему о том, что случилось сегодня утром, о страшной смерти Чекко да Ландзано. Бруно припомнил, что в начале сентября ему приходилось встречаться с неким Чекко на улицах Болоньи; об этом типе ходили дурные слухи. Хотя они никогда близко не общались, но, как земляки, оказавшиеся в чужих краях, по обычаю, поздоровались.

Этот самый Чекко был спекулянтом, он посещал сомнительные заведения по обе стороны границы и показывался там всякий раз, когда проворачивал очередную сделку, причем законной сделка была далеко не всегда. Он зарабатывал как посредник при обмене товаров — в общем, занимался всем подряд и даже связался с тамплиерами, но не из любви к Святой земле, а потому, что учуял возможность барыша, ведь большие флорентийские компании, перевозящие продукты, пользовались кораблями рыцарей Храма и поэтому могли не платить налоги. Огромные караваны отправлялись из Ландзано прямо в Бриндизи, где погружались на корабли. Вот чем занимался этот Чекко, — по крайней мере, такие слухи ходили о нем в родных краях.

Когда орден распустили, поговаривали даже, что Чекко попал под суд, но ему удалось выкрутиться. Если бы его оставили под стражей, сейчас он был бы жив...

Потом Джованни рассказал о своих ночных размышлениях, о таинственных числах, зашифрованных в отрывках из *Комедии* Данте, найденных на дне сундука; он нарисовал нумерологический квадрат и спросил Бруно:

— Как думаешь, что все это значит? Очень похоже на то, что все сводится к великой аллегории справедливости, которая раскрывается на небе Юпитера, но мне никак не удастся понять значение цифр один-пять-пять.

— Да это же Давид и пять круглых камней! — воскликнул Бруно. — Ну конечно же: в тридцать второй проповеди святой Августин говорит о битве Давида с Голиафом и трактует числа один, пять и десять как скрижали Завета. Попробую вспомнить: «Давид выбрал пять камней для своей пращи в русле реки, — как сказано в Первой книге пророка Самуила, — но лишь одним из них он смог убить великана». Давид — это предок и прообраз Христа, а Голиаф воплощает собой Сатану. По мысли Августина, пять камней символизируют собой пять Книг Моисея, а число десять, как и десять струн арфы-псалтыри Давида, на которой он играет в псалме «К Голиафу», — это десять заповедей Божиих, которые Моисей получил на Синае. «Пять» и «десять» для Августина — скрижали Завета. А «один» — это тот самый камень, который убил гиганта-филистимлянина, потому как закон Моисеев сводится в Новом Завете в одну-единственную заповедь любви: «возлюби ближнего своего, как самого себя». Таким образом, числа один, пять и десять указывают на связь между Ветхим Заветом, то есть Пятикнижием и десятью заповедями на скрижалях, и Новым Заветом, который сводит все это к одному.

И тут Джованни вспомнил истолкование канцоны Данте *«Три дамы к сердцу подступили вместе»*,^[32] о котором он слышал от Пьетро: Божественный закон сводится к единству христианской справедливости, которая в *Раю* воплощается в образе орла: *e pluribus unum*,^[33] тысячи душ, чьи голоса становятся одним-единственным голосом.

— Так и есть! — воскликнул он.

В последних сохранившихся стихах поэмы орел, тело которого состоит из тысячи духов, говорит одним общим голосом; он предлагает Данте заглянуть ему в глаза, и поэт видит, что зрачок орла — это дух царя Давида — самый главный дух на небе Юпитера, а вокруг него — пять драгоценных камней. Пять — как пять камней, как пять Книг закона Моисея в проповеди святого Августина! Все сходится! Это о Давиде слова из двадцатой песни: «пел Господа и скинию носил из града в град», это он доставил в Иерусалим ковчег Завета, в котором хранились скрижали Закона. Но потом говорится о Псе: сказано, что он изгонит Волчицу.

— Ковчег Завета! — радостно воскликнул Бернар, словно неожиданно понял нечто исключительно важное.

Он схватил лист, на котором Джованни изобразил свой нумерологический квадрат, и начал внимательно разглядывать его.

Джованни, ничуть не смутившись, продолжал:

— Выходит, что гончий Пес — это намек на Давида, а точнее, на то самое число пять из святого Августина — на Тору и Ветхий Завет, это не что иное, как символ охоты на Волчицу. Волчица же — одно из трех воплощений Сатаны, она обильно размножается, ведь у Данте сказано, что она *со многими еще совокупится*. Тогда это объясняет загадочный *войлок*, меж которым якобы родится Пес: это может быть пастушья одежда, ведь пастухи не использовали плащи из ткани, обычно они одевались в безрукавки, сваленные из войлока, а Давид как раз и был пастухом.

— А еще это может быть отсылкой к пророчеству Иезекииля, — вмешался Бруно, — там говорится о восстановлении справедливости в стаде верных, ведомых пастухом Давидом, который изгонит со своей земли хищников, то есть воплощение зла, Рысь, Льва и Волчицу. Давид или его потомки, наследники Христа, победят трех чудищ.

— А если Давид и есть тот Пес, — подхватил Джованни, — который защитит свое стадо от хищных зверей Сатаны, то есть Давид-воин, чье оружие — пять камней Завета, тот Давид, которому предстоит победить Голиафа, то тогда отрывок из *Чистилища*, зашифрованный цифрами 5-1-5, пророчит поражение гиганту — иными словами, Филиппу Красивому — и возвещает пришествие посланника Господня, который победит нового Голиафа. Теперь все ясно! Давид-солдат становится Давидом-предводителем, главой войска Израилева, и оба они предвещают появление Давида-царя, который станет зрачком того самого орла и хранителем Божественного закона, первым в ряду предшественников и провозвестников Христа. Пророчество о пришествии Пса и Властителя свершается на небе Юпитера, а орел являет собой единство справедливости. И тогда числовая аллегория указывает на библейского Давида в трех ипостасях: охранителя стада, главы войска Израилева и, наконец, царя, а кроме того, на фигуру Христа, через число 33, которое раскрывается постепенно: в диком лесу через пророчество Вергилия, который символизирует Разум, потом на вершине нового Синая — словами

Беатриче, которая воплощает собой теологию, и, наконец, на небе праведников...

— Ковчег Завета! — прервал Бернар их рассуждения. — Это и есть тайна! В поэме хранится ключ, как найти потерянный ковчег, который Давид принес в Иерусалим и вокруг которого был воздвигнут Храм Соломона.

Бруно и Джованни удивленно повернулись к нему.

— Там, в Иерусалиме, — продолжал Бернар, — мы были хранителями Храма. Ковчег нашли первые тамплиеры в том месте, где он был спрятан Отцами Церкви во время осады, перед тем как Навуходоносор разрушил город. Его нашли в Куполе, в огромной восьмиугольной мечети, которая стояла на месте Храма Соломона. Совсем рядом был наш главный Храм, его называли *Templum Domini* — Храм Господень. Ковчег — это артефакт, обладающий чудовищной силой, внутри его находятся скрижали, полученные Моисеем от самого Бога. На крышке его изображены два ангела, а между ними стоит Господь Саваоф, явившийся Моисею; он указывает ангелам обратный путь в страну отцов. Рыцари ордена хранили ковчег в Храме, пока оставались в Святом городе. А потом Саладин изгнал христиан из Иерусалима, и тогда магистры ордена были вынуждены перенести Ковчег в другое место. Но куда? Это великая тайна, которой после истребления ордена суждено было стать лишь красивой легендой.

Бруно и Джованни не знали, как реагировать на его слова, потому что Бернар был так уверен в том, о чем говорил, что им было трудно понять, где здесь правда, а где вымысел. Меж тем Бернар утверждал, что разгадал тайный смысл квадрата из цифр, нарисованного Джованни, и принялся разъяснять:

— Единица — это главный ключ для понимания послания, скрытого в девятисложниках. Эти стихи — своего рода загадка, они написаны на том языке, на котором чаще всего обращались христиане, живущие в Святой земле: на смеси французского, провансальского и сицилийского норманнского. Я слышал о них в Акре в день битвы, как сейчас помню: прежде чем повести войско к Проклятой Башне, Великий магистр Гийом де Боже приказал Жерару Монреальскому спасти девяти-что-то. Толком я не расслышал. Кончалось на «и», и я подумал, что это могли быть они, девятисложники или строки, так как речь шла о стихах, местонахождение которых хранилось в

строжайшем секрете, — видимо, в них зашифровано, где находится новый Храм, то самое место, куда тамплиеры переправили ковчег Завета со скрижалями. А теперь посмотрите... — И он показал на квадрат:

1	5	5
5	1	5
5	5	1

— Этот самый квадрат — наша карта, и все подсказки о том, как пройти по ней, скрыты в поэме, а единица из этого квадрата — ключ: каждая часть поэмы Данте состоит из тридцати трех песен, каждая песнь — из нескольких терцин, а каждая терцина — из тридцати трех слогов. Тогда, если следовать схеме квадрата, единица указывает нам на первые, средние и последние значения из тридцати трех. Таким образом, делим тридцать три песни поэмы на три равные части, получаем по одиннадцать песен. Вычисляем из каждой части начало, середину и конец: первая песня из первых одиннадцати песен, шестая из второй части, одиннадцатая из третьей. То есть в каждой части поэмы нам нужны первая, семнадцатая и тридцать третья песни. Потом выделяем из них первую, среднюю и последнюю терцины, а в каждой из терцин ищем первый, семнадцатый и тридцать третий слог. Тогда из каждой терцины мы получаем три слога, из каждой песни — девять слогов, то есть девятисложник, из каждой части у нас будет по три девятисложника, то есть из всей поэмы — девять! Именно их и надо было спасти!

Бернар встал, чтобы взять свою рукопись с текстом *Комедии*, Джованни и Бруно проводили его взглядами, в которых читалось большое сомнение.

— Но откуда Данте узнал о них? — спросил Джованни.

Бернар промолчал, он вернулся на свое место и занялся переписыванием нужных строк из первой песни *Комедии*. Джованни сказал, что пролог из первой части лучше бы исключить, потому что в

первой части имеется тридцать четыре песни, а значит, вступление не считается.

Но Бернар думал, что лучше исключить последнюю песнь, про Сатану: *Vexilla regis prodeunt inferni* — *близятся знамена царя*. Стяги Сатаны из первой строки как бы выносят эту песнь туда, где Божественный и человеческий законы не работают, поэтому и считать ее не надо.

— Итак, я начинаю, — сказал Бернар, — первая песнь, первая, средняя и последняя терцины.

Он переписал соответствующие слоги, иные буквы вычеркнул, другие добавил, хотя было ясно, что подсчет слогов вульгарной латыни не подчинялся правилам грамматики. Наконец он заново переписал то, что у него получилось:

Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per **una** selva oscura
che la diritta via via smarrita.

Rispuosemi: Non ото, ото gia' fui,
e li parenti **miei** eran lombardi,
manotani per patria ambedui.

Che tu mi meni la; dov'or dicesti,
si ch'io veggia la **porta** di san Pietro
e color cui tu fai contanto mesti.^[34]

А вот и первый девятисложник: *Ne l'un t'arimi e i dui che porti*.

— Но в нем нет ни малейшего смысла, — возразил Джованни.

— Я уже говорил вам, — заметил Бернар, — что девятисложники были написаны на французском языке Святой земли. Эти строки кажутся мне слегка видоизмененным переводом на итальянский: «arimer» — это глагол, которым пользовались моряки города Тира, он означает «загружать трюмы», «размещать на корабле», но когда он употребляется как возвратный, то его значение «спрятаться». Поэтому эта строка может означать примерно следующее: «Ты и те двое,

которых ты несешь, в одном вы спрятались». Вся тайна в единице! Ну что я вам говорил!

Джованни по-прежнему думал, что вся эта затея не имеет смысла. Но Бруно идея показалась забавной, и он просил Бернара продолжать. Рыцарь проделал все то же самое и с семнадцатой песней:

Ecco la fiera con la coda aguzza,
che passa i monti e **rompe** i muri e l'armi!
Ecco colei che tutto 'l mondo appuzza.

Or te ne va; e perché se' vivo anco,
sappi che i mio **vicin** Vitali'ano
sederà qui dal mio sinistro fianco.

così ne puose al fondo Gerione
al piè al piè de **la** stagliata rocca,
e, discaricate le nostre persone.^[35]

И наконец, с тридцать третьей:

La bocca sollevò dal fiero pasto
quel peccator for**bend**ola a' capelli
del capo ch'elli avea di retro guasto.

Ai Pisa, vituperio de le genti
del bel paese **là** dove 'l sì suona,
poi che i vicini a te punir son lenti,

trovai di voi un tal che per sua opra
in anima in Cocito già si bagna,
e in corpo pare vivo ancor di **sopra**.^[36]

Затем, отделяя слова вертикальными чертами, выводя какие-то каракули, вычеркивая и заново переписывая, Бернар получил из очередной терцины такие строки:

Ne l'un t'arimi e i dui che porti
e com zà or c'incocola(n). Né
l'abento ài là: (a) Tiro (o) Cipra.

Бруно спросил его: почему он вычеркивает некоторые буквы? Бернар ответил, что когда глухой звук сочетается со звонким, это не вписывается в правила французского слогаобразования, поэтому один звук можно спокойно отбросить. Но это правило касается только таких сочетаний. Затем он перешел к объяснению смысла новых строк:

— *E com zà or c'incocola(n)*: «*сomme ça*» — это опять по-французски и значит примерно следующее: *Те двое, которых ты несешь, покрывают тебя своею рясой*. Не знаю, как хорошо вы знакомы с девятой песней *Рая*, где говорится о серафимах о шести крылах, которые скрывают обличья духов... Обычно ряса — это одеяние монахов. Но здесь говорится об ангелах, и, следовательно, ряса — это шесть серафимовых крыл, которые что-то покрывают, по моему, это яснее ясного.

— Ковчег Завета! — крикнул Бруно. — Там два херувима! Ковчег описан в Ветхом Завете, в Книге Исхода!^[37] Он сделан из дерева акации, а поверх выложен золотом, на его крышке по краям изображены два золотых херувима, они переплетаются крылами, так что покрывают собою весь ковчег, как и говорил Бернар. Их лица обращены внутрь. Они покрывают весь ковчег своими крыльями, словно рясой...

— *Ты прячешься в одном, и двое, которых ты несешь, покрывают тебя своими крыльями*, — подытожил Бернар. — А потом идет *Né l'abento ài là: a Tiro o Cipra*. «*L'abento*» — это норманнское слово, означающее точку прибытия, место, где можно отдохнуть.

— Да, — сказал Бруно, — им до сих пор пользуются в Сицилии, а иногда и здесь. Джованни, ты знаешь стихотворение сицилийца Чело Д'Алькамо «Спор»?^[38] У него встречается это слово в значении «покой» и — *Из-за тебя ни днем ни ночью нет покоя мне*. Оно происходит от латинского «*adventus*», что значит «прибывать, причаливать».

— Итак, что мы имеем: *Ты нашел покой в Тире или на Кипре*. «*Счурге*» — это по-французски, при этом в итальянском варианте «е»

переходит в «а», — продолжал Бернар. — Наверное, когда Саладин подходил к городу, ковчег удалось переправить в безопасное место. Порт Тир, что в Ливане, оставался тогда единственным городом, где крестоносцам удалось отбиться от мусульман, он был осажден, но смог выстоять. Но все же там было небезопасно: Саладин мог в любую минуту направить туда новые армии. Но на защиту города встал весь христианский мир, даже французский король Филипп Август и английский — Ричард Львиное Сердце. Ричард прибыл туда уже после Филиппа, и знаете почему? Он немного задержался, пытаясь отвоевать у византийцев Кипр. Наверное, тогда ковчег и перевезли из Тира на Кипр, из Святой земли поближе к западным государствам. Сначала он побывал в Тире, потом на Кипре, однако на этом острове он тоже долго не задержался. Мы почти у цели, осталось только вычислить, где он теперь...

Бернар принялся сражаться с первой песней *Чистилища*:

Per correr miglior acque alza le vele
omai la navicella del mio ingegno,
che lascia dietro a se mar sì crudele;

Com'io l'het tratto, saria lungo a dirti;
de l'alto scende virtù che m'aiuta
conducerlo a vederti e a udirti.

Quivi mi cinse sì com'altrui piacque. [\[39\]](#)

И записал следующую строку: *per cell(e) e cov(i) irti qui*.

— И с Кипра он прибыл куда-то *через святилища, подземные пещеры и дикие, тернистые места*, — перевел он. — Но куда же? Сейчас мы это узнаем! — радостно воскликнул он.

Бруно недоумевающе посмотрел на него, а Джованни, все еще сомневаясь, снова спросил:

— Но откуда Данте стали известны эти строки? Разве это не было великой тайной?

— А может быть, он сам и был Великим магистром, — ответил Бернар.

Его переполняли самые разные чувства, не терпелось поскорее найти подтверждение тому, во что он так верил, ради чего жил.

— Мы уже подобралась так близко, неужели ты не рад? Мы подошли вплотную к разгадке тайны... — Он говорил все громче и громче, почти перейдя на крик.

Бруно и Джованни смотрели на него во все глаза.

— Потихе, — одернул его Джованни. — Джильята и София спят.

— Я понятия не имею, — зашептал Бернар, — откуда у Данте оказались эти строки. И чего от него хотели убийцы. Почему они украли рукопись? Наверно, кто-то не хотел, чтобы тайна получила огласку, даже в такой зашифрованной форме. Они пытались помешать Данте закончить поэму, — предположил он и зевнул.

— Может быть, мы отложим дальнейшее расследование до завтра? — пробормотал Джованни, видя, что Бернар уже устал.

— Мы можем продолжить в любой момент. А теперь и вправду пора немного поспать, сегодня я ужасно вымотался. Завтра мы можем пройтись по университетскому кварталу, там можно встретить немало интересных личностей. Что скажешь, Джованни?

Бруно и Джованни поднялись.

— Да, версия о ковчеге действительно захватывает воображение, — сказал Бруно, потягиваясь, — все это так загадочно! Кто знает, очень может быть, что все это не случайно...

— Да, это действительно поразительно! — согласился Джованни. — Доброй ночи. До завтра.

Но Бернар не сдвинулся с места, он даже не повернулся в их сторону. Он переписывал последние строки первой песни *Чистилища*.

Рано утром Джильята встала и направилась в обеденный зал, где обнаружила Бернара, который заснул прямо за столом, зарывшись головой в кипу бумаг. Свеча уже давно догорела. Когда она вошла, он внезапно пробудился и резко поднял голову: на его левой щеке осталось большое черное пятно — то отпечатались чернила с листа, на котором он проспал почти полночи. После того как Джованни и Бруно отправились спать, Бернар еще несколько часов продолжал расшифровывать девятисложники, ему удалось выписать нужные строки из всех песен, которые у них были, и сложить их в стихи. Сон сморил его, когда работа подходила к концу.

Бруно и Джованни проснулись, а за ними вскоре поднялась и София: малышка вбежала в столовую вслед за отцом и сразу кинулась к Бернару:

— А правда, что ты участвовал в Крестовом походе?

— Да, это было давным-давно...

— А ты видел там Ричарда Львиное Сердце?

— Нет, он был в другом Крестовом походе...

— А откуда у тебя это пятно на лице?

— Наверное, это след от раскаленного масла, который остался со времен последней осады...

— А почему вчера его не было?

— Видимо, он появляется только в том случае, если накануне ночью мне снятся пылающие стены Акры.

— А какие книги ты там нашел?

— Книги?..

— Да, книги... Мама сказала, что ты пошел в Крестовый поход, чтобы привезти папе арабские книги.

Джильята схватилась за голову:

— Рано или поздно это кончится тем, что к нам нагрянет инквизиция!

Позавтракав сладкими пшеничными лепешками, все трое отправились на прогулку в центр города, в университетский квартал. Но вскоре Бернар оставил друзей вдвоем. Когда они шли мимо церкви

Святого Стефана, они столкнулись с каким-то светловолосым человеком. Внешность выдавала его французское происхождение и принадлежность к рыцарству, одежда указывала на то, что он не из простых: на плечах у него красовался ярко-красный плащ с белой опушкой, на поясе висел большой меч.

— Дан! — радостно крикнул Бернар, едва они поравнялись.

Но лицо незнакомца оставалось непроницаемым. Он остановился и внимательно посмотрел на Бернара. Было очевидно, что прохожий не узнал его, но боится выдать себя, чтобы не обидеть незнакомца.

— Бернар, я Бернар... из Акры, помнишь меня? — подсказал ему бывший товарищ.

— А, Бернар... — ответил тот, все еще не узнавая.

— Это Даниель де Сентбрун, мой побратим и старый товарищ по оружию! Я вижу, ты жив, тебе удалось спастись не только от мамлюков, но и от французского короля! — представил незнакомца Бернар.

— А, ну конечно, Акра... — оттаял наконец тот. — Прошу прощения, что сразу не узнал тебя — такие печальные воспоминания стараешься поскорее вычеркнуть из памяти...

Бернар извинился перед друзьями и удалился вместе с Даниелем, пообещав вернуться домой около шести.

Оставшись вдвоем, Джованни и Бруно продолжили свой путь. Складывалось такое впечатление, будто с Бруно знаком весь город: каждые десять метров им приходилось останавливаться, чтобы перекинуться словечком с очередным знакомым. Здесь многие говорили о смерти Данте, а еще о возобновившейся вражде двух знатных семей и о жестокости капитана народа,^[40] Фульчиери да Кальболи, известного своей кровожадностью. Сам Данте упомянул его в одной из песен *Чистилища*: лет двадцать назад, когда Фульчиери был подестой Флоренции, он уже прославился кровожадными расправами над белыми гвельфами и просто сочувствующими, стараясь угодить черным, которые щедро платили ему за работу. Перебравшись в Болонью, он остался прежним, начав с того, что приговорил к смерти несчастного испанского студента за похищение возлюбленной, семья которой занимала в городе важное положение. Знатные семьи города выказали свое негодование по поводу такого сурового наказания, но на самом-то деле иностранные студенты были

просто хорошим источником дохода, так что не стоило их отпугивать. Зато все стало гораздо спокойнее за своих дочерей: многие заняли места в первых рядах, чтобы посмотреть на казнь, которую они считали слишком суровой. В конце концов, особого вреда от нее не будет, мало ли этих испанских студентов: казнят одного, зато наука будет сотне. Похищенная возлюбленная заперлась в своей комнате, ходили слухи, что в день казни она пыталась покончить с собой. Ее официальный жених нашел такое поведение весьма неприличным.

Джованни поинтересовался, не знает ли Бруно некоего Джованни дель Вирджилио, эклогу к которому сыновья Данте нашли в бумагах отца. Он должен был передать ее лично адресату. «Я прекрасно с ним знаком — это один из моих постоянных клиентов, вечно одержимый сотней воображаемых болезней... Да вот и он сам». Неожиданно они столкнулись с высоким и худым человеком, который представился любителем латинской поэзии. И хотя он писал эклоги, его вымышленное имя было Мопс Сиракузский, подходящее скорее автору буколик. Этим именем он и представился Джованни.

Поклонника латинской музыки сопровождал молодой студент по имени Франческо, в Болонье он изучал право. Профессор представил его как весьма многообещающего молодого человека, пишущего великолепные дактилические гекзаметры. Юноша был родом из Флоренции, однако теперь его семья проживала в Авиньоне, при папском дворе. Все они были из белых гвельфов. Его отец, сир Петракко, был хорошо знаком с Данте, ибо сразу после изгнания из Флоренции оба оказались в Ареццо. Профессор заговорил о смерти Данте, которую он назвал настоящей катастрофой и причиной великой скорби. Не так давно он адресовал в Равенну две эклоги, в которых уговаривал Данте написать эпическую поэму на латыни, но ответа не последовало.

— Простите, синьор Мопс, — умудрился вставить Джованни, — не вы ли известны за пределами Тринакрии^[41] как Джованни дель Вирджилио?

— Не думаю, что я так уж известен за пределами Тринакрии, но я и не нуждаюсь в популярности среди плебеев. Я и пишу на латыни именно потому, что не хочу, чтобы какие-то ремесленники и погонщики ослов болтали на перекрестках о моих стихах, как они болтают о дантовской *Комедии*, раз уж Данте опустился до того, что

стал писать на языке черни. Только латинский язык может вознести нас на Парнас, не так ли, синьор Франческо?

— Дело в том, — продолжал Джованни немного смущенно, — что, будучи в Равенне, я получил от сыновей Данте эклогу, адресованную некоему Джованни дель Вирджилио, которую должен передать ему лично, но он действительно не слишком известен в том кругу плебеев и черни, где вращаюсь я...

— Давайте скорей сюда, — решительно потребовал Мопс, протягивая руку.

Джованни сразу вытащил из сумки конверт и передал ему. Мопс тут же распечатал его с такой жадностью, с какой оголодавший бродяга срывает обертку с еще горячей лепешки.

Он принялся за чтение со слезами на глазах: «Velleribus Colchis prepes detectus Eous...»^[42]

— Я же говорил, что он мне ответит. У него просто не было до этого опыта работы с гекзаметрами... — торжествующе произнес Мопс. Потом он на одном дыхании прочел латинскую эклогу, которую написал ему Данте. — Нет, вам этого не понять, — повторял он то и дело, отрывая взгляд от письма. — Данте хотел мне сообщить, — наконец произнес он, — что он не сможет приехать в Болонью, пока здесь находится Полифем, как он его называет... то есть Фульчиери да Кальболи. До тех пор пока он остается капитаном народа, нога поэта не ступит на камни мостовой Болоньи. И правда, с его-то жадностью, за кругленькую сумму он вполне мог бы передать Данте флорентийским черным гвельфам...

— Как жаль! — промолвил Бруно. — Говорят, что, когда срок его мандата закончится, на смену ему поставят Гвидо Новелло да Поленту, правителя Равенны. Он сам поэт и меценат, так что с его появлением климат существенно изменится, и Данте мог бы оказать городу честь своим длительным пребыванием.

— В любом случае здесь, в районе университета, мы не смогли бы оказать ему достойный прием, поскольку для этого необходимо, чтобы его поэма была написана на латыни, — сказал Мопс. — Чем больше я об этом думаю, тем больше... Но если Господу так было угодно... Как видно, лавровый венок предназначен для кого-то другого, не так ли, господин Франческо? Как подумаю, каким бы великим он стал, стоило лишь ему писать на латыни, я локти готов кусать с досады! Не могу

взять в толк, зачем он писал на этом тосканском! А знаете что? Он ведь поначалу хотел написать поэму в гекзаметрах, как у Вергилия, ах, если бы он так и сделал! Уже сейчас, благодаря глубине своей мысли, он считается величайшим поэтом... Но, увы, он изменил свой замысел и стал метать свой жемчужный бисер перед грязными свиньями, и теперь какие-то кузнецы да лавочники могут уродовать его строки, распевать их в своих лавках, пока куют железо или расставляют товар, а священные музы в ужасе бегут прочь.

Пока Мопс говорил, его юный друг то и дело кривился и строил гримасы, словно у него разболелись зубы. Джованни решил вмешаться и защитить человека, о котором все чаще думал как о своем отце.

— А мне кажется, Данте правильно сделал, что написал на простом языке, — заметил он, — если бы он сделал по-другому, это пошло бы вразрез с его политическими убеждениями. Написав *Комедию* на тосканском, Данте тем самым думал о будущем, о том времени, когда латынь уже забудется и все итальянцы захотят говорить на одном языке, подобно французам. Народный язык — это новое солнце, которое взойдет там, где старое закатится.

— Итальянцы? На одном языке? — произнес Мопс так, словно речь шла о чем-то совершенно невероятном.

Тут к ним присоединился еще один прохожий, назовем его жителем Асколи, чтобы не повторять имя Чекко, ибо именно так его и звали.^[43] Как оказалось, ему тоже было что сказать о *Комедии* Данте, но не о форме, а о содержании.

— Хуже всего в этой *Комедии* то, — начал он, — что Данте не поучает народ, а преподносит ему фальшивые теории. Ведь он не цитирует ни аль-Кабиция, ни Сакробоско.^[44] Данте — это псевдопророк, он проповедует ложь. Достаточно и того, что живой человек, пока у него есть тело, никак не может пройти сквозь хрустальные сферы, так как же Данте это удалось? Но неграмотный народ может поверить ему, и тогда это спровоцирует зарождение куда более опасных заблуждений.

— Опасных? И для кого же? — спросил Бруно.

— И потом, если говорить кратко, — продолжал Чекко д'Асколи, — та астрология, которую практикует этот несравненный обманщик, с какой стороны ни посмотри, держится на одном только честном слове. Хотите, проверим? Проще простого: как начинается его

поэма? *Земную жизнь пройдя до половины?* Но если тридцать пять — это половина, то, исходя из этого, Данте должен был умереть в возрасте семидесяти лет. А принимая во внимание, что умер он в пятьдесят шесть, вам придется согласиться, что он не смог предвидеть даже дату собственной смерти. И вам кажется, что такому астрологу можно верить?

— Но он ведь не астролог, а поэт, — возразил Джованни.

— Тогда расскажите нам, что вы знаете о собственной смерти, если вы считаете себя более компетентным астрологом, — добавил Джованни дель Вирджилио.

— Нет ничего проще: это произойдет между семьсот пятым обращением Марса от Рождества Христова, и сто двенадцатым обращением Юпитера, надо только провести некоторые расчеты...

— Но вот так, с ходу, вы назвали временной отрезок в десять лет, — сказал Бруно, прикинув в уме и быстро все подсчитав.

— А Данте ошибся на четырнадцать, делайте выводы...

— И все же, по-моему, вы умрете слишком молодым...

— Не пропустите этого события: я приглашаю вас на мои похороны!

Джованни думал о том, что в Болонье было немало людей, завистливых профессоров или кровожадных политиканов, имеющих массу причин желать смерти Данте.

— Что? Профессора нашего университета? — пожал плечами Бруно, когда они остались вдвоем. — Да с ними даже арифметика не пошла бы дальше единицы, так бы на ней и застряла...

Когда они к обеду вернулись домой, Джильята сообщила им, что Бернар уехал. Он вернулся незадолго до них, собрал свои вещи, оставил записку для Джованни и был таков. Только и сказал, что свидятся они не скоро, но куда направился — о том не обмолвился ни словом. Он уехал вместе со старым другом, Даниелем, которого случайно встретил после долгой разлуки. Джованни взял сложенную записку и развернул. Оттуда выпала монета и покатилась по полу. Когда он потянулся за ней, он увидел, что это венецианский дукат.

Записка гласила:

Дорогой Джованни, прости меня, что уезжаю вот так, не попрощавшись. Передай от меня привет твоим чудесным друзьям, особенно маленькой Софии.

Вчера ночью я закончил расшифровывать послание Данте, и теперь я знаю, где искать святой ковчег, в котором хранятся скрижали Моисея и который царь Давид принес в Иерусалим. Друг, которого я встретил у Санто-Стефано, — мой старый товарищ по оружию, сегодня он уезжает из города с византийскими купцами. Я поеду с ним, часть дороги мы пройдем вместе, а потом я один отправлюсь на поиски нового Храма.

Не забывай о Терино да Пистойе и о Кеше из Сан-Фредиано, удачи тебе в твоих поисках. Когда я найду ковчег, то вернусь в Болонью, чтобы разыскать тебя.

Оставляю тебе этот дукат и прошу оказать мне маленькую услугу. В гостинице, где убили Чекко да Ландзано, есть девушка по имени Эстер. Она не проститутка, а несчастная и очень хорошая мать. Эта женщина заслужила лучшую жизнь. Передай ей этот дукат. Скажи, что это от Бернара, бывшего рыцаря Храма. Передай, что... Впрочем, скажи все, что посчитаешь нужным. Когда я вернусь, я попрошу ее выйти за меня замуж.

Спасибо тебе за все, дорогой друг. Надеюсь на скорую встречу,

Бернар.

VI

Джованни уже склонялся к тому, чтобы забыть эту историю, вернуться в Равенну и продолжить там поиски тринадцати песен, полагаясь на то, что воры их еще не нашли. Теперь, когда казалось, что расследование, по-видимому, зашло в тупик, ему очень хотелось все бросить. Но прежде чем вернуться в Пистойю, стоило все же заехать во Флоренцию и предпринять последнюю попытку найти второго убийцу, того самого, со шрамом, ведь только так можно было во всем разобраться. Но чем дольше он размышлял, тем больше сомневался в том, что все это имеет смысл. Ведь Терино да Пистойя мог быть где угодно. Возможно, он так и остался в Болонье и, кто знает, сам же и убил Чекко да Ландзано, или это мог сделать его заказчик, решивший избавиться от обоих убийц и замести следы. Так что эта поездка во Флоренцию была чистой химерой.

В какой-то момент он даже решил последовать за Бернаром, но для этого надо было хотя бы знать, куда тот направился. Тогда Джованни решил тоже расшифровать стихи по методу, подсказанному Бернаром. Сначала он собрал те строки, которые рыцарь расшифровал при нем, и получил следующее:

Ты прячешься в одном, обнят двумя,
Которых ты несешь, и их крылами.
Ты отдыхал на Кипре или в Тире;
Теперь — в пещерах диких, потайных.

В последней терцине первой песни *Чистилища* он выделил семнадцатый и тридцать третий слоги:

oh, maraviglia! **ché** quale elli scelse
l'umile pianta, cotal si rinacque.^[45]

Потом он обратился к терцинам из семнадцатой песни: первой, двадцать четвертой и последней:

Ricorditi, lettor, se mai nell'alpe
ti colse nebbia **per** la qual vedessi
non altrimenti che per pelle talpe,

Già eran sovra noi tanto levati
li ultimi raggi **che** la notte segue,
che le stelle apparivan da più lati.

L'amor ch'ad esso troppo s'abbandona,
di sov'r'a noi si **piange** per tre cerchi;
ma come tripartite si ragiona. [\[46\]](#)

Собрав слоги, он вывел следующее: *Chequeriperpegiachetilapia(n)na*. Ничего не понять. Тогда он обратился к тридцать третьей песни:

«**Deus** venerunt gentes», alternando
or tre or quattro **dolce** salmodia,
le donne incominciaro, e lagrimando;

Ma perch'io veggio te ne lo ...ntelletto
fatto di pietra **e**, **impetrato**, tinto,
sì che t'abbaglia il lume del mio detto,

Io ritornai da la santissima onda
rifatto sì **come** piante novelle
rinovellate di novella fronda... [\[47\]](#)

Но и здесь его работа не принесла никаких плодов: полученные строки не имели ни малейшего смысла:

Chequeriperpegiachetilapia(n)na
Dedoldoma(e)i(m)toiomeda.

Тогда он взялся за первую песнь *Рая*:

La gloria di Colui che tutto move
per l'universo **penetra**, e risplende
in una parte pìrn e meno altrove.

Trasumanar significar per verba
non si poria, **perm** l'esempio basti
a cui esperienza grazia serba.

d'impedimento, giu' ti fossi assiso,
com'a terra qunete in foco vivo.

Quinci rivolse inver' lo cielo il **viso**.^[48]

А затем за семнадцатую:

Qual venne a Climenè, per accertarsi
di ciò ch'avea **incontro** a sé udito,
quel ch'ancor fa li padri ai figli scarsi;

che in te avra s'l benigno riguardo,
che del fare e del **chieder**, tra voi due,
fia primo quel che tra li altri èpiù **tardo**.

che l'animo di quel ch'ode, non posa
ne ferma fede **per** esemplo ch'aia
la sua radice incognita e ascosa...^[49]

На сей раз уже получилась какая-то фраза:

Lapevetrarobadimeso Qual co(n)sichechiedocheperesa

Первую строчку можно было понять двояко: *среди вещей — осиное гнездо, скажи мне, где оно*, или же: *там я найду осиное гнездо, будь внимателен*. Вторая строка показалась ему самой понятной: *то, что я прошу, потеряно*.

Выходило, что если Бернар и нашел в этом хаосе слогов какое-то указание на конкретное место на карте, то оно должно содержаться именно в тех строчках, которые ему так и не удалось расшифровать. Джованни показал свои достижения Бруно, но и тот не смог предложить ничего путного. Он сложил из слогов вот такой текст:

Che queri per pegi' à cheti la piana
de dol doma. E i' toio me da

la pève tra roba. Dime s'ò
qualcos'i' che chiedo ch'è persa.

Но и это не добавляло ничего нового. «Queri» — глагол вульгарной латыни, означающий «искать». Получалось примерно следующее:

Что ищешь ты, давно уже нашли
На той равнине, что обманом взята.
Отказываюсь от прихода я.
Скажи мне, есть ли что-то у меня,
О чем прошу и что давно исчезло.

— Взятая обманом равнина вполне может быть недалеко от Трои, — сказал Бруно, — ведь Трою удалось победить только благодаря хитрости Одиссея. Только вот никто не знает, где она. Не думаю, что Бернар задумал прочесать всю Малую Азию. Если верить Второй книге Маккавейской,^[50] ковчег Завета будет спрятан до тех пор, пока весь народ Божий не объединится под единым законом. А пока это время не настанет, Господь сам присмотрит за ним и сделает так, что никто его не найдет. Думаю, что под «народом Божиим» имеются в виду все народы, которые создадут единую Веру на основе закона Моисея, то есть евреи, христиане и мусульмане. И значит, день этот наступит еще очень не скоро.

На душе у Джованни стало спокойнее. Выходит, что в Болонье у него оставалось только одно дело — найти Эстер и передать ей дукат. Тем же вечером он отправился в указанный трактир, сел за стол и

заказал красного вина. Недалеко сидели уже знакомые читателю студенты, на этот раз они обсуждали, как бы им посмеяться над несчастным немцем, который до того потерял голову, что влюбился в местную проститутку. Он спустил на нее все деньги, так что не мог больше оплатить пропуск в книгохранилище. С насмешливым видом они затянули песню о любовных терзаниях:

Ибо сколько пчел в Рагузе,
Столько в Додоне деревьев.

Когда Джованни заметил женщину, кружащую от стола к столу, он поднялся и направился к ней.

— Не ты ли Эстер? Удели мне несколько минут, — сказал он.

При виде дуката женщина сразу пригласила его подняться в комнату, благословляя судьбу за такой удачный день.

— Деньги вперед, — проговорила она, едва шагнув за порог комнаты, и сразу же принялась развязывать платье.

— На этот раз сделай такое одолжение, оденься, — ответил Джованни.

— Мне некогда тратить попусту время, — попыталась было возразить Эстер.

— И мне тоже. Ты помнишь человека, который был здесь пару дней назад, его зовут Бернар? На вид лет пятьдесят, когда-то он был рыцарем, — спросил он.

— Да, конечно, француз, человек с чистым сердцем, он был здесь всего однажды; потом, правда, приходил еще один француз примерно того же возраста, тот заходил почаще, но тоже уже давно не показывался.

— Бернар передал для тебя этот дукат. Но прежде чем отдать его, я хочу от тебя кое-что услышать. Для тебя это сущие пустяки, а для меня очень важно. Не было ли среди твоих клиентов Чекко да Ландзано или Терино да Пистойи, у него еще шрам на щеке, и не знаешь ли ты, где может быть теперь этот Терино?

Эстер не стала церемониться. Как известно, время — деньги, поэтому она сразу рассказала Джованни, что оба были ее клиентами, но Чекко недавно погиб ужасной смертью. Кто-то сжег его прямо во

дворе гостиницы. Что же касается Терино, то был у нее неделю назад, но очень торопился и даже утверждал, что некие люди, которые должны ему немалую сумму, намереваются его убить и поэтому он срочно бежит из города. У него даже не было денег, чтобы заплатить ей за услуги, и он умолял принять его бесплатно, но она наотрез отказалась. Потом он уехал, и больше она его не видела. Вот и все, что ей было известно.

— Как ты думаешь, куда он мог поехать?

— Не знаю, скорее всего, во Флоренцию, у него там, кажется, была подружка, а может, домой, в Пистойю. Больше мне ничего не известно, так что давай сюда дукат.

На следующий день в центре города Джованни снова встретил купца Меуччо да Поджибонси, который рассказал, что рано утром его караван отправляется во Флоренцию. Тогда он поскорее направился к дому Бруно, собрал свой узел, попрощался с друзьями и с первыми петухами был уже на месте встречи. Караван вышел из города в южном направлении, а потом потянулся в сторону гор. За длинной цепочкой повозок и рыцарей внимательно следили две женщины, сидевшие на пороге заброшенной сельской лачуги. Снизу им казалось, что караван почти не двигался.

— И что теперь? — зевая, спросила Чечилия.

Они приехали вчера вечером, но до сих пор не смогли войти в город. Они обошли уже все ворота, но никто из охранников не рискнул нарушить приказ: прокаженным вход в город был строго запрещен. Тогда они решили переодеться, но пока искали подходящее место, прозвонили вечерню, и все ворота закрылись. Поэтому теперь им предстояло провести ночь в этой лачуге на обрыве скалы, где обычно останавливались пастухи.

— А теперь маскарад номер два, — скомандовала Джентукка.

Охранники у ворот Святого Исаии покачали головой и долго причитали, что это совсем никуда не годится, чем дальше, тем хуже, и что вместе со старыми добрыми временами ушли и все семейные ценности. Во времена их молодости подобные вещи были совершенно немыслимы! Молодые женщины, обе замужние, с закрытыми лицами, возвращаются в город на рассвете после того, как провели ночь

неизвестно где! И при этом одни-одинешеньки, да еще в убогой повозке, которую тащит жалкая кляча. Вот это да! А все эти понаехавшие студенты. Это они занесли в город эту заразу! Пора бы их всех отправить домой, а еще лучше — вздернуть на виселице...

О времена! О нравы!

VII

В городе Фано они расстались. Византийцы отправились вглубь страны, а Бернар и Даниель — в сторону Адриатики, в Анкону. Там они сели на корабль, плывущий на юг. По правде сказать, почти всю дорогу Даниель молчал, а вот Бернар постоянно разглагольствовал о старых временах, вспоминая, как они жили в Святой земле. Казалось, что его молчаливый товарищ хотел бы навсегда вычеркнуть из своей жизни все воспоминания о прошлом, привязать их к ржавому якорю и похоронить на дне моря. В день битвы Даниель спасся чудом: он очень испугался и уже готов было повернуть назад, когда вдруг конь под ним начал падать и потянул его за собой. Они рухнули на землю в нескольких шагах от наступающих врагов. Когда крестоносцы отступили, чтобы подготовиться к новой атаке, Даниель заметил, что к нему приближаются турки. Гонимый безумным страхом, он, как был в рыцарском снаряжении, бросился в ров, что проходил вдоль внутренних стен города. Он едва не утонул, однако под водой ему все же удалось освободиться от тяжелой брони и шлема. С тех пор ему часто снился один и тот же кошмарный сон: он тонет и задыхается, а тяжеленные доспехи тянут его ко дну. Ему удалось доплыть до ворот Святого Антония и забраться на мост как раз в тот момент, когда его поднимали, чтобы закрыть ворота. Он сразу побежал в порт и сел на корабль. В Европе ему поначалу пришлось нелегко; к счастью, он сразу понял, что нужно как можно скорее забыть обо всем, что связано с Акрой. Даниель вышел из ордена еще до того, как его разогнали, хотя и поддерживал связь со старыми товарищами. Потом он женился и отправился в Тоскану с караваном бургундских купцов. С купцами он познакомился еще в те времена, когда ездил по всей Италии как торговый агент довольно известной флорентийской компании. О прошлом он не вспоминал: он был уверен, что разделался с ним и давно похоронил где-то в недрах собственной памяти. Если оно и возвращалось, то только в кошмарах. Глядя на Даниеля, было очевидно, что все разговоры о прошлом причиняют ему только боль. «Кто знает, о чем мечтал он в те далекие времена, что за иллюзии

питал», — подумал Бернар. Все, кто был связан со Святой землей, были похожи в одном: они прожили две совершенно разные жизни.

Но Бернару очень хотелось поговорить, ведь он-то помнил Даниеля из той, прошлой жизни. Дан был одним из самых заметных юношей Акры, сильный, красивый, решительный, добрый, казалось, он рожден, чтобы повелевать остальными. Сам Гийом де Боже отметил его, Даниель был единственным из молодых рыцарей, кому Великий магистр так откровенно выказывал дружеское расположение. «Такой сам пробьет себе дорогу», — говаривал он. За Даниеля он бы душу продал: де Боже нравилось думать, что этот юноша может стать однажды Великим магистром. Когда Бернар увидел, что турки приближаются к тому месту, где упал конь Даниеля, он позавидовал ему — ведь это означало, что Даниель станет мучеником за веру Христову и попадет в рай. И вот старый Дан стоит перед ним, воскресший из небытия, и Бернар почувствовал, как все его угасшие надежды постепенно оживали. Его переполняло любопытство, и он терзал бедного Даниеля вопросами, но тот всем своим видом давал понять, что не хочет на них отвечать. По глазам старого товарища он прекрасно понял, что в Бернаре разгораются былые надежды, и ему было неприятно от мысли, что он вынужден будет его разочаровать. «Жизнь складывается совсем не так, как нам бы того хотелось, — думал он, — она совсем другая, Бернар». Сказать по правде, он был совсем не рад этой встрече. Конечно, он сразу узнал друга, но все-таки в глубине души надеялся, что это не он. Эта встреча у церкви Святого Стефана напомнила ему встречу должника со старым кредитором, однако в данном случае речь шла не о деньгах, а о долге куда более серьезном: он задолжал Бернару безграничное доверие, с которым тот к нему относился, задолжал преданные надежды, задолжал того себя, которым так никогда и не стал. «Я всего лишь торговый агент, жизнь моя скучна и однообразна, у меня нет проблем с деньгами, хоть это слава богу, а еще у меня жена и трое детей, на которых у меня нет ни минуты времени; я не герой, не мученик, я такой же, как все; моя жизнь сводится к тому, чтобы заработать на пропитание, моим детям нужно что-то есть, они не могут расти на рассказах и сказках, как когда-то мы с тобой, им нужны деньги, чтобы построить свое будущее, — в конце концов, так оно и должно быть» — вот о чем он думал, пока Бернар смаковал истории из старых времен. Море под

свинцовым небом на востоке казалось совсем мрачным, на западе виднелась Майелла. Очертания мыса напоминали заснувшего навеки дракона, который повернулся хвостом к морю и положил голову между лапами.

— Ты когда-нибудь слышал о новом Храме и девятисложных стихах? — спросил вдруг Бернар. — Может быть, тебе что-то известно о ковчеге Завета? Знаешь ли ты о послании, которое оставили рыцари Храма, о великой тайне, которую они охраняют, несмотря на то что орден потерпел поражение?

«Да уж, — подумал Даниель. — Я знаю о тайне несметных сокровищ, которые скопил наш орден, пока мы погибали в Палестине и в Ливане, о миллиардах золотых монет, залогом за которые выступали наши собственные тела. Я знаю о тех пожертвованиях, которые приносили ордену рыцари, перед тем как погибнуть, о тех землях, о тех замках и поместьях, которые достались потом ненасытному королю Филиппу, прежде чем их успел присвоить папа, надеясь передать все ордену госпитальеров. Я знаю великую тайну флоринов и дукатов, золота и серебра, секретное послание многоводной денежной реки, которая течет, подогревая алчность королей и папы».

Однако вместо ответа он лишь пожал плечами. Они смотрели на море, на юг. Где-то там простиралась Греция, а чуть левее и дальше все еще пульсировало кровоточащее сердце европейской истории.

В Сан-Фредиано Джованни разыскал Кекку: она жила в бедном районе в полуразвалившейся лачуге. Стены дома были недавно отстроены заново, но крыша осталась старой, в нескольких местах начинала проваливаться. Джованни удивился, что в одном из самых богатых городов Италии люди живут так бедно: в каждой комнате размещалось по несколько семей. Он поморщился от мысли, что на фоне этой нищеты возвышались великолепные дворцы влиятельнейших во всей Европе банкиров. Сама эта мысль оскорбляла его разум и чувства. Когда он проходил по старому мосту через Арно, он увидел у подножия холмов Сан-Джорджио и Сан-Миньято великолепные башни замка Барди. Эта семья ссужала деньгами всех европейских королей и даже управляла финансами самого папы, но уже справа от дворца, за водяными мельницами и мостом Святой

Троицы, были видны прилепившиеся друг к другу старые домишки, готовые вот-вот развалиться. С одной стороны жили люди, которым не хватило бы и тысячи жизней, чтобы вдоволь насладиться своим богатством, по другую сторону находились тысячи людей, которые не знали, как дожить до завтрашнего дня и не умереть с голоду.

В ближайшей церкви Джованни взял себе проводника и отправился с ним в трущобный квартал, чтобы разыскать девушку. Они шагнули в лабиринт узких темных улиц, что вели к новым стенам города, и пошли мимо заброшенных развалин, полных грязи и нечистот, эти руины без всякого стеснения использовались местными как отхожие места, так что тошнотворный смрад можно было почувствовать уже за несколько метров. Джованни увидел дряхлую старуху, которая испражнялась посреди улицы у всех на виду, маленьких детей, справлявших нужду прямо за углом, облепленный мухами и забросанный каким-то тряпьем разложившийся труп, валявшийся в сточной канаве. Они подошли к новым стенам. Здесь им открылась маленькая площадь: в самом ее центре рылись в грязи куры и свиньи, по краям же торчали маленькие домишки, сложенные из камня на известковом растворе. Многие дома были подперты бревнами, абы как приставленными к покосившимся стенам. Деревянные крыши были покрыты соломой, и совершенно ясно, что во время дождя в этих домах было ничуть не лучше, чем на улице.

Кекка не была дурнушкой, но Джованни она не понравилась. Худая как жердь и плоская как доска, она была одета в мужскую одежду. Смуглая кожа, волосы темные, нос немного крючком. Возможно, ее лицо можно было бы назвать приятным, если бы не вечное выражение недовольства, застывшее на нем, словно маска. Лицо это ничего не выражало, оно, словно чистый лист бумаги, было лишено малейших проявлений чувств и эмоций. Единственное, что можно было в нем уловить, — это глухая и безразличная злоба ко всему живому. Она была из тех девушек, которые уже утратили женский облик: не женщины и не мужчины, они, казалось, превратились в соляной столб, окаменели от непосильного труда и ежедневной боли; слишком уж рано им выпало соприкоснуться с горькой действительностью. Приходской служка проводил Джованни в темную грязную комнату, где Кекка помогала отцу и другим членам семьи чесать шерсть. Незванный гость пришелся не по душе отцу

Кекки, и он разразился потоком ругательств, однако из уважения к духовному лицу объявил небольшой перерыв. Джованни уверил девушку, что задаст ей всего пару вопросов, но та бросила на него злобный взгляд и сказала, что не желает разговаривать о Терино. Затем она отвернулась и снова принялась чесать шерсть.

— Я недавно видел его в Болонье, — соврал Джованни, чтобы Кекка вновь обернулась к нему. — А потом он пропал, и мне сказали, что, возможно, он здесь...

— Мы уже три года не виделись, так что я знать не знаю, где он, — сухо отрезала она. — У нас с ним давно все кончено, так что не думаю, что у него есть причины для возвращения в этот город. А если бы он даже и приехал, то вряд ли бы показался у нас.

Потом она снова отвернулась, посмотрела на отца, и после того, как он кивнул, продолжила работать.

Разочарованный, Джованни вернулся к старому мосту. «Все было напрасно», — подумал он. Ему хотелось ненадолго остаться здесь, во Флоренции, чтобы хотя бы немного присмотреться к городу, откуда его изгнали. Им овладело странное чувство тоски, и хотелось узнать побольше об источнике этого ощущения.

У ворот Сан-Фриано он повернул к мосту Святой Троицы и мимо ремесленных мастерских направился в сторону центра, что расположился на другой стороне реки. Вскоре он вышел на площадь, где возвышалась большая церковь. На площади стоял небольшой кортеж: двое конных и дюжина вооруженных пехотинцев, которые, по всей видимости, их охраняли. Глядя на роскошные одежды всадников и богатую упряжь коней, Джованни понял, что перед ним очень важные персоны — скорее всего, политики или банкиры, а может быть, и то и другое. Одного из них он узнал, и сердце его тревожно забилося. То был Бонтура Дати, он считался самым важным среди черных гвельфов Лукки, однако не так давно его изгнали из города. Покуда Бонтура входил в совет старейшин, он издавал несправедливые законы, распоряжался несметными богатствами, подкупал начальников стражи и гонфалоньеров, ^[51] получал самые выгодные подряды.

Отчим Джованни и его сводный брат Филиппо состояли с ним в дружбе, и именно благодаря Бонтуре Филиппо добился того, что в Лукке вышел указ об изгнании из города бывших флорентийцев. Так вот куда его забросила судьба: теперь Бонтура оказался среди своих,

среди черных гвельфов Флоренции. Джованни невольно опустил глаза, ему захотелось спрятаться. Нельзя было допустить, чтобы его узнали.

Но тут какой-то калека, что сидел ближе к краю площади на сырой земле и собирал милостыню, заиграл на лютне и затянул только что придуманную песню в честь проезжающих всадников:

Чтоб отчеканить ваши имена
На веки вечные в стихах поэта,
Подайте, дорогие господа,
Ему, как брату, хоть одну монету.

Всадники прошли мимо, не бросив ему ни гроша, один из них рассмеялся и принялся поддразнивать второго: «Погляди-ка на своего брата, а вы ведь и вправду похожи как две капли воды! Ваши физиономии на удивление уродливы!»

Тогда обиженный калека запел снова:

Поэту господин не подал ни гроша,
Но деньгами ссудил большие города,
За что поэт возьмет себе в раю
Синьору Беатриче Моне, жену твою.

Мессер Моне тотчас же прекратил смеяться и остановился, а вместе с ним Бонтура и все остальные. Он нагнулся и прошептал что-то одному из пехотинцев, после чего двое охранников подошли к поэту и принялись изо всех сил лупить его руками и ногами, пока бедняга не потерял сознание. Оставив несчастного менестреля валяться посреди площади, они вновь присоединились к кортежу. Тогда Джованни поспешил к несчастному певцу, чтобы помочь ему. Он поймал на себе взгляд мессера Моне, который прошептал что-то мессеру Бонтуре. Бонтура приподнялся в седле, чтобы рассмотреть получше человека, который подошел к зарвавшемуся певцу, и Джованни с ужасом понял, что черный гвельф сразу узнал его. Двое господ и их свита удалились, при этом синьоры продолжали о чем-то разговаривать.

Джованни приподнял голову певца, поддерживая его сзади.

— Как вы себя чувствуете? — спросил он, когда тот очнулся.

— Как нельзя лучше, — ответил менестрель, выплевывая окровавленный зуб.

— Я бы так не сказал...

— Для поэта, даже такого скромного, как я, дороже всего на свете отклик слушателя на его искусство. Не важно, деньгами он его получает или пинками. Если тебе бросают деньги, считай, что твои стихи пришлись по душе; если же угощают побоями, значит твоя песня попала не в бровь, а в глаз. Это две стороны одной медали. Поверьте мне, что для поэта самое страшное — это не побои, а равнодушие к его песне. — Он сплюнул кровью и продолжал: — А поскольку из черных гвельфов не вытянуть ни гроша, пока полностью не вылижешь им задницу, побои от этих господ считаются во Флоренции наивысшим успехом для менестреля. Ведь самые лучшие флорентийские поэты были белыми гвельфами или гибеллинами, так что теперь все они изгнаны из города, ни одного не осталось. Вы сами из Флоренции?

— Нет, я первый день в этом славном городе, — ответил Джованни. — И для начала это уже неплохо...

— Флоренция — город банкиров, коммерсантов, ремесленников и оборванцев. Недаром папа Бонифаций называл флорентийца пятым элементом всего сущего, вслед за четырьмя элементами Эмпедокла. Воздух, вода, земля, огонь и золотой флорин — вот основание нашего мира. В этом городе есть две вещи, которые никогда не переведутся: деньги, которые чеканят на монетном дворе, и очереди в столовые для бедняков.

— Чем же вы насолили этому господину, что он приказал вас так жестоко избить?

— Этот господин — мессер Моне, один из самых богатых банкиров Флоренции, он дает деньги в долг королям Англии, Франции и некоторым итальянским городам. Его семья обладает безграничной властью и обширными землями в придачу. Он был женат на самой прекрасной женщине Флоренции, которая, если верить слухам, его не особенно любила. Но он в этом и не нуждался, поскольку его власть и высокомерие слишком уж велики: он так любит самого себя, что никакая другая любовь ему не нужна. Поговаривают, что мона Биче, его жена, была равнодушна к одному поэту, который ухаживал за

нею много лет, некоему Алигьери, чей отец занимался ростовщичеством.

— То есть этот человек — муж Беатриче?

— Он был им, пока она не умерла. Бедняжка растаяла на глазах. Так вы знаете *Комедию*? Мессер Моне метал громы и молнии, когда до его ушей доходили пересуды о поэте, влюбленном в его жену. Он привык к тому, что все ползают на коленях у его ног, и вдруг кто-то посягает на его женщину, на его собственность, словно жена — это лошадь или дом. А ведь он очень ревнив, когда дело доходит до имущества. Если бы отношения Данте и моны Биче носили более плотский характер, он имел бы полное право убить поэта и свою жену, как поступил Джанчотто с Паоло и Франческа, и тем самым утешить свое ущемленное самолюбие. Но в данном случае между ними ничего не было, а убивать человека только за то, что он повсюду восхваляет красоту твоей жены, было бы странно. Вскоре у мессера Моне родилась дочь, которую называли Франческа, однако его жена так и не оправилась от родов и вскоре умерла. Мессер Моне затаил обиду на Данте, и хотя сам он этого не признавал, однако именно он оказался одним из тех, кто немало поспособствовал принятию решения о том, чтобы поэта изгнали из города. Он всегда предпочитал действовать исподтишка, так как выходить на политическую сцену в открытую слишком опасно. Однако даже из-за кулис он может оказывать влияние на политику города, подкупая всех, кого пожелает. Среди черных гвельфов он самый черный из всех. Но в последнее время *Комедия*, которую написал Данте в изгнании, дошла и до нас. Сейчас во Флоренции известны только первая и вторая части этого сочинения. Не многим довелось ее прочесть, но прокатились слухи, что в тринадцатой песне *Чистилища* Данте намекает на то, что находится в таинственном союзе с пребывающей в раю Беатриче. Из-за этого мессер Моне так и пыжится от злости. Едва лишь кто-то заикнется при нем на эту тему, как он приходит в бешенство, и тогда посвящение в поэты тебе гарантировано. Он думал, что любовь женщины можно купить, что она твоя, словно та шпага, что тихо лежит в ножнах, пока ты ее не вытащишь, и тогда она вдруг оживает. Но есть вещи в мире, которых не купишь: любовь, жизнь, добрый друг, дар поэта, Святой Дух...

«Вот и во Флоренции, — подумал Джованни, — появились кандидаты на роль убийц, а ведь их и в других городах предостаточно. Однако теперь подключается ревность, любовное соперничество, зависть... Что же из этого настоящий мотив? Любовь к почившей жене? Для убийства слабовато, но в том, что касается исчезновения поэмы, вполне подойдет». Джованни помог менестрелю подняться и подал ему палку.

— Этот почтенный господин может быть спокоен: я прочел поэму, включая двадцать песен *Рая*, и там нет ни слова о земной любви. За несколько лет Данте и Беатриче смогли обменяться не больше чем парой слов, вся их любовь сводится лишь к нескольким взглядам. Оказавшись в раю, поэт смотрит на Беатриче, и она, наполняясь его любовью, становится все прекраснее, а он, постепенно привыкая к созерцанию ее красоты, поднимается с одного неба на другое. Чем выше они поднимаются, тем красивее становится Беатриче, наконец поэт уже не может выносить ее неземное сияние, красота его возлюбленной стремится к бесконечности.

— Но ведь и такая любовь встречается далеко не каждый день, — засмеялся менестрель. — Хотя кто знает, очень может быть, что я говорю это оттого, что на мою физиономию ни одна женщина ни разу не взглянула без страха...

— Думаю, что это не больше чем метафора, — ответил Джованни. — Данте изображает рай как царство вечной любви, где человек наполняется этим чувством до такой степени, что, оказавшись во власти неведомой великой силы, возносится на небеса и состояние чудесного опьянения красотой не покидает его ни на минуту.

Они медленно брели к реке. Бродячий поэт хотел отплатить Джованни за заботу, и вызвался быть его проводником. Сначала они направились за мост, к замку Альтафронте,^[52] затем миновали Сан-Пьетро Скераджо^[53] и оказались на площади. В самом ее центре красовался новый дворец приоров. Центр города действительно производил сильное впечатление: все улицы были вымощены камнем, всюду возвышались великолепные церкви, башни, дома, прекрасные арки казались плетеными кружевами. Путники прошли мимо старого дома Данте, что в Сан-Мартиро, сразу перед Каштановой башней. Потом они осмотрели церкви Святого Иоанна и Святой Репараты — ее как раз собирались расширить и уже устанавливали леса. Здесь они

расстались. Поэт отправился по направлению к Орто-деи-Серви, а Джованни решил взглянуть на церковь Санта-Мария Новелла, а затем вернуться в гостиницу, что была у церкви Всех Святых.

Он понимал, что Флоренция — родной город Данте, тот самый, который породил великого поэта, а затем изгнал его. В этом городе находился монетный двор всей Европы, на нем держался весь мир. Джованни требовалось время, чтобы все обдумать, взвесить все факты и попробовать решить многочисленные загадки, которые не давали ему покоя, найти какое-то объяснение всему, что с ним произошло. Сначала это путешествие, в котором, как оказалось, не было ни малейшего смысла, затем эта нежданная встреча с Бонтурой... И много что еще: муж Беатриче, дом Данте, та самая церковь, у которой поэт с замиранием сердца ловил взгляды своей возлюбленной, хотя прекрасно знал, что она обещана другому. Будь то не Данте, а кто-то другой, он бы не стал так долго мучиться — забыл бы ее, и все. Или решил бы, что в жизни у мужчины есть масса возможностей, и все они более или менее равны, так что осуществление любой из них — всего лишь прихоть судьбы, изменить которую мы не в силах. И если одна из таких возможностей ускользнула, нужно отдаться в руки заботливого времени, которое сотрет из памяти несбывшуюся мечту и вместо одной преподнесет тебе сотни других. Ведь что такое любовь к женщине — не больше чем зов плоти, так что забыть ее — дело нетрудное.

Но его отец думал иначе. Тем, кто верил в то, что миром правит случай, он приготовил местечко в аду. Данте верил, что любовь и есть та сила, что движет Вселенной и всем, что в ней существует, что именно она приводит в движение звезды и планеты. Вся человеческая история пронизана любовью, и это не случайно. Думая так, Джованни вдруг вспомнил о Джентукке. Кто знает, не забыла ли она его... Он вдруг вспомнил, как потерялся в лесу по дороге в Равенну, и ему показалось, что он до сих пор блуждает по диким зарослям.

Тем временем взору Бернара и Даниеля открылся прекрасный вид на холмы Греции. Им представилось, что Керкира кокетливо прихорашивается перед тем, как показаться Посейдону, который заснул у ее ног. Копну ее зеленых волос расчесывал легкий бриз: красавица хотела предстать в последних лучах летнего солнца во всем

великолепии. Солнце было повсюду: оно отражалось в море, и от каждого отражения разлетались яркие радостные искры.

Бернар вышел на палубу, сердце его было полно тревоги. Совсем скоро он получит ответы на вопросы, которые накопились за долгие годы. Он был уверен в том, что Даниель знает о Храме и о загадочных стихах гораздо больше, чем хочет показать. Ведь когда-то Дан был так близок к магистрам ордена, он просто не мог не знать о тайне; и все же Бернару никак не удавалось склонить его к разговору на эту тему, скорее, даже наоборот: едва заслышав о Храме, Даниель еще больше замыкался в себе. Такое молчание являлось неопровержимым доказательством того, что Дан что-то знает, и Бернар все больше убеждался в том, что его товарищ является хранителем секрета ордена и не должен открывать его никому, даже под страхом смерти. Подозрения крепили день ото дня: заводя разговор о тайне тамплиеров, несколько раз Бернар уже и сам был близок к тому, чтобы раскрыть свои карты, но в последний миг какая-то неведомая сила удерживала его от подобных откровений. Тогда он перешел на разговоры о Данте, желая посмотреть, как отреагирует Даниель; однако бывший рыцарь прерывал подобные разговоры, замыкался в многозначительном молчании или заводил речь о другом.

И вот сегодня, когда Бернар в очередной раз предпринял попытку разговорить Даниеля, ему вдруг показалось, что он увидел во взгляде собеседника какой-то проблеск, какое-то тайное переживание: не было ли это страхом невзначай выдать чужую тайну? «Как же намекнуть ему о том, что я и так все знаю, что он может довериться мне как старому другу?» — подумал Бернар. И тогда он решился и прочел первые строки послания, которые ему удалось расшифровать:

Ты прячешься в одном, обняв двумя,
Которых ты несешь, и их крылами.
Ты отдыхал на Кипре или в Тире;
Теперь — в пещерах диких, потайных.

Даниель и бровью не повел. Тогда Бернар прочел первую строку еще раз, но теперь на французском, и ему показалось что на этот раз он уловил на лице старого друга нечто напоминающее удивление и

любопытство. «В самую точку», — подумал он. Теперь он не сомневался, что рано или поздно Даниель сдастся и расскажет ему обо всем; кто знает, возможно, он даже раскроет Бернару последние строки послания... Говоря по правде, он сильно подозревал, что Даниель тоже направляется в новый Храм, но тем не менее решил не посвящать его в истинную цель своего путешествия, ограничившись тем, что, когда Даниель обмолвился о Греции и о Керкире, ответил, что по чистой случайности он тоже направляется именно туда. И вот теперь, когда они уже добрались до места и на горизонте показались холмы острова Корфу, Дан вдруг стал раскрываться, перестал избегать разговоров о прошлом и об Акре и даже сам заговорил о том, что слышал когда-то в дни своей юности.

— Дело в том, — начал он, — что тайна тамплиеров заключалась не только в ковчеге Завета, но и в том, что им было известно то место, где находятся могилы Христа и его супруги, Марии Магдалины. И я вполне допускаю, что именно об этом говорят строки, которые ты только что прочел. Святые могилы и есть те самые «двое», которых несет в себе ковчег. Свидетельство о существовании могил связано с мифом о том, что у Иисуса Христа были дети, которых называют потомками царской крови, и якобы через них племя Давида обрело бессмертие. Все это означает, что где-то существует Царь Мира, потомок самого Христа, однако кто он — сие есть великая тайна. Его местонахождение было ведомо лишь Великому магистру и Великому командору, но кто хранит этот секрет сегодня и существует ли он, или тайна погибла вместе с предводителями ордена в пыточных застенках Филиппа Красивого — не знает никто. Очень может быть, что секрет рода Христа навеки утерян. Этого-то и надо земным владыкам, ибо, если правда раскроется и люди ее узнают, их правление окажется незаконным. А что до ковчега — в Писании сказано, что он будет найден в конце времен, когда три основные религии сольются в одну. И тогда потомок Давида и Христа явится страждущему человечеству и будет рукоположен на свой престол. Все это должно случиться в Иерусалиме. Даже если все хранители тайны погибнут, пророчество все равно должно исполниться. Текст пророчества хранится в великой книге, а что за книга — о том никому не известно, знаю лишь, что это последняя из священных книг и в ней соединились земля и небо. В великой книге зашифрованы священные стихи и тайная карта,

секретный код, на котором написано послание, настолько сложный, что на его разгадку потребуются столетия. Но потомки Давида знают о своем происхождении, они передают легенду о своем роде из поколения в поколение. Вот какую историю я слышал в Святой земле в былые годы, а правда то или нет, никому не известно. Мне кажется, что это всего лишь красивая легенда из тех, что придумывают, чтобы придать истории человечества немного смысла, вот почему я решил рассказать тебе об этом. Что здесь правда, а что вымысел, я и сам не знаю.

Бернар так сильно обрадовался, что у него с языка уже были готовы сорваться слова о том, что ему прекрасно известна эта священная книга. Выходит, теперь о ней знали только он, Джованни и Бруно. Это стало их собственной тайной, и, думая об этом, он каким-то чудом сдержался и промолчал. Корабль меж тем входил в спокойные воды залива и готовился пристать к берегу Керкиры. Слева возвышались не слишком крутые, густо поросшие лесом дикие холмы, повсюду виднелись коварные скалистые бухты, усеянные маленькими островками — прямо настоящий рай для пиратов; справа протянулся длинный холмистый берег Корфу. Корабль лавировал между скалами, торчащими из моря в великом множестве, и двигался слишком медленно. В какой-то момент Бернару показалось, что это мучительное ожидание никогда не закончится.

Островом управлял герцог Таранто. Сам герцог находился под покровительством Анжуйской династии, постоянно на Корфу пребывал лишь его наместник. Очень скоро представители охранного гарнизона поднялись на корабль, чтобы проверить документы и получить таможенную пошлину. Вместе с солдатами на борту был секретарь флорентийской компании, на которую работал Даниель, и тут же указал на него охране. У Дана было какое-то специальное разрешение, он показал его командиру гарнизона и добавил, что Бернар путешествует с ним. Тем временем Бернар уже разговорился с одним из охранников, который был родом из Южной Италии.

Едва оказавшись на берегу, друзья сразу направились в гостиницу, что была неподалеку от порта. Но довольно скоро Бернар тихонько покинул свою комнату и, осторожно озираясь по сторонам, вернулся обратно в порт, где на маленьком молу разговорился с местными рыбаками. Он спрашивал, за сколько они согласны отвезти его на

материк. Те немногие, что соглашались, называли немаленькую сумму. «Все зависит от погоды, кроме того, в здешних местах всегда есть риск, что могут напасть пираты. На материк лучше отплывать с южной части острова», — говорили они.

Бернар договорился, что вернется на следующий день, чтобы уплатить задаток и назвать точную дату и место отъезда. Он торопился: уже была ранняя осень, скоро погода совсем испортится, а там и до зимы недалеко.

VIII

Джованни проснулся, потому что в дверь барабанили со страшной силой. Он никак не мог окончательно прийти в себя и не сразу понял, где он и в какой части комнаты стоит кровать, на которой он лежит. Из-под двери пробивалась широкая полоска света, еще одна, поуже, струилась из щели между оконными ставнями.

— Открывайте!

— Подождите, дайте сначала одеться.

Он встал, быстро надел штаны и рубашку, распахнул ставни, а затем наконец открыл дверь.

— Джованни Алигьери?

— Джованни да Лукка, — ответил он. — Я больше не Алигьери.

— Следуйте за нами. Наш господин желает говорить с вами.

На юношах была обычная городская одежда, однако Джованни показалось, что он видел их вчера среди солдат свиты мессера Моне и господина Бонтуры. Оба были высокие и сильные, на лицах застыло выражение тупой агрессии, отнюдь не располагающее к разговору. «Лучше уж поговорить с их господином», — подумал Джованни. Он быстро собрался и через несколько минут уже шагал по улице. Стражники пристроились с обеих сторон и не отставали ни на шаг, поэтому он чувствовал себя, словно вор, которого ведут в камеру.

— Красивый город, — попробовал он было завести разговор.

— Ага, — ответил один.

— Я из Лукки... Вам не приходилось там бывать?

— Нет, — ответили они хором.

— А вы из Флоренции?

— Нет.

Было ясно, что продолжать диалог бессмысленно, поэтому Джованни замолчал. Они быстро прошли по старому мосту, на котором были понатыканы деревянные домишки, и молча повернули в сторону центра. Вскоре они подошли к богатому дому, похожему на небольшой замок: две башни у главного входа, тяжелая дверь, большое витражное окно придавали ему внушительный вид. Когда они оказались в просторном атриуме, Джованни стало ясно, что в этом

здании находились только залы для приемов и помещение для охраны, а сами хозяева жили где-то дальше, скорее всего, за тем парком, что виднелся из окна. Широкая лестница вела на второй этаж, его проводили наверх. Он вошел в зал и сразу узнал витражное окно, которое видел снаружи. Из него открывался хороший вид на город: река Арно и древние городские стены вдоль русла, из-за которых выглядывали верхушки башен и колоколен. Обстановка комнаты была простой и строгой. Великолепные фрески на стенах изображали сюжеты евангельских притч: блудный сын, добрый самаритянин, а самая большая, которая сразу бросалась в глаза, живописала притчу о талантах.^[54] Мессер Моне восседал на деревянном троне, украшенном золотом и драгоценными камнями, фреска была прямо у него за спиной. Он сделал Джованни знак приблизиться. Перед ним на роскошном пюпитре лежала огромная бухгалтерская книга, а рядом с нею листок, испещренный арабскими цифрами, и счетная доска на десять колонок.

— Итак, — с отсутствующим видом произнес мессер Моне, — господин Бонтура поведал мне, что вы — родной сын поэта Алигьери.

— Дело в том, что это не совсем так, — ответил Джованни. — По правде говоря, я и сам не знаю, кто мой отец, а мать мою звали Виола.

— А, это та самая, «чье тридцать тайное число»!^[55] Как видите, мы с господином Бонтурой в курсе дела. Но должен вам признаться, что мессер Дати несколько недоволен тем, что вы совершенно свободно разгуливаете по нашему городу, откуда, если мне не изменяет память, вас изгнали специальным указом.

— На самом деле нотариальный акт, из которого следует, что я — сын Данте Алигьери, был отменен и утратил силу, а потом...

— И что же потом?

— Потом Данте умер...

Мессер Моне удивленно приподнял брови и посмотрел на Джованни так, словно мысли его были очень далеко. Неожиданно он спросил:

— Какими судьбами во Флоренции, молодой человек?

Джованни посмотрел ему в глаза и вдруг почувствовал в этом взгляде такой холод, словно нырнул в ледяное озеро. Он на ходу придумал какую-то отговорку:

— Один купец из Болоньи отправил меня во Флоренцию, прямо в пасть волку, вернее сказать, волчице...

В ответ на это мессер Моне бросил на него презрительный взгляд.

— Обеспокоенный исходом своих коммерческих операций, он отправил меня разузнать, куда ему лучше вложить свои деньги, ведь торговый климат в Европе портится, поговаривают даже о том, что близится период застоя. Ему бы хотелось получить сведения о том, что происходит во Флоренции, поскольку он уверен, что это то самое место, откуда дует ветер, и то, что происходит в вашем городе, скоро отзовется по всей Италии. Не могли бы вы, любезный господин Моне, что-нибудь ему посоветовать?

Мессер Моне жалостливо посмотрел на него:

— В Болонье имеется мое представительство, вы вполне могли бы обратиться туда и получить хороший совет. И как же вы справились? Что вам удалось разузнать? Какие наблюдения вы сделали за время пребывания в нашем городе?

— Сказать по правде, — ответил Джованни, — одного дня недостаточно, чтобы оценить обстановку. Но даже за столь короткое время я смог ощутить несколько отрицательных моментов. Прежде всего меня поразило огромное неравенство, которое бросается в глаза гораздо сильнее, чем в Лукке времен моего детства. Создается такое впечатление, что богатые люди стали еще богаче, а бедные — беднее. Я вижу в этом недобрый знак. Видите ли... По образованию я врач и философ, поэтому общество я рассматриваю как единый организм, в котором деньги выполняют функцию крови, а кровь, как известно, должна подпитывать тело... Если циркуляция нарушается и кровь скапливается в одном месте, а в другое не поступает, то врачу очевидно, что это дурной знак, ведь таким образом возникает сильная опасность образования гангрены, что вскоре скажется на всем организме. Еще я подметил, что влиятельнейший человек, владеющий несметными богатствами, может вдруг остановиться посреди площади и отдать приказ избить несчастного скомороха. А если такой властительный господин, обласканный судьбой, гневается на простого бродячего менестреля, — это тоже весьма дурной знак. Это говорит о том, что такой человек, прежде всего, не уважает самого себя, не ценит того, что Господь дал ему в этой жизни, и лишь затем указывает на его пренебрежительное отношение к певцу. История подсказывает нам,

что надменность сильных мира сего никогда не доводила до добра. Я жду от влиятельных господ смелых решений, а не глупой спеси, поэтому я бы не стал вступать с подобными людьми в торговые отношения, даже если бы речь шла об одном флорине. Наверное, я посоветую своему знакомому вложить деньги в земельные угодья.

— Не судите сгоряча, — произнес господин Моне. — Сатира тоже должна иметь свои пределы: отпускать шутки в отношении умерших мне кажется совершенно непозволительным, тем более когда дело касается моей покойной жены. Увы, она давно покинула меня! Спросите кого угодно, что это была за женщина! Настоящая святая!

— Но избить бедного поэта — это еще хуже, — возразил Джованни. — Ведь святое предназначение сатиры, о чем говорили еще древние мудрецы, — напоминать нам о том, что мы всего лишь люди, и притуплять тем самым зависть богов. Сатира помогает человеку увидеть свои недостатки со стороны и не расслабляться, тем самым она привязывает нас к земле, которая есть источник нашей жизни. И мне кажется, что куда лучше отнестись с пониманием к поэту, который немного перешел черту, чем пытаться запугать его и заставить замолчать навсегда.

— Так пусть нападает на меня, а не на мою жену, святейшую из женщин! — вскричал господин Моне. — Так делал тот, кто назвался вашим отцом.

— Данте Алигьери.

— Да, Алигьери.

— Говорят, что вы не питали к нему симпатии.

— Не будем ворошить прошлое...

Господин Моне принялся рассматривать свои ногти, на лице его промелькнуло грустное выражение, и через несколько мгновений он стал совсем мрачен. Он обратил взгляд к окну, откуда виднелся весь город, и немного повеселел.

— Это старая история, — повторил он, — и время расставило все на свои места. Мир и покой его душе, — кто знает, быть может, он теперь в раю, о котором он столько написал... Однако говорят, что он не успел закончить свою поэму. Какая жалость! Хотя, по правде говоря, я не поклонник этого произведения, в нем столько враждебности, столько злобы... Он втоптал в грязь репутацию многих знатных семей, гораздо более известных, чем его собственная. Ему бы

не следовало помещать в ад нескольких пап, ведь папы — заместники Христа, они почитаются как святые... Тем самым Данте зароняет семена недоверия и оскверняет нашу Церковь, святость которой для меня несомненна. Он клеймит даже тех, кто ссужает деньгами знатнейшие семьи и компании Европы, он называет их мздоимцами, а меж тем эти люди — соль земли. Тем самым ваш отец внушает людям устаревшую точку зрения, которую опровергла сама история. Мы даем нуждающимся собственные флорины, чтобы они могли заниматься коммерцией и богатеть, и нет ничего плохого в том, что нам достанется крохотная часть нажитого ими богатства. Без нас никакого развитие было бы невозможно. Даже досточтимые Отцы Церкви смогли отказаться от этого узкого взгляда на мир и понять, что давать деньги в рост — это не так уж плохо, хоть раньше это и считалось грехом, торговлей временем, распоряжаться которым дано лишь Господу Богу. «Num-mus non parit nummos», ^[56] — твердили они с амвонов в старые времена. Но когда я был молод, у нас в городе жил удивительный проповедник, который понимал самую суть вещей. Он был францисканцем, преподавал в Санта-Кроче... И хотя он сам строго соблюдал обет бедности, в том, что касалось смысла денег, он оказался очень просвещенным человеком. Родом он был француз, из города Сериньян, что в Лангедоке.

— Вы говорите о Пьере Олье?

— Да, именно о нем, хотя у нас его называли Пьетро ди Джованни Оливи. ^[57]

— Уж не он ли недавно был приговорен папой Иоанном к смертной казни за свои еретические убеждения?

— Давно известно, что склонному к фаворитизму папе не очень-то по душе истинно духовные францисканцы...

— И мне тоже, особенно когда после казни их полуразложившиеся трупы выставляют напоказ толпе...

— Говорят, что его осудили за то, с каким упорством он отстаивал свои доктрины о вере, а не за экономические воззрения...

— И что же говорил Пьер Олье о тех, кто дает деньги в рост?

— Он преодолел устаревшие представления о том, что плата за труд — это единственный законный заработок. Он утверждал, что это далеко не все: ведь есть еще ловкость торговца, его способность предвидеть развитие дела и риски, с которыми сопряжены любые

вложения. А вот Данте так ничего и не понял о трудностях нашего времени, он лишь твердил о ненасытной жадности черных гвельфов и о проклятой Волчице...

— Позволю себе возразить, — ответил Джованни. — Если речь идет об осуждении алчности как таковой, то в этом я полностью на стороне Данте. Однако я соглашусь с вами в том, что постулат *«Деньги от денег не рождаются»* уже устарел. Однако, как мы уже говорили, банкиры ссужают деньгами коммерсантов, зарабатывая проценты, но это купцы, а не банкиры в итоге производят богатство. И тогда я соглашусь с тем, что некая часть этого богатства может возвращаться банкирам как компенсация за то, что они оценили возможные риски, связанные с предприятием купца. Но сами по себе деньги от денег не рождаются. Однако уже давно ходят слухи, что банкиры спекулируют на обмене, что они инвестируют в деньги, — в итоге долги растут, а когда у народа долгов куда больше, чем денег, он уже не в состоянии покупать. И для кого же тогда производить товар, если никто не в состоянии его купить?

— Все это не так просто, — произнес господин Моне, — кризисы цикличны, они всегда были и всегда заканчивались. Просто нужно верить в будущее и продолжать делать ставки, продолжать вкладывать деньги, и тогда богатство снова станет прирастать. Уныние — смертный грех, юноша, оно рождает недоверие и никогда не приносит пользы. А недоверие — это и есть источник всех бед. Стоит заговорить о кризисе — и вот он! Все эти францисканцы, болтающие о том, что конец света близок и нужно во что бы то ни стало отказаться от нажитого богатства, — всего лишь пустозвоны да паникеры! Да, на севере Европы был неурожай, породивший сильный голод, но теперь-то все позади! Пора уже навести в Европе порядок. Лично я не вижу никаких предпосылок к тем катастрофам, которые пророчит ваш поэт, я не вижу ни малейшего повода для тех проклятий, которые Господь якобы найдет на людей за поклонение золотому тельцу. Даже и не знаю, кто больше вредит нашей экономике — поэты или францисканцы: и те и другие неудачники и бедны как церковные мыши, поэтому они мечтают, чтобы весь мир последовал за ними. Вы видите, я работаю не покладая рук, весь день провожу за столом! Да, я богат, но я живу так, словно у меня нет ни гроша за душой! В Европе мне принадлежат многие земли, в некоторых поместьях я даже ни разу

не бывал, но вы и представить себе не можете, какой это груз! Какая на мне ответственность! Для многих я и мои деньги — это олицетворение самой судьбы! Те расчеты, что я делал до вашего прихода, те решения, которые мне предстоит принять, — все это способно изменить жизни многих и многих людей, да что я говорю — поколений! Деньги, любезный друг, — вот что движет этим миром.

— Однако, — возразил Джованни, — отнюдь не деньги приводят в движение планеты и Солнце.

— Поверьте мне, они приводят в движение все, вплоть до самой Луны.

— Но есть то, что купить нельзя.

— Отсюда и до Луны нет ничего, что нельзя было бы купить.

И мессер Моне открыл ящичек, откуда извлек горсть золотых флоринов. Он положил их на стол перед Джованни.

— Возьмите, — сказал он, — эти деньги ваши, если вы покинете Флоренцию до завтрашнего утра.

Джованни посмотрел на изображение Иоанна Предтечи, красовавшееся на каждом флорине: на столе лежало не меньше двадцати монет, весьма внушительная сумма. Но он не сдвинулся с места: ему потребовалось приложить некоторое усилие, чтобы скрыть свое удивление. Наконец Джованни сказал:

— Говорят, что Данте был влюблен в вашу жену и вроде бы она была равнодушна к его вниманию.

— Нет женщины, способной устоять перед мужчиной, если он трубит на весь город, что она самая прекрасная на свете.

— Еще говорят, что изгнание поэта из города не обошлось без вашего участия.

— Приговор огласил некий человек из Губбио, я его даже не знал. Но, видно, такова была воля Иоанна Крестителя, святого покровителя нашего прекрасного города. Как я уже признался ранее, Данте мне не слишком нравился, но с чего вы решили, что он был настолько важной персоной, что заслужил мое внимание? Вся правда в том, что для меня он был не более чем несчастным воздыхателем, донимавшим мою жену своими нелепыми виршами. Но поскольку он не представлял для моей семьи никакой опасности, я не воспринимал его всерьез... Данте был идеалистом и фантазером. Он мечтал о том, что когда-нибудь Италия сможет объединиться и все заговорят на одном языке, что

Церковь откажется от мирской власти, а Европа объединится в единое государство...

— Он мечтал о мире без войны, о Европе, у которой будет единое правительство, где будет царить справедливость...

— Но в нашей жизни это невозможно. Оглянитесь вокруг, господин Джованни, в этом мире волки пожирают ягнят...

— Но ведь волки не пожирают волков, а овцы не пожирают ягнят, — ответил Джованни.

— Вот почему животные никогда не достигнут того, чего удалось добиться человеку, — с иронией произнес господин Моне. — Мы финансируем правителей Европы в их войнах друг с другом и благодаря этому всегда получаем огромные доходы. Не говоря уже о Крестовых походах, вот уж было настоящее раздолье. Как жаль, что они так быстро закончились!.. То, что Италия до сих пор раздроблена на множество мелких государств, — это золотое дно! Можно сколько угодно притворяться, что это не так, и жить в мире с собственной совестью, но правда заключается в том, что чудесный расцвет этого века по большей части объясняется тем, что все построено на ненависти куда больше, чем на любви. И Царство Божие на земле, то самое тысячелетнее царство, наступление которого ждет каждый христианин, где будет царить всеобщий мир и Божественная справедливость, — это не что иное, как долгая и тоскливая фаза упадка, мировой кризис, который, даст Бог, наступит еще очень и очень не скоро.

Джованни понурился:

— Я только хотел сказать, что те торговые операции, которые попирают христианскую идею о любви к ближнему...

— Мне известна лишь притча о талантах. Бог мне дал пять золотых монет, а я должен увеличить их до десяти; и если мне это удалось, значит я внес свой вклад и увеличил достаток и счастье тех, кто меня окружает, — в этом и состоит моя этика...

— Но оглянитесь вокруг, господин Моне, сходите в Сан-Фреддиано, и тогда вы увидите, сколь счастливы те, что живут рядом с вами.

— Я не могу принимать на себя ответственность за несчастья тех невежд и простолюдинов, что не в состоянии о себе позаботиться.

Однако тем, кто работает на меня, я даю хорошие гарантии, и вы не можете себе представить, сколько таких людей по всей Европе...

Джованни замолчал. Он протянул руку к столу, взял три монеты и положил их в свой кожаный мешочек:

— В пути они могут мне пригодиться.

Мессер Моне по-прежнему сидел на своем месте и, когда Джованни протянул ему руку, осторожно пожал кончики его пальцев.

— Прощайте, добрый человек, — с усмешкой произнес он.

Джованни повернулся, сделал было два шага к двери, но потом остановился и шагнул назад:

— Данте умер вовсе не от малярии, как о том твердит молва. Его отравили. Разве вы, который сведущ во всем, не знали об этом?

Он увидел, как мессер Моне тщательно протирает платком руку, которой только что с ним попрощался. Хозяин дома посмотрел на него снизу вверх, во взгляде его сквозило недовольство.

— От чего бы он ни умер, — сказал он с глубоким вздохом, — да будет на то воля Божья!

— И святого Иоанна, — пробормотал Джованни.

Через несколько часов он покинул город.

Осень в Равенне сестра Беатриче провела словно человек, недавно оправившийся после долгой болезни. Рана, нанесенная внезапной смертью отца, все еще кровоточила, особенно сильно его отсутствие ощущалось именно здесь. Каждый раз, когда она входила в этот дом, она невольно ожидала увидеть его сидящим на грубом деревянном стуле, разбирающим бумаги или работающим над рукописью. Когда он так сидел, он имел обыкновение опираться на подлокотники, а на столе всегда стояла чернильница, близ которой лежали ножницы и перо — неизменные атрибуты его работы. Иной раз Антония находила отца у пюпитра склонившимся над каким-нибудь манускриптом с линзой в руке. В комнате, куда ни посмотри, лежали книги: одни закрытые, со множеством закладок, другие раскрытые — поближе, на столе. Иной раз книги оказывались даже в постели, и именно Антонии зачастую приходилось расставлять их по местам. Обычно отец просто молчал, изредка он коротко кивал ей в знак внимания и любви, в его глазах она могла прочесть все, что он хотел сказать, они были настолько близки, что слов даже не требовалось. Антонии выпала счастливая доля: когда отец приступил к работе над *Чистилищем*, именно она стала первой читательницей будущей *Комедии*. Монахиня находила листки поэмы на столе, по мере того как они создавались, песнь за песней, она брала их, читала, а иногда просила отца объяснить ту или иную сцену. И когда она улыбалась, Данте понимал, что прочитанное ей нравится. Порою, забывшись, он даже называл ее Беатриче.

А теперь, входя в его кабинет, Антония ощущала лишь гнетущую тишину и печальную пустоту. Тогда она крепко обнимала мать или старалась отвлечься разговором с братьями. Скоро им тоже предстояло расстаться. Вспоминая об этом, Антония чувствовала, что в сердце поселилась тяжелая тоска. Между тем ее братья продолжали работать над *Раем*, но никак не могли закончить даже двадцать первую песнь.

К счастью, потом в ее жизнь вошел маленький Данте, заботы о нем заняли все свободное время сестры Беатриче. Ежедневно она занималась с ним арифметикой и астрономией. Этот ребенок был живым воплощением любви, в нем таилась бездна любопытства,

мальчик задавал вопросы не переставая. Как-то раз монахиня невольно упомянула Джованни, и тогда Данте понял, что сестра Беатриче знакома с его отцом. Он захотел узнать о нем как можно больше: правда ли, что он высоченного роста, а еще он непобедимый, смелый и добрый... Он спросил, отчего отец не возвращается домой каждый вечер, как это делают другие отцы.

— Это не его вина, — ответила сестра Беатриче, — ведь он не знает, что у него есть сын. Если бы только он знал о тебе, он сразу бы поспешил сюда и возвращался бы домой каждый вечер.

Тогда они условились, что если Джованни вернется в Равенну, когда Данте еще будет здесь, сестра Беатриче условным знаком укажет ему, что это его отец, однако не выдаст самому Джованни, что мальчик — его сын. Так Данте сможет спокойно понаблюдать за ним, прежде чем открыться, и получит преимущество над своим отцом.

— Когда он войдет, я скажу: *«Так захотели там, где властны исполнить все, что захотят»*.^[58] Договорились? Запомни эти строки, они станут нашим знаком. Так ты поймешь, что перед тобою твой отец, но ему мы ничего не расскажем, и тогда у тебя будет время, чтобы понять, насколько он тебе нравится. Если же ты поймешь, что он тебе не подходит, мы сохраним все в тайне и не раскроем ему, что ты его сын.

Маленькому Данте идея пришла по душе, он тут же принялся воображать, как все это будет, забегая вперед и поторапливая время. С этого дня он стал с нетерпением ждать, когда же его отец вернется в Равенну. А пока он ждал, сестра Беатриче учила его арифметике по Фибоначчи, астрономии по Птолемею, а еще грамматике и основам латинского языка. Это отвлекало ее от собственных дум. Но все же одна мысль не давала Антонии покоя и точила ее, словно червь — дерево. Ей казалось, что она поняла, где может находиться последняя часть Комедии, но не могла извлечь ее из тайника. В какой-то момент для нее стало очевидным, что тринадцать недостающих песен спрятаны за странной композицией из кожаных рам, которая висела над изголовьем кровати в спальне отца. На эту мысль навела монахиню строка из Вергилия, которая цитировалась на одном из листов, найденных в потайном дне сундука:

Троя вручает тебе пенатов своих и святыни.

«Троя вручает тебе пенатов своих...» Ведь пенаты, как и лары, считались в Древнем Риме покровителями семьи и хранились в римских домах в особой нише в одной из стен. Дом Данте по своей структуре напоминал типичный дом времен Древнего Рима. Это означало, что надо было искать тайное убежище пенатов в одном из углов перистиля — внутреннего дворика, окруженного колоннадой. Спальня ее отца была как раз на месте старого портика, поэтому Антония поняла, что домик ларов нужно искать там, в изголовье кровати. И действительно, она нашла за кожаным ковриком нишу в стене, в ней находился небольшой мраморный ларчик, украшенный росписями на библейские сюжеты. Боковые картинки рассказывали о том, как Давид принес в Иерусалим ковчег Завета. Так что последние песни, вне всякого сомнения, были в этом ларце.

Но он был закрыт, а замком служила панель из мраморных букв. Глядя на эти буквы, нетрудно было узнать палиндром-перевертыш — текст, который можно читать в любую сторону, во всех четырех направлениях. Главным словом текста было SATOR:

S	A	T	O	R
A	R	E	P	O
T	E	N	E	T
O	P	E	R	A
R	O	T	A	S

Чтобы открыть ларец, нужно было нажать определенные буквы, знать какой-то секретный код. Однако все ее попытки ни к чему не привели, и наконец Антония сдалась. В какой-то момент она даже подумала было разбить ларец молотком, но испугалась, что это может повредить содержимое. Братьям она ничего не сказала: ей хотелось дождаться возвращения Джованни. Только ему она могла доверить свой секрет и очень надеялась, что он поможет разгадать загадку. Должно быть, секретный код можно было обнаружить в тех же самых стихах, что были найдены в сундуке, но пока что ей оставалось только думать над этой тайной, и результаты размышлений не слишком обнадеживали.

Наступил ноябрь, и вот однажды, в очень холодный день, когда Антония как раз попросила накрывать к обеду, Джованни наконец-то вернулся в Равенну. Еле живой от усталости, он вошел в дом, но нашел там только маленького Данте, сидевшего за столом с учебником латыни, и Антонию, которая внимательно перелистывала сочинения Бонавентуры. Джемма с утра отправилась в сад, чтобы остаться наедине со своими мыслями. Она уже готовилась к отъезду: пора было отправляться во Флоренцию и решать непростые вопросы, касающиеся их собственности.

— Я понял, где хранятся последние песни! — выпалил Джованни прямо с порога. — Они там, за изголовьем кровати: цифры 155–515–551 — это ключ к стихам на пергаменте, и эти же самые цифры повторяются в строках рукописи, которую мы обнаружили в сундуке твоего отца.

— Ты прав, они там, я их уже нашла, — ответила сестра Беатриче, а потом громко сказала: — Так захотели там, где властны исполнить все, что захотят.

Джованни не на шутку удивился. Однако Антония, ничуть не смутившись, проводила его в спальню, чтобы показать мраморный ларец с буквенным кодом. Ребенок тут же прервал свои занятия и направился вслед за ними в спальню. Данте рассматривал Джованни так пристально и с таким нескрываемым восторгом, что тому показалось, что мальчик не вполне здоров: отведя сестру Беатриче в сторонку, Джованни спросил, что это за ребенок и не опасно ли, что он путается у них под ногами, когда они заняты такими важными делами?

— Он так красив, — сказала монахиня. — Немного похож на моего отца, не правда ли?

— Мм... ну не знаю, да и с чего ему быть похожим? Кто он?

Тогда сестра Беатриче рассказала, что одна прекрасная и загадочная женщина оставила ребенка на попечение монастыря, а так как мальчик напомнил ей об отце, она решила лично позаботиться о нем. Так что ничего страшного в том, если ребенок побудет с ними, пока они решают очередную загадку. С этими словами она отодвинула от стены кожаную композицию и вытащила из ниши ларец с секретным замком. Джованни посмотрел на палиндром, и им овладело невыразимое уныние. Да уж, поэт постарался — хуже не придумаешь...

— И знаешь, как его называли? — сказала Антония.

«Как он называется? Конечно, это обычный палиндром, текст, который читается в любом направлении. Ах нет, это она о ребенке. Откуда мне знать, как его называли? Сейчас совсем не время об этом говорить», — подумал Джованни. Но прежде чем он успел раскрыть рот, монахиня продолжила:

— Его зовут Данте.

— А-а-а, ну привет, малыш Данте, а я Джованни...

Он печально вздохнул. Похоже, что сестра Беатриче не вполне здорова. Последние песни великой поэмы, которые они так долго искали, буквально у них в руках, а ей словно и дела нет. Только вот непонятно, как связан этот палиндром с теми цифрами, которые они вывели из стихов поэмы, ведь ключ, скорее всего, именно в них, и только он сможет открыть этот удивительный замок. Но ведь там — цифры, а здесь — буквы, как тут понять, что между ними общего? Ну-ка, посмотрим: может быть, пять слов по пять букв... Нет, это все пустяки. Двадцать пять... тридцать три...

— Сегодня маленький Данте приступил к изучению теории вращения планет, — не унималась Антония.

Мальчик продолжал разглядывать его, но Джованни изо всех сил пытался сосредоточиться: палиндром был единственным, что его сейчас волновало. Он так спешил сюда, чтобы поведать Антонии о своих открытиях, ему казалось, что теперь хоть одной тайной будет меньше, но оказалась, что монахиня и сама смогла обо всем догадаться. И мало того, за одной загадкой скрывалась другая, куда более сложная.

Он сказал, что ему пора идти в гостиницу, ведь он до сих пор не позаботился о ночлеге.

Однако в эту ночь он не смог сомкнуть глаз.

На следующее утро Джованни уже сидел на кровати поэта с ларцом в руках и прокручивал в голове строчку за строчкой текст палиндрома. Вдруг в дверь постучали. Сестра Беатриче пошла открывать, мальчик последовал за ней, по пути они тихо о чем-то переговаривались.

Джованни остался в битве с ларцом один на один, он продолжал отчаянно размышлять над решением новой загадки. «В крайнем случае, — подумал он, — можно попробовать просто сломать

крышку». Он вспомнил, что в кабинете на стене висел старый меч, можно попробовать прямо сейчас... Он уже подошел было к занавеске, что разделяла спальню от кабинета, как вдруг удивленно замер: ему показалось, что из соседней комнаты раздался голос Бруно. Или ему только показалось и его разум выдает желаемое за действительное? Ведь именно Бруно, как никто другой, мог бы помочь найти разгадку. Джованни прислушался. Да, вне всяких сомнений, это голос Бруно. Но что он делает в Равенне? Джованни страшно обрадовался и хотел было броситься к нему, когда в следующий миг из соседней комнаты донеслись такие слова: «Джентукка у нас в Болонье, она прислала меня за сыном».

Джованни резко отпрянул назад, стараясь сохранять спокойствие: «Джентукка! Прислала за сыном! Это тот мальчик, Данте!» Сердце его бешено забилось, он тут же покрылся холодным потом. В одно мгновение Джованни ощутил безумный страх и в то же время огромную тоску. Никогда он еще не испытывал ничего подобного. Прошла целая вечность, прежде чем занавеска зашевелилась и все трое вошли в спальню. Младшему Данте уже девять лет, и он — его сын... Так, значит, Джентукка...

Однако нужно было потянуть время и сделать вид, что он ничего не знает...

— Бруно! Какими судьбами...

— Джованни!

Они дружески обнялись, а когда вновь посмотрели друг на друга, глаза Джованни наполнились слезами.

— Я слегка простудился, пока ехал из Флоренции по такой погоде. В Апеннинах уже снег лежит...

Он снова почувствовал на себе внимательный взгляд ребенка и увидел, что мальчик ему улыбается. «Ему все известно, — подумал Джованни и улыбнулся в ответ. — Вот только я совершенно не представляю себе, что значит быть отцом». И правда, первое, что испытал Джованни при новости о том, что у него есть сын, было горькое ощущение собственного несоответствия этой роли. Но тут мальчик взял его за руку и прислонился к нему, словно слепой, который после долгих скитаний обрел поводыря.

Джованни взял ларец, и все вместе они вернулись в кабинет. Антония поставила шкатулку на стол:

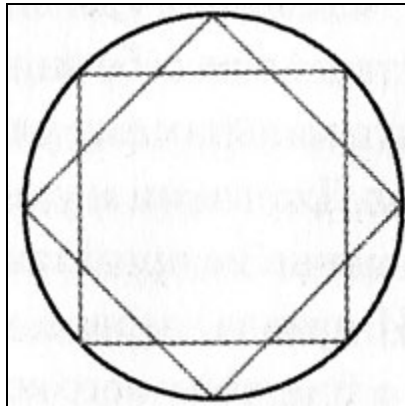
— Ну как, Джованни? Тебе удалось найти какую-то зацепку?

— Нет, совершенно ничего. Вся эта история — одни сплошные загадки.

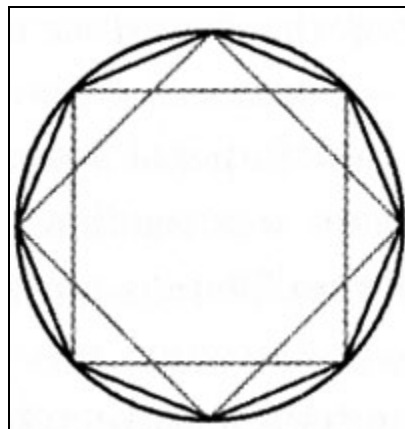
Тогда Бруно поделился с Джованни своими мыслями по поводу таинственных чисел. Все это время он размышлял и понял, что цифры, которые относились к Христу и были связаны с августинской интерпретацией чисел Давида, могли иметь и геометрическое прочтение.

— Единица и две пятерки вполне могут указывать на изображение пятиконечной звезды, вписанной в пятиугольник, внутри которого размещен второй, но в перевернутом виде.

С этими словами Бруно нарисовал круг и разместил в нем два квадрата:

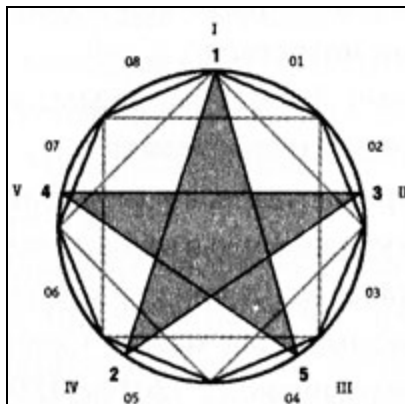


Затем он соединил вершины квадратов, чтобы получился восьмиугольник:



В центре круга он начертил пятиконечную звезду, а потом проставил у каждой стороны восьмиугольника цифры от 1 до 8, при этом лучи звезды он пронумеровал сначала арабскими, а потом римскими цифрами. Римские цифры он расположил по часовой

стрелке, от I до V, а арабские — не по порядку, а следуя за лучами звезды:



«Красивый мальчуган, и правда он похож на деда», — думал Джованни, пока смотрел на сына. Меж тем Бруно продолжал свои объяснения:

— Звезда — это символ совершенного человека, стоящего на двух ногах с разведенными в стороны руками, но прежде всего это, конечно же, символ планеты Венеры.

— Я не совсем поняла, зачем вы вписали эту звезду в восьмиугольник, — сказала сестра Беатриче.

— Цикл обращения Венеры вокруг Солнца составляет восемь лет, их-то я и изобразил в виде восьмиугольника. За это время Венера оказывается примерно на одной линии с Солнцем пять раз — это и есть значение пятиконечной звезды, вписанной в восьмиугольник. Если внимательно присмотреться к этой фигуре... Джованни... Джованни!

«Данте действительно был моим отцом, этот великий человек — мой отец, — думал меж тем Джованни, — а теперь есть другой Данте, и он — мой сын, так вот почему...»

— Да-да, фигура, — промолвил он, — если внимательно к ней присмотреться...

«Так вот почему Джентукка не могла покинуть свое убежище. Но зачем же она бежала?»

— Если мы присмотримся к этой фигуре, — продолжал Бруно, — то увидим, что в ней отражен полный цикл движения Венеры и, как я уже сказал, за это время планета пять раз оказывается между Солнцем и Землей. Возьмем, к примеру, период с 1301 по 1308 год от Рождества Христова и предположим, что каждый год представлен одной из

сторон этого восьмиугольника. Допустим (хоть это и не так, но пока для наглядности сгодится), что точка I представляет собой момент, когда Венера находится примерно на одной линии с Солнцем. Тогда цифры от I до V укажут на те периоды, когда Венера будет находиться в этом положении в разные годы, поскольку мы уже договорились, что стороны восьмиугольника — это обозначение восьмилетнего цикла. Тогда I — это первый год, а точнее, 25 марта 1301 года,^[59] а лучи пятиконечной звезды — временные точки, которые приходятся примерно на конец октября 1302 года, первые числа июня 1304 года, первые числа января 1305 года и, наконец, на середину августа 1307 года, после чего планета возвращается в исходную точку.

«Но почему она ничего мне не сообщила?» — не успокаивался Джованни. Он вспоминал те мучительные дни, когда ему казалось, что жена предала его ради другого. «Надо было решиться и во что бы то ни стало добраться до Лукки, наверняка она направилась именно туда, ну а теперь она в Болонье... Но ведь я прожил в Болонье почти три года, почему же она не попыталась хоть как-то связаться со мной? Может быть, у нее были проблемы с деньгами... Или она надеялась, что я что-то сделаю, чтобы разыскать ее?»

— А теперь посмотри на арабские цифры, — продолжал Бруно, — но только не на те, что представляют грани восьмиугольника, а на другие, которыми я обозначил лучи звезды: они указывают на небе те самые точки, в которых появится Венера, когда пять раз за свой восьмилетний цикл будет находиться между Землей и Солнцем. Представь теперь, что круг, в который я поместил восьмиугольник, — это кольцо зодиакальных созвездий. Тогда мы увидим, что у нас есть пять точек на пути годичного движения Солнца, которые соответствуют пяти знакам зодиака. Если первая точка — это двадцать пятое марта, то, значит, Венера и Солнце в этот день находятся в знаке Овна, затем, чтобы изобразить движение Венеры на небосводе, мы должны повернуть угол к центру примерно на двести шестнадцать градусов. Не отрывая руки, проводим линию и оказываемся в знаке Скорпиона, затем, следуя тому же принципу, поворачиваем еще на двести шестнадцать градусов, продолжаем линию и попадаем в знак Близнецов. Потом оказываемся в знаке Козерога и, наконец, в знаке Льва, после чего возвращаемся в знак Овна. Потом мы соединяем все полученные точки и видим ту самую

пятиконечную звезду, которую я нарисовал с самого начала. Это и есть та траектория, по которой движется Венера в течение своего цикла, она вырисовывает на небосводе точно такую же звезду... Джованни, ты меня слушаешь?

— Да, конечно, Венеру изображают в виде звезды...

— И тогда эти цифры — 155,515,551 — могут указывать на три разные точки, в которых находится Венера, когда проходит по зодиакальному кругу, и одновременно эти же точки отражаются в астрономическом календаре, который обозначен восьмиугольником. К примеру, взгляни-ка еще раз на эту фигуру: римская цифра V располагается слева, единица — в центре, а арабское число пять — справа. Это и может быть разгадкой, если читать слева направо, и тогда все совпадает, появляются те самые цифры, что и в последней песне *Чистилища*, понимаешь?

— Да, конечно, это не исключено...

— Помнишь поэтический кружок «Верных Любви», в который входил молодой Данте? Да и потом он не раз заявлял, что особенно подвержен влиянию Венеры, взять хоть, к примеру, канцону *«Вы, движущие третьи небеса...»*.^[60]

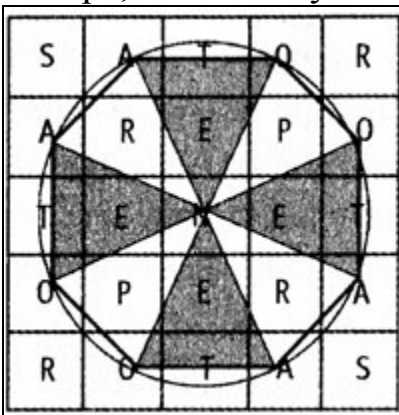
Джованни думал, что за все эти годы ему ни разу не пришло в голову, что у Джентукки может быть ребенок, словно он нарочно держался подальше от подобных предположений. «Я разыскивал отца... и вот... оказалось, что этим отцом был я...»

Тем временем сестра Беатриче уже показывала Бруно мраморный ларец с загадочным замком-палиндромом. Бруно внимательно осмотрел вещицу и сказал:

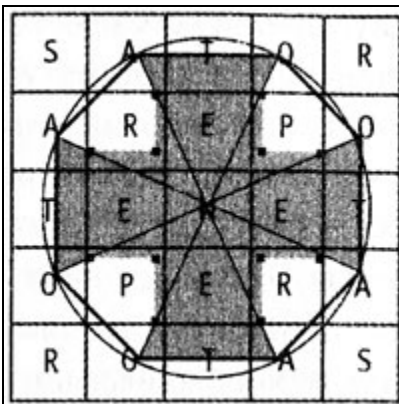
— Насколько мне известно, это слово встречается во многих церквах и домах тамплиеров, так что оно, несомненно, несет в себе скрытый смысл. SATOR — это начало знаменитого палиндрома о сеятеле: SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS.^[61] При этом у него есть два толкования: «Сеятель Арепо с трудом удерживает колеса» или же «Сеятель с трудом удерживает колеса своей телеги», но главный смысл не в этом. Эта фраза отсылает нас к восьмиугольнику и к кресту тамплиеров, потому как если соединить все буквы «А» и «О», то мы получим именно этих два изображения.

Бруно взял карандаш и принялся рисовать.

Альфа и омега, первая и последняя буквы греческого алфавита, символизируют начало и конец времен. Чтобы построить из них фигуры, нужно провести линии через букву «Т», которая изображает распятие, то есть центральный момент христианской истории... Когда все линии соединятся в центре, то мы получим вот такой рисунок:



— Если верить некоторым толкователям, — добавил Бруно, восьмиугольник может означать «Купол скалы», то есть купол церкви на Храмовой горе в Иерусалиме. Теперь она принадлежит арабам и стала мечетью, а когда-то рыцари Храма были ее хранителями. Если смотреть сверху, отчетливо просматривается ее восьмиугольная форма, а двенадцать колонн вместе с куполом образуют греческий крест. — И он снова принялся рисовать.

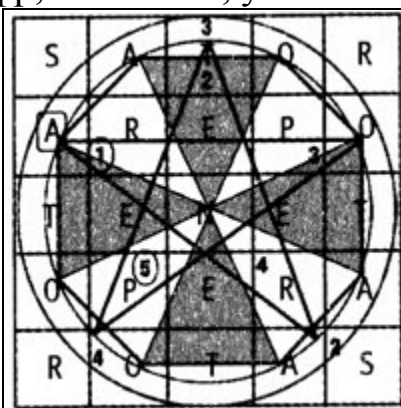


— Но это еще не все. Почему считается, что этот палиндром обладает чудодейственной силой и помогает в любой беде? Да потому, что если посмотреть крест-накрест, то мы увидим двойную анаграмму слова PATERNOSTER, то есть ОТЧЕ НАШ, при этом буквы «А» и «О» останутся по обеим сторонам от нее. Опять омега и альфа, конец и начало, и снова между ними буква «Т» — символ креста, и все это прекрасно вписывается в наш восьмиугольник:

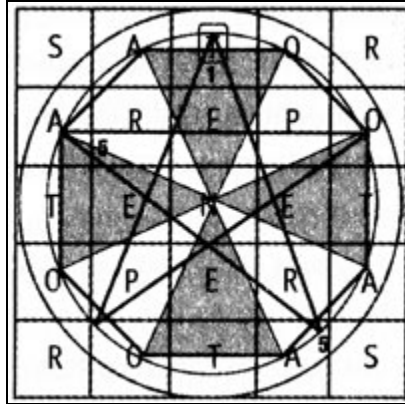


Джованни уловил, что во взгляде маленького Данте скользнуло разочарование, что он все чаще смотрит на Бруно, чем на него. Пусть он и не понимает, о чем идет речь, но подсознательно чувствует, что Бруно гораздо умнее отца, что его отец никакой не герой.

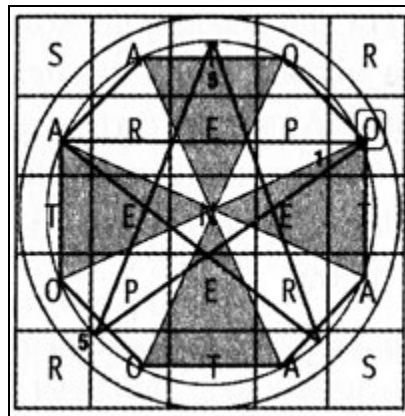
— Все должно быть именно так, — говорил меж тем Бруно. — Это и есть ключ. Числа из поэмы могут указывать на то самое место, где находится Храм, с помощью формулы цикла Венеры — пятиугольной звезды в восьмиугольнике. Нужно взять план мечети, который мы получили с помощью палиндрома, и наложить на него пятиконечную звезду, указывающую на север. Тогда последовательность цифр, возможно, укажет нам нечто подобное:



Цифры внутри звезды обозначают время. А цифры по сторонам восьмиугольника указывают соответствующие точки на круге эклиптики. Начнем движение от альфы таким образом, чтобы единица располагалась слева от двух пятерок, тогда при чтении слева направо у нас получится 1–5–5. Проследуем дальше, отсчитав на нашем восьмиугольнике примерно полтора года. Мы снова получим те же цифры, только теперь 5–1–5. — Он продолжал рисовать на листке.



— Наконец продвинемся еще на полтора года вперед, и мы увидим слева 5–5–1.



Остаются еще две возможные фигуры, где можно использовать слово ROTAS из последней строки, с единицей на «О» и «А». Первая фигура дает комбинацию 1–5–5, а вторая — 5–1–5. Но 5–5–1 нигде не повторяется, поэтому, скорее всего, именно эта цифра и указывает на конкретное место, где находится заветное убежище. Если предположить, что легенда о хранимом тамплиерами ковчеге не выдумка, то таким образом можно легко установить, где он может находиться. Именно последовательность 5–5–1, которая воплощает в себе стремление к единству, указывает нам на букву «О» в слове AREPO по горизонтали и в слове ROTAS по вертикали, то есть на северо-восток...

Джованни взял ларец и положил правую руку на мраморные буквы. Он нажал на те, что на рисунке Бруно обозначали края пятиконечной звезды: средний палец лег на букву «Т» в слове SATOR, указательный и безымянный нажали буквы «О» и «А» в слове ROTAS, а большой палец и мизинец — «А» и «О» в слове AREPO. В замке что-то щелкнуло, и крышка открылась. Они заглянули внутрь. На дне

лежали несколько страниц старой рукописи, на первой было написано: «*Рай. Песнь XXI*». От волнения Антония с трудом владела собой. Она бережно достала из шкатулки сложенные листы и принялась дрожащим голосом читать неподражаемые строки великого поэта:

Мой взор, а с ним и дух мой, неуклонно
Стремясь лишь к ней, прикован был вполне
К ее лицу. Не улыбалась Донна;

Но: «Улыбнись, я здесь, — сказала мне. —
Ты точно так погиб бы в злом погроме,
Как и Семела, пеплом став в огне.

Блеск красоты моей, что при подъеме
В дом вечности тем большим жжет огнем
(как видел ты), чем выше мы в сем доме, —

Не уменьши теперь я силы в нем, —
Пылал бы так, что весь состав твой бранный
Листвой бы стал, куда ударил гром».

Мы вознеслись к седьмой звезде нетленной,
Что подо Львом пылающим кружась,
С ним вместе льет всю мощь свою Вселенной.

Ее слушатели вполне разделяли восторг поэта, ибо чувствовали себя на седьмом небе от радости. «Так вот что Данте считает счастьем, — подумал Джованни, — для него это бесконечная любовь к жизни, любовь к миру, к женщине, которую он боготворит. Если в восемнадцать лет ты встречаешь девушку и понимаешь, что именно она — твоя единственная любовь, ты робко улыбаешься ей и видишь, что она улыбнулась в ответ, — тогда ты чувствуешь себя словно дерево, в которое попала молния. От тебя остается лишь обгоревший оголенный ствол. Потому что в этом возрасте все настолько хрупко, настолько тонко, что ты еще не можешь справиться с ощущением

огромного, льющего через край счастья. И некоторые чувства действительно способны испепелить тебя, словно Юпитер Семелу».

На глаза сестры Беатриче навернулись слезы, она крепко обняла Бруно, а затем Джованни.

— Он это сделал! — воскликнул маленький Данте. — Это сделал Джованни! Он такой умный, да, тетя Антония?

И Джованни подумал, что, в конце концов, быть отцом не так уж и сложно. Он понял, что, видимо, не так уж и важно соответствовать образу идеального отца, который дети так любят придумывать. Данте ждал этой встречи так долго, что готов принять его таким, каков он есть.

— Джованни, у меня есть к тебе разговор, — произнесла сестра Беатриче.

— Я знаю, — ответил он, — но я хочу сначала поговорить с моим сыном. Наедине.

Отец и сын направились в спальню. Нетрудно представить, о чем они там говорили. Когда Джованни вернулся в кабинет, мальчик спал у него на руках, положив голову на плечо отца. Он был тяжелый, но Джованни тихо нес его на руках. Он мечтал искупить свою вину.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Рассказывают, что с одним весьма достойным жителем Равенны по имени Пьетро Джардини, верным поклонником гения Данте, приключилась вот такая история.

...Однажды ночью, ближе к рассвету, пришел к нему вышеупомянутый Якопо и поведал, что видел во сне своего отца. Данте стоял в белоснежных одеждах, и лицо его светилось каким-то нездешним светом. Затем он подошел к нему, взял за руку, отвел в свою бывшую спальню и указал на стену. <...> Хотя до рассвета было еще далеко, они вместе отправились в дом поэта и принялись искать указанное место. На стене висела кожаная циновка; осторожно откинув ее, они обнаружили в стене потайную нишу, о существовании которой не знал до сих пор никто из родственников поэта; в этой нише оказалась рукопись, которая уже покрылась плесенью от соприкосновения с влажной стеной. Это были те самые тринадцать песен Рая, которые все так долго искали.

Таким вот образом мы обрели великое произведение Данте в законченном виде.

Дж. Боккаччо. Малый трактат в похвалу Данте

Зима в Равенне — это замерзшие капли дождя в облаке густого тумана, застывшие в воздухе и похожие на стеклянную крошку. Каждое утро раскинувшаяся под окнами олива роняет мелкие ледяные слезинки, и дом стоит, впитав в себя весь холод и влагу морозной ночи. Кажется, что и дом, и олива, затерявшиеся среди пустынных полей, печально свидетельствуют о наступлении конца времен и пророчат, что зима будет длиться вечно... В темноте дома все истории кажутся погребенными заживо, запечатанными навсегда, словно послание в бутылке. Нужно постоянно ворошить угли и поддерживать в камине огонь, чтобы сохранить даже самую малюсенькую выжившую искорку, спасти эти крохотные проблески света и тепла. К счастью, после того, как сестра Беатриче рассказала родным о находке, обретенные песни поэмы хорошо согревали сердца обитателей дома. Теперь нужно было придумать, как объявить о них остальному миру, чтобы люди не приписали авторство сыновьям Данте. Тогда Якопо придумал невероятную историю о ночном видении, которой, слава тебе господи, оказалось вполне достаточно. Незадолго до рассвета он направился прямо к Пьетро Джардини и с криками «Скорее, скорее!» рассказал ему о видении. Затем они оба побежали к дому поэта. Известно, что вещие сны, отражающие самую суть вещей и открывающие завесы таинственного, снятся человеку ближе к рассветной поре, когда другие, навеянные дневными заботами, уже отошли. Якопо рассказал, как во сне ему явился отец, лицо которого светилось райским светом, и свет этот был таким ярким, что вынести его было почти невозможно. Он указал ему на тайное место за своей кроватью, где он спрятал последние страницы поэмы, продиктованные ему голосом свыше. Рукопись лежала в секретной нише, и сырость влажных, покрытых плесенью стен уже подбиралась к ее страницам.

Якопо показал другу бывшую спальню отца и подстроил все так, что Пьетро сам отодвинул от стены кожаное панно и обнаружил в секретной нише страницы последних песен поэмы. Потом Пьетро Джардини трубил повсюду, что именно ему было предначертано судьбой удостоиться этой великой чести и вернуть миру тринадцать

песен *Рая*, которые без него стали бы добычей плесени и были бы обречены на забвение. С рукописи сделали несколько копий и послали за людьми Кангранде, коим был торжественно передан самый красивый экземпляр, украшенный миниатюрами известного равеннского художника, того самого, чьи иллюстрации были в копии, которую заказывал для правителя Вероны сам Данте.

Джованни и остальные снова и снова перечитывали обретенные песни. В который раз перед ними вставало небо Сатурна с душами созерцателей — Петра Дамиани и Бенедикта Нурсийского, лестница Иакова, они читали о развращенности монахов, о вознесении в сферу звезд, о движении планет; потом поэт оказывался в созвездии Близнецов, влияние которых в момент рождения направило его на путь искусства и науки, затем выдерживал настоящий богословский экзамен: апостолы Петр, Иаков и Иоанн расспрашивали его о сущности веры, надежды и Божественной любви. Ему пришлось нелегко, ведь Беатриче стояла рядом и нужно было не ударить в грязь лицом. К радости Беатриче, ее ученик выдержал испытание, и теперь они могли отправляться выше. Беатриче, Петр, Иаков, Иоанн... Сердце Антонии едва не выскочило из груди, когда она увидела эти имена все вместе: Пьетро, Якопо, Джованни... Она взглянула на лица братьев, пока они читали двадцать четвертую песнь, пытаясь понять, какие чувства вызвали у них эти имена, поняли ли они? Но Пьетро и Якопо сказали лишь, что это те самые святые, которые присутствовали при преображении Христа, и продолжили чтение. Тогда Антония поняла, что лишь она одна осознает до конца смысл этих строк и какой тайный источник подпитывал вдохновение поэта. *«Сестра моя святая! В мольбе твоей такой огонь любви!»* — произносит святой Петр, обращаясь к Беатриче, называя ее сестрой, и в то же время обычно именно так обращаются к монахиням. Петр говорит о вере, а вера — это олицетворение того, на что мы все полагаемся, но что остается незримым. И действительно, Петр, ее Пьетро, именно таков. Послушный мальчик, который никогда не жалуется на судьбу и принимает все как должное, он тверд, он подобен башне, и никаким ветрам ее не разрушить. Он не станет колебаться, вера его крепка, и если у него и возникают какие-то сомнения (может же такое случиться?), он этого ни за что не покажет. А вот Иаков в двадцать пятой песни расспрашивает о надежде. Он ожидает триумфа царства

Христова, надеется на будущее, хоть настоящее еще никак его не предвещает. И Якопо такой же: ему так тяжело дается поиск собственной дороги, но он настойчиво идет вперед, не поддаваясь отчаянию, хотя жизнь постоянно дает поводы для разочарований. Он требует от жизни многого, и, хотя жизнь скупа по отношению к нему, он не сдаётся. Он первым бросается в очередную авантюру, каждое новое дело вызывает в нем живейший интерес, словно он так и остался ребенком: он не перестает надеяться. И этот Якопо спрашивает своего отца о надежде. Иоанн же спрашивает о любви. Джованни... Божественная любовь, любовь вселенская, уважение и милосердие — *charitas-claritas*, любовь-свет.

То Благо, что здесь льется в каждой сфере,
Есть Альфа и Омега книги той,
Где я постиг любовь...

Как странно, что именно Джованни спрашивает отца о любви! *Зажечь любовь — это великое благо* — так говорит поэт в стихах двадцать шестой песни. И если в твоём чувстве нет блага, его нельзя назвать любовью. Ведь благо — это, по сути, Божественная мировая душа, и *все блага, которые не в ней, ее луча всего лишь свет неясный*.

Джованни была дарована земная любовь, но это лишь блеклый отблеск любви вселенской. Ему судьба подарила ту искорку, которая зажигает сердце человека, приближая его к Божественному, к абсолютному. «Со временем он это поймет, — подумала сестра Беатриче. — Брат мой... Возможно, ты прошел лишь половину пути... Этот путь ведет все выше и выше, но когда ты дойдешь до вершины, кто знает, какие еще высоты сможет покорить твое сердце, какая несказанная радость тебе суждена...»

Джованни, Бруно и юный Данте задержались в Равенне гораздо дольше, чем предполагали, поэтому Бруно отправил в Болонью письмо, где сообщал об этом Джильяте и Джентукке. Вечерами они собирались все вместе в доме поэта. Сестра Беатриче не могла себе представить, что ей придется расстаться с мальчиком, который тоже очень хотел, чтобы она поехала с ними.

Меж тем Бруно всерьез задумался о словах Бернара, он подозревал, что Антония тоже могла бы что-то добавить на эту тему. Однажды он спросил, не встречался ли поэт с прибывшими из Иерусалима тамплиерами, однако она ответила, что ей ничего не известно. «Я бы постаралась избежать подобных визитов, — сказала Антония. — Такая встреча могла состояться разве что в тысяча триста первом году, когда Данте находился в Риме у папы. Он никогда не рассказывал, почему ему пришлось задержаться там так надолго, ведь остальных участников посольства папа отослал обратно во Флоренцию, а Данте загостился в Ватикане на целый год. Никто не знает, с кем он встречался в Риме и почему пробыл там так долго. Говорят, что он дал обет, стал послушником ордена францисканцев и даже носил при себе шнурок с узелками, чтобы никогда не забывать о смирении и целомудрии».

Пока Бруно расспрашивал Антонию и думал о храме, Джованни проводил время в общении с сыном, который одиссеевым любопытством был весь в деда. Детям всегда свойственно думать, что отец может ответить на любые вопросы, поэтому Дангино изо всех сил одолевал Джованни своей неиссякаемой жаждой познания. Он хотел поскорее узнать как можно больше ответов на все основные вопросы, которые мать обычно словно не слышала и на которые тетя Антония отвечала весьма пространно и уклончиво. Например, почему он появился на свет именно теперь, а не жил на земле всегда, так ли это было и с Джованни, есть ли такие люди, которые живут вечно, и почему люди умирают, даже если этого не хотят. Вот что его интересовало. Сначала, боясь разочаровать мальчика, Джованни хотел найти какую-нибудь отговорку, но в конце концов сдался и признался, что он и сам не особенно понимает, почему все происходит именно так, а не иначе. Однажды Дангино спросил его о времени: почему после сегодня всегда наступает завтра и ты уже при всем желании не можешь вернуться во вчера, даже если этот день был таким замечательным и ужасно жалко, что его не вернешь. Джованни почесал в затылке, подыскивая, что бы ответить: «Если бы вчера продолжалось вечно, в конце концов стало бы ужасно скучно, ведь вчера кажется тебе таким замечательным именно потому, что его уже не вернешь...» В какой-то момент мальчик заснул, и Джованни

вздыхнул с облегчением. Он на цыпочках вышел из комнаты и постучался к Бруно.

— Я тебя не потревожу? — спросил он, заглядывая в комнату. — Ты занят?

— Да нет, я просто думал.

Перед Бруно лежали страницы последней песни Рая, он пытался расшифровать секретное послание, чтобы понять, куда же мог направиться Бернар. Он уже переписал нужные строки:

Vergine madre, figlia del tuo figlio,
umile e alta più che creatura,

termine fisso d'eterno consiglio,

ché, per tornare alquanto a mia memoria
e per sonare un poco in questi versi,
più si conceperà di tua vittoria.

A l'alta fantasia qui mancò possa,
ma già volgeva il mio disio e'l velle
sì come rota ch'igualmente è mossa.^[62]

Бруно даже успел сложить один девятисложник: *Verpiuglio cheporia ami(s)sa*. Он сказал Джованни, что у него появились новые мысли насчет того, как следует понимать те строки, которые они расшифровали сразу после отъезда Бернара. Он нашел еще один нужный слог в строке из семнадцатой песни *Чистилища*, где *talpe* рифмовалось с *alpe*, то есть одно слово пряталось внутри другого и звучало словно его эхо. Рифма-то и была нужным словом: Альпы то есть высокие и суровые горы, которые прятались в слове «кроты». Учитывая эту звуковую игру, получившуюся строчку можно было бы прочесть таким образом:

Chequeriper(al)pegiachetilapiana
Dedoldoma...

То есть:

Che queri per alp(e) è già chet' ila piana
de dol doma.

Все вместе могло означать:

«Что ищешь ты в горах,
спокойно дремлет в равнине той, обманом
покоренной».

Тогда следующие строки можно тоже разбить на слоги по-
другому, и тогда:

(e)itoio meda
Lapevetrarobadimeso
Qualcosichechiedocheper
Verpiuglio cheporia ami(s)sa

станет:

E ito io meda
lape ve trarò. Badi me' s'ò
qualcos' i' che chiedo, ch'è per saver:
più gli ò che poria amissa.

Что означает:

Когда я в путь отправлюсь, то туда
я понесу (ve traro) заветный камень с Меды
(meda lape).
Смотри-ка лучше (badi me), есть ли что-то там,
что я спрошу, что следует узнать:

я спрятал (*amissa*) тайну очень далеко.

Очевидно, что Великий магистр отнес ковчег в некое секретное место, где он пребывает до сих пор, а место это находится в долине, окруженной суровыми горами. Там он спрятал ковчег под плитой из темного камня с золотистыми прожилками, что добывался в Меде, на Среднем Востоке. Его описал еще Плиний Старший в своей «Естественной истории». Знатоки приписывали этому камню способность творить настоящие чудеса. Так, например, считалось, что он может вернуть утраченное зрение. Слово «*lapis*» — это простонародный вариант от латинского «камень» — такое употребление вполне типично для тосканского диалекта. В конце послания автор обращает внимание читателя на заключительный вопрос: он очень хочет что-то узнать, а не получить, что-то нематериальное... Но что? Это является тайной... «спросить, чтобы узнать», «получить ответ»... Но глагол «*quaerere*» имеет значение не только «спросить», но и «искать», он же встречается и в других строках: *что ищешь ты в горах*. Но возможно, загадка просто намекает нам, что нужно внимательнее присмотреться к этому глаголу, к тому, что сам автор тоже хочет что-то узнать. Но что именно? И у кого? Может быть, он обращается к оракулу?

И тут Джованни почему-то вспомнил песню, которую он слышал в трактире, когда сидел там вместе с Бернардом: «Сколько в Додоне деревьев...» Додона... Это же на северо-западе Греции, в Эпире, именно там находится самый древний оракул бога Зевса.

— *De Dodoma*, — сказал он. — Эти слоги следует читать «*De Dodoma*». Помнишь, что говорил Бернар о сокращениях слогов? Если глухой звук идет рядом со звонким — один из них выпадает. И тогда «*dedoldoma*» становится «*De Dodoma*», то есть в долине Додоны, в Эпире. «Что ищешь ты в горах», то есть на Храмовой горе в Иерусалиме, то отдыхает в долине Додоны, поэтому-то там и стоит глагол «*quaerere*». Здесь он употреблен в значении «искать», но одновременно указывает на то, что в это место часто отправляются за ответом на вопрос. Вспомни: в *Комедии* Данте цифровой код раскрывается как раз на небе Юпитера, а Юпитер — это и есть Зевс, и

именно он представляет собой Божественную справедливость, и именно на его небе Данте встречает Давида...

— Так и есть! — воскликнул Бруно. — В Додоне есть дуб Зевса, под которым собирались жрецы. Они предсказывали будущее, слушая шелест листвы и наблюдая за полетом птиц. Уж не там ли теперь Новый Иерусалим? Это место действительно очень хорошо подходит для секретного убежища ковчега.

И они снова переписали получившиеся стихи:

Ты прячешься в одном, обняв двумя,
Которых ты несешь, и их крылами.
Ты отдыхал на Кипре или в Тире;
Теперь — в пещерах диких, потайных.
Что ищешь ты в горах, давно лежит
В долине у Додоны. И туда
Отправлюсь, понесу заветный камень,
А ты смотри: ответ ты сможешь дать?
Я тайну эту скрыл насколько смог.

Друзья не верили собственным глазам. Они взяли песни, терцины и слоги, на которые указывал числовой код трех самых загадочных отрывков поэмы, и получили строки, которые, несмотря на языковую смесь, были осмысленны и понятны. Вряд ли это простое совпадение! Какова вероятность того, что автор даже не подозревал об этом?

Они совершенно растерялись.

Потом они подумали о Бернаре. Уж он-то, наверное, сразу обо всем догадался. Скорее всего, он уже там, в долине Додоны, под тысячелетним дубом, через который сам Зевс говорил когда-то с древним оракулом.

II

Может быть, все дело было в ржаном хлебе, который он по случаю купил у пекаря на Корфу? Ведь известно, что, когда черствый ржаной хлеб переваривается в желудке, особенно если он изготовлен из злаков, пораженных грибом спорыньи, перед тобой предстают совершенно невероятные видения и реальность становится неотличима от вымысла. А может, всему виной была удивительная природа этих мест, населенных духами и неведомыми, таинственными силами? Здешние земли имеют пугающие названия, которыми заклинали местных духов и призраков подземного царства, дьявольских чудищ, тени ушедших предков. Хотя, вероятно, все объяснялось гораздо проще: он слишком переволновался. Ум его находился в состоянии крайнего возбуждения: за каждым углом ему чудились тайные знаки, в каждом рисунке, в каждой букве он искал какой-то особенный, скрытый смысл. Он и сам не знал почему, но эта поездка стала для него путешествием в загробное царство, подвигом инициации, прикосновением к тем самым основам себя самого, о существовании которых он уже позабыл, судьбоносной встречей с самим собой и с тайной мироздания.

Он смотрел на себя словно со стороны: казалось, будто он персонаж некой книги, который вдруг ни с того ни с сего встретился с собственным автором. Или, еще лучше, персонаж древнего эпоса, из тех историй, что были в библиотеке Ахмеда. Например, один из древнегреческих героев, который после встречи и разговора со случайным прохожим, будь то король или простой пастух, размышляя о словах незнакомца, вдруг улавливает в воздухе аромат какого-то неземного существа и понимает, что встретился с божеством, с таинственным духом, а может быть, и с самим автором, который вмешался в свой рассказ, приняв человеческий облик, чтобы спасти и уберечь героя от злых козней. А может быть, ему явилась сама богиня мудрости, которая способна принять любое обличье; ее-то нетрудно узнать: глаза у нее голубые, а взгляд до того прозрачный, словно смотришь с отвесной скалы на морское дно. Он был во власти

странного, ниспосланного Богом вдохновения, все, что происходило с ним в этих краях, казалось ему наполненным особенным смыслом.

В Керкире он нашел отличного проводника, то был опытный и мудрый моряк по имени Спирос. Бернар захватил с собой сухого хлеба и воды, немного одежды, взял все оставшиеся деньги, флорентийский вексель на десять флоринов, лопату со съемным древком (предполагалось, что он ею воспользуется на поле сражения в Акре, однако тогда она по понятным причинам не пригодилась). На всех парусах он помчался к югу, затем сошел на берег на одном из островков неподалеку от побережья.

— Чтобы попасть вглубь материка, надо идти вверх против течения, — сказал Спирос. — Сначала еще немного пройти на юг, до Киммерийского мыса, — так мы дойдем до устья черной реки. Если бы сейчас было лето, я ни за что не взялся бы тебя сопровождать. В тех местах господствует малярия, местность сильно заболочена, а над болотами кружат тучи кровожадных комаров. Живыми мы бы точно оттуда не выбрались. Люди не хотят селиться на Фанарской равнине, девушки с окрестных холмов не примут ухаживаний даже самого богатого парня, что родом оттуда. А если вдруг какая-то несчастная ответит такому взаимностью, это означает лишь то, что ее семья слишком бедна. Жизнь там — сущий кошмар, на двух новорожденных приходится трое мертвых, даже непонятно, как они еще там не вымерли.

Если бы сейчас было лето, пришлось бы запастись сухим коровьим навозом, чтобы жечь его и отгонять насекомых, но от болот все равно идут ядовитые испарения, а местная вода никуда не годится, так что это бы нас не спасло. Трава у них тоже сплошная отравка, ее используют, чтобы смазывать наконечники стрел, а еще есть дикие бобы: если такие съешь, то увидишь, как у тебя на потолке вверх ногами ходят зайцы, разодетые в одежды епископов. Но на наше счастье, зима уже близко, так что риска почти никакого. Остаются только грязевые оползни, которые вдруг сходят и могут похоронить тебя заживо, а еще полноводные реки, залившие всю равнину, да туман, такой густой, что, спустись он прямо сейчас, ты бы собственной руки не увидел.

Бернар решил, что грек набивает себе цену, надеясь выжать из него побольше. Он не придавал его рассказам особого значения и

согласился на ту сумму, которую тот запросил. В десятых числах ноября море успокоилось, и они отправились в путь. Довольно скоро их лодка поравнялась с побережьем Эпира, они прошли вдоль и повернули налево. Скоро они оказались в бухте, откуда вошли в устье реки, берега которой сплошь поросли тростником. Вокруг стоял такой густой туман, что грозные очертания склонившихся ив казались огромными грифами, что пристроились на вершине скалы, подстерегая добычу.

— Как называется эта река? — спросил Бернар.

— Ахеронт, — ответил его проводник.

Бернар почувствовал, как по коже побежали мурашки.

— Как?

— Ты не ослышался, это Ахеронт, река в царстве мертвых. [\[63\]](#)

— Не знал, что она находится здесь...

— Мы поднимемся вверх по течению, пока не увидим Кокитос; он впадает в Ахеронт недалеко от озера Ахерузия. Там, у подошвы скалистого холма, на заре времен находился древнейший оракул: еще Гомер упоминает его в своей «Одиссее». Под холмом находилась колония Коринфа, который в древние времена назывался Эфира, поэтому и сам холм люди с давних времен привыкли называть именно так. К оракулу стремились со всей Эллады в надежде вновь встретиться с теми, кто покинул этот мир. У холма мы переночуем: я — в лодке, а ты — сам решай. Не хочется ступать на берег, где, как говорят, обитают духи. Я провожу тебя до этого места, дальше ты пойдешь один. Буду ждать тебя двенадцать дней, и, если ты не вернешься, знай, что на тринадцатое утро я отправлюсь в обратный путь.

Бернару показалось, что он вот-вот ступит на порог загробного мира, того самого Аида, о котором до сих пор читал только в книгах. В этом месте сошлись все реки, ведущие в царство мертвых: Ахеронт, Коцит, Флегетон, со дна которого исходило фосфоресцирующее сияние, и Стикс — маленький ручеек, рожденный из капель, стекающих с потолка грота. Бернар тревожился: как примет его эта земля? Вокруг стоял молочно-белый туман, лодка неслышно ползла по реке, в воздухе не чувствовалось ни малейшего ветерка, поэтому их суденышко продвигалось вперед лишь после сильного взмаха весел. Но хуже стало, когда он вдруг услышал глухой рев, раздавшийся из-

под земли, и вслед за ним долгий мучительный плач, который тут же подхватывало гулкое эхо, отчего звук становился совсем невыносимым. Ууууу... Уууууу... Так заливается новорожденный или плакальщица над гробом. Со всех сторон слышалось какое-то бормотание.

— Это огромный бык, — сказал Спирос. — Если верить древней легенде, он заперт в подземной пещере и ревет от жуткой боли. Еще говорят, что это трехголовый Цербер со всех сил дерет свои глотки, лая и воя что есть мочи. Но есть и здравые люди, кто думает, что это всего лишь гул подземных рек, которые впадают в морскую бухту. Лично я в этом уверен. Если подняться повыше, за деревню Глики, можно услышать, как Ахеронт издает точно такие же звуки: в этом месте в него впадают тысячи подземных ручьев, которые появляются, словно по волшебству, то из щели в скале, то попросту из-под придорожной гальки...

Иногда звуки и вправду напоминали жалобный вой трех огромных собак. Так что неудивительно, что это темное и болотистое место стало для древних прообразом загробного царства. Все началось с Гомера: именно сюда, в туманную Киммерию, держал свой путь Одиссей, чтобы встретиться с тенями матери и слепого Тиресия. А уж вслед за Гомером и другие, говоря о подземном царстве, стали описывать эти зловещие места.

— А вот и ворота в Аид! — провозгласил Спирос, указывая на точку, где река словно сжималась, протискиваясь меж двух холмов. — Вон за тем холмом простирается равнина болот и зыбучих песков, там на лодке уже не пройти. В том месте река разделяется на Ахеронт и Коцит. Еще выше к ним присоединяется Пирифлегетон, Огненная река. Сюда Одиссей добрался на корабле. Дальше начинается мертвое ледяное озеро Ахерузия, его еще называют Аорнос, что означает «озеро без птиц»: говорят, что стоит случайной птице пролететь над ним, как она тут же падает замертво, надышавшись ядовитых паров. Я высажу тебя вон там, на холме. Переночуешь где-нибудь, а утром пойдешь пешком через долину, держась слева от Коцита, пока не увидишь старый мост. Перейдешь мост, затем пройдешь по верхней стороне равнины, где весной цветут белые цветы с длинными листьями, так что все луга становятся белого цвета. Именно их и видел Одиссей в загробном царстве, а уж елисейскими полями их прозвали

позже. Аид, бог подземного царства, позволил избранным душам героев и мудрецов проводить на этих лугах сорок дней в году и наслаждаться солнечным светом. Потом ты увидишь высокую гору и пойдешь вдоль нее, пока она не опустится ниже. Обогнешь ее и увидишь проход, что ведет в горы. Будь осторожен: в этих горах много диких зверей и ядовитых змей, встречаются и разбойники. После того как преодолеешь два перевала, ты окажешься в нужной долине. Там ты увидишь вершины Томароса, а внизу долину Додоны. Ты сразу узнаешь ее: там сохранились развалины древнего амфитеатра и руины старой церкви.

Когда они прибыли в Эпир, солнце уже клонилось к закату. Спирос привязал лодку к торчащему из воды столбику, Бернар взял свой узел и сошел на берег. Здесь они попрощались. Бернар пошел по направлению к вершине холма, которая едва виднелась над туманной завесой, и вскоре нашел руины старых стен и кучу камней: то были останки дома или церкви, разрушенной много лет назад. Там он нашел уголок, где еще сохранилась старая крыша, и решил, что здесь можно устроиться на ночлег. С вершины холма было видно, как с одной стороны на огненном небе вечернее солнце садилось в море, с другой — открывался вид на соседнюю равнину: из-за множества испарений она казалась огромным белым озером. Возможно, именно там, за двумя перевалами и несколькими долинами, где возвышался профиль высокой горы, и было то, ради чего он совершил это длинное путешествие. Он поел немного хлеба, а затем решил повнимательнее изучить окрестности.

Между наваленными камнями Бернар с удивлением обнаружил плиту, прислоненную к другой такой же плите: когда-то это был пол. В большую щель между ними можно было разглядеть пустое пространство далеко внизу. Рыцарь нагнулся, чтобы получше рассмотреть, что там такое, затем бросил в расщелину камешек. Прошло несколько секунд, прежде чем он услышал, что камень упал на пол: похоже, под ним находилась уцелевшая комната разрушенного дома. Бернар взял лопату и принялся копать под одной из плит, надеясь приподнять ее и заглянуть внутрь. Когда он освободил плиту от облепившей ее земли, она быстро поползла вниз и потащила за собой камни, на которых держалась. Бернар потерял равновесие и полетел вниз. Какое-то время он лежал оглушенный, с закрытыми глазами.

Когда же он пришел в себя и немного привык к темноте, то понял, что оказался в комнате какого-то большого дома вроде дворца. Он приподнялся: все кости целы. Только голова ужасно болит. Свет проникал в комнату через проделанную щель, и его не хватало.

Вокруг него были стены, петляющие змеей куда-то вдаль: неужто лабиринт? «Если я пойду вперед и буду держаться слева от стены, то не потеряюсь». Но как только он сделал несколько шагов и повернул направо, то оказался перед огромной дверью. Он почувствовал, как по его лицу потекло что-то жидкое и горячее: кровь. Бернар толкнул дверь и вошел в просторное помещение. Кровь продолжала течь и капала на пол, он отер лицо рукавом. Он услышал странный звук, как будто кто-то жадно пил воду. Потом послышался чей-то голос:

— *Еще, еще...*

— Мама, — ответил Бернар, — где ты?

Он не заметил, что в полу была большая дыра, споткнулся и упал, но успел ухватиться за край. Внизу зияла огромная пещера, в которой было темно, как в бочке.

— *Приветствую тебя, Бернар.*

Бернар задумался: он никогда не видел собственной матери, она умерла, когда он был еще слишком мал, чтобы запомнить ее, и тем не менее он не сомневался, что голос принадлежит ей.

— *Я не любила твоего отца и никогда не хотела от него ребенка. Бернар, ты был моей ошибкой. Но когда он вырвал тебя из моих рук и унес, меня охватило отчаяние.*

Да, ему все это было прекрасно известно, хотя никто никогда об этом не говорил. В мире есть вещи, которые не требуют объяснений.

— *Мне не хватало тебя, Бернар...*

— И мне тебя, если бы ты только знала, как мне тебя не хватало...

Он поднялся на ноги. Чтобы выбраться, ему предстояло преодолеть два этажа полуразрушенного здания. Возможно, это заброшенное строение было когда-то...

— *В те годы я была безумно влюблена в одного рыцаря и до смерти боялась его потерять. Тот рыцарь был не слишком хорошим человеком и быстро бросил меня; я любила его и в то же время ненавидела, хотя понимала, что люблю и ненавижу его по одной и той же причине. Тогда я ответила на ухаживания твоего отца, но лишь для того, чтобы вызвать ревность у другого, иначе я сама могла*

умереть от ревности. Я была слишком глупа и, ради того чтобы завоевать возлюбленного, пожертвовала хорошим человеком, твоим отцом, в итоге потеряв и того и другого. Вместо одного я потеряла троих: третьим, самым важным из всех, был ты! Все трое покинули меня, но лишь один...

Из отколовшихся от стены обломков образовалась своего рода лестница, ведущая к краю провала. Бернар попытался подняться по ней, но земля крошилась, точно крупа, и он вновь соскользнул вниз. Он потерял много крови и через несколько секунд снова услышал этот странный звук, словно кто-то пил жадными глотками...

— *Когда твой отец обо всем узнал, он даже не стал меня слушать. Он сразу уехал и забрал тебя с собой... Я не любила его, но умоляла остаться, я очень боялась...*

На глаза навернулись слезы: откуда в его расколотой голове вдруг всплыла эта история, так похожая на его собственную?

— *Я получила все, чего хотела, но все вышло совсем не так, как я себе представляла. Через год мой возлюбленный вернулся ко мне, ревность пожирала его со страшной силой, однако он никому не раскрывал своих мыслей и чувств. Он избил меня, изнасиловал и убил.*

Этого он не знал, откуда ему было знать? Но чей это голос? Может быть, это голос древнего оракула?

— *Он бросил меня захлебываться в собственной крови, это была страшная агония, — казалось, она не кончится никогда...*

Бернар вспомнил, что на поясе у него была привязана лопатка из Акры, он может достать ее, попробовать сделать ступеньки поглубже и подняться вверх.

— *Твой отец уехал, чтобы рана, нанесенная его гордости, поскорей зажила. Он был ни в чем не виноват, ему нечего было искупать, кроме самого факта своего отъезда: ведь он поехал в Святую землю не для того, чтобы погибнуть за веру, как рассказывал всем вокруг, а для того, чтобы, найти выход своей злости.*

«Да, я уже знаю, „на ненависти ничего не построишь“», — подумал Бернар.

— *Он испытывал ко мне такое сильное отвращение, что взял и тебя с собой, чтобы отомстить мне. Он думал, что лучше умереть, чем жить со мной рядом, он не пожелал даже находиться со мной в одной стране.*

Да, он и это знал, где-то внутри он это понимал, хотя никогда не показывал. Есть такие вещи, которые не обязательно проговаривать словами. Он нащупал рукой квадратный гранитный блок и подумал, что хорошо бы вытащить его и положить на ненадежную лестницу, чтобы не скользить. Он подобрал несколько валяющихся на полу сухих веток и принялся тереть огниво, чтобы разжечь огонь.

— *Бернар, Бернар,* — услышал он за спиной голос отца. Ему даже показалось, что он видит его: из горла старого рыцаря все еще торчала роковая стрела. — *Бернар, как же я заблуждался...*

Ему было трудно говорить с пробитой гортанью, поэтому из его рта раздавался только прерывистый хрип:

— *Ты никогда не сможешь меня простить...*

Наконец в воскресенье, через два дня пути, они прибыли в Болонью вместе с купеческим караваном. Вечерняя месса только началась. Маленький Данте тут же бросился в объятия матери. Бруно обнял Джильяту и Софию, Джованни же держался немного позади, любуюсь издали своей Джентуккой. Ему показалось, что она совсем не изменилась с тех пор, как они виделись в последний раз, а ведь это было так давно... Он не мог подобрать нужных слов, чувства переполняли его, унося за собой, словно стремительный поток горной реки. Однако Джентукка старалась избегать его взгляда и, когда ее сын занялся игрой с маленькой Софией, сразу направилась в сад. Джованни последовал за ней:

— Джентукка...

— Вон отсюда, подлец!

— Джентукка...

— Не приближайся ко мне, немедленно уходи, найди себе комнату, где пожелаешь, я не желаю тебя видеть!

— Прости меня, но я понятия не имел, где ты...

Она подняла с земли несколько камней и бросила один в его сторону. Джованни инстинктивно пригнулся и избежал удара только чудом.

— Джентукка, прошу тебя, поверь мне...

Она остановилась и обернулась. Теперь они стояли неподвижно, друг против друга.

— Я, конечно, знаю, что Ланселот — всего лишь герой рыцарского романа и все опасности, которые ему приходится преодолевать ради спасения Джиневры, супруги короля Артура, — обычная сказка для маленьких девочек. Я понимаю, что смерть Тристана от любви — не больше чем сомнительная легенда. Я не говорю, что тебе нужно биться с гигантами или умирать от тоски, потому что меня нет рядом. Но ты мог бы набраться храбрости, чтобы встретиться с твоим братом Филиппо не только ради спасения чести собственной жены, но хотя бы ради наследства собственной матери, от которого ты отказался из трусости. Возможно, и мои родители посмотрели бы на эту ситуацию по-другому, если бы ты приехал и поговорил с ними. Но ты прислал друга...

— Да, ты права...

Он сделал несколько шагов в ее сторону. Он просто умирал от желания ее обнять.

— Только посмей приблизиться ко мне, и я убью тебя! — закричала она.

Джованни остановился. Джентукка засмеялась:

— Вы только посмотрите! Да что ты за человек? Ты боишься даже меня... беззащитной женщины...

— Дай мне объяснить...

И он сделал еще один шаг.

Тогда она с яростью швырнула в него другой камень.

Джованни этого не ожидал: булыжник попал ему прямо в лоб. Он рухнул на землю, чуть было не потеряв сознание.

III

«Ууууу... Ууууу...» — завывал Цербер всю ночь напролет, и ему вторили души умерших... Несколько часов Бернар потратил на то, чтобы выбраться из пещеры оракула. В конце концов ему это удалось. Там, внизу, в лабиринте, он спал тяжело и беспокойно, его неотступно преследовали видения. Когда он оказался на поверхности, на улице было светло и очень холодно. Солнце в этих краях вставало поздно. В пещерах диких, потайных, крутилось у него в голове... Туман над равниной рассеивался. Бернар смотрел то вверх, то по сторонам: вид простирался до самых одиссеевых лугов, и елисейские поля выглядели именно так, как обрисовал их Спирос. Болотистое озеро, над которым никогда не пролетали птицы, и высокое течение Ахеронта были по правую руку от него. Он шел вдоль берега Коцита, направляясь к старому мосту. *Что ищешь ты в горах, давно лежит в долине у Додоны...* «Если я дойду до этого места, я заберусь на заветный камень, что возвращает зрение слепым и давно стал символом провидения и других сверхчеловеческих способностей. Путь этот такой сложный и долгий, что Гомер и Данте называют его дорогой на тот свет. „Все расскажу, что видел в те минуты“» — пришли Бернару на ум стихи *Комедии*, которая словно раскрывала перед ним двери и приглашала войти в таинственный мир. Сказать по правде, белых цветов не было и следа: стоял конец ноября. Наверно, души праведников выходят на свет из подземных жилищ только ранней весной. За мостом простирались необозримые просторы, бесконечные поля, покрытые инеем. Воздух здесь был серым и холодным, как стекло. Бернар был обеспокоен тем, что видел во сне, он вновь и вновь мысленно возвращался к словам отца и силился понять их смысл. «Ты никогда не сможешь простить меня...» Ему казалось, что он стоит на пороге какого-то открытия, что занавес вот-вот распахнется и он увидит мир таким, каков тот есть на самом деле. Но это ощущение длилось лишь долю секунды. Ведь так всегда: стоит только обернуться, как реальность тут же обрушивается на нас своей безысходной мощью, мгновенно стирая следы потустороннего: раз — и все знаки исчезли как не бывало.

Бернар резко обернулся, словно хотел застать врасплох ускользающие видения. И тут он увидел фигуру человека. Почему-то раньше он его не заметил. Это был пастух. Он сидел на камне, на краю дороги. И глаза у него были светло-голубые, почти прозрачные, как море у берегов Корфу. Бернар почувствовал в воздухе какой-то незнакомый запах. Он как ни в чем не бывало подошел к пастуху и спросил у него дорогу. Ведь именно так поступали древние, когда встречали божество: они просто делали вид, что понятия не имеют, кто перед ними. С богами лучше не шутить. Пастуху было на вид лет двадцать. Насчет дороги он повторил Бернару то, что тот и так уже слышал от своего проводника.

— Странные эти места, — произнес Бернар, чтобы завязать разговор, — встретишь вот так кого-то и не знаешь, человек ли то или всего лишь тень из подземного царства...

— Да ладно, это не так уж сложно понять: люди, в отличие от душ и богов, отбрасывают тени.

Бернар заметил, что пастух не отбрасывает тени, но это было вполне нормально в полдень, да еще при таком пасмурном небе. Ведь он и сам не отбрасывал никакой тени. О чем и сказал, но пастух в ответ лишь равнодушно пожал плечами. Живые, мертвые — не все ли равно?

— Тебе предстоит еще полных два дня дороги, — подытожил пастух, — советую найти мула в соседней деревне и одолжить тележку. Раз ты с лопатой, то, верно, намерен что-то откопать, и если ты искатель сокровищ, полагаю, на обратном пути тебе придется нелегко...

Как он догадался? И почему обращался к нему на «ты», если он всего лишь простой пастух, по сути еще мальчишка? Или все же он неведомое голубоглазое божество? Бернару показалось, что его собственная жизнь — лишь малая часть огромного Божественного замысла. Какая роль предназначена ему в этом непостижимом сплетении нитей?

«Быть может, ты нужен лишь для того, чтобы уничтожить последние следы и навсегда попрощаться с тем временем, когда боги еще являлись человеку», — послышалось Бернару. Но пастух даже рта не раскрыл. Бернар поблагодарил его и продолжил свой путь.

Прежде чем проводить Джованни в уже знакомую гостиницу, Бруно наложил повязку.

— Пережди немного, — посоветовал он, — а потом приходи, да купи подарок подороже... Тем временем я попробую поговорить с ней, расскажу, как ты страдал, когда она внезапно исчезла. Не бойся: между вами есть чувства, и они очень сильны. После многочисленных испытаний, что выпали на вашу долю за эти годы, теперь, вот увидишь, все образуется, я в этом совершенно уверен!

Когда Джованни остался один, он снова впал в отчаяние: мог ли он предугадать такой враждебный прием? Ведь он понятия не имел, почему Джентукка исчезла, и был почти уверен, что данное решение исходило от нее. После свадьбы он был целиком и полностью погружен в работу, почти не бывал дома: нужно было расширять круг пациентов. Дни первой влюбленности прошли, Джентукка теперь почти все время проводила дома одна: вряд ли ей нравилось довольствоваться незавидной ролью домохозяйки. Когда она внезапно исчезла, он понял, что его страхи ожили и стали реальностью. Но больше всего его терзала мысль, что он даже никогда не задумывался о ее возможной беременности. Казалось бы, родился у них ребенок — никто бы не удивился. Но его беспокоило то, что он отгонял от себя самую идею отцовства. Он не слишком хорошо знал Джентукку, но это было понятно. А теперь выяснялось, что именно он и себя-то толком не знает. «Да и где гарантии того, что именно я отец этого ребенка?» — мелькнула у него мысль. Возможно, после стольких лет разлуки он имел право усомниться. «Но ведь ребенок так похож на моего отца...» И снова он поймал себя на том, что такое сомнение могло возникнуть лишь у того, кто противится самой идее отцовства. Наверное, этим и объясняется агрессия Джентукки: она интуитивно уловила его настроение и поняла о нем то, чего он и сам не знал. Она почувствовала, что он бежал от ответственности. В этом и заключалась его вина, которую теперь предстояло искупить. Перед женой и перед самим собой.

Бернар заночевал в деревне на склоне горы, откуда открывался вид на перевал, ведущий в долину Додоны. Он нанял мула и узкую двухколесную тележку — с такой животное легко пройдет по горной тропе. Денег уже почти не осталось, так что пришлось оставить в

залог вексель, который хозяин пообещал вернуть на обратном пути. Дорога предстояла долгая и трудная, она то поднималась в горы, то спускалась в долины; кое-где поросла кустарником, — должно быть, в холодное время года здесь почти никого не бывало. Погода совсем испортилась: над головой нависли свинцовые тучи.

Бернар шел целый день, лишь однажды он остановился, чтобы передохнуть. Вечером зарядил дождь, и путник начал искать место для ночлега, поближе к реке, чтобы утолить жажду и напоить мула. Он подумал, что в этих горах много рек — найти питьевую воду, должно быть, не особенно трудно. Он спустился с горы и оказался на поляне, где жил старый отшельник. Старик был совсем седой, волосы доходили ему почти до пояса, а борода была еще длиннее. Бернар спросил, нельзя ли переночевать в его пещере. Рядом протекал ручей, и путник с мулом наконец-то утолили жажду.

— Меня зовут Бернар, — сказал он старику, — я здесь, чтобы разыскать одно место, хранящее великую тайну. Это — святыня, которую сам Господь вручил человеку в начале времен в подтверждение их союза. Сей предмет доставили сюда много лет назад рыцари-крестоносцы. С его помощью человек сможет утвердить на земле единый Закон — Закон Божий.

— Да-да, припоминаю, как они здесь проходили, — ответил старик.

— Но как вы можете это помнить, ведь с тех пор прошло не меньше ста лет?..

— Их было около семидесяти человек. Все они были верхом, в рыцарском облачении, у каждого крест на груди. Это было вскоре после того, как венецианцы оказались в Константинополе. Тогда я был еще юнцом, но прекрасно запомнил этот день.

Бернар молчал. Ему не хотелось обижать старика. Напрашивалось два объяснения: или этому отшельнику должно быть не меньше ста пятидесяти лет, или же он страдает галлюцинациями. Скорее всего, второе.

Бернар и его хозяин устроились на камнях. На ужин старик предложил сырые грибы и горсть бобов, но рыцарь вспомнил рассказ моряка о зайцах, скачущих по потолку, и от бобов благоразумно отказался. Он поел только немного грибов и ржаного хлеба. Пока они

ужинали, он, сам не зная почему, поведал старику свои печальные мысли:

— Когда я оглядываюсь назад, вся моя жизнь кажется мне пустой, словно в ней нет и не было никакого смысла.

— Бессмысленной жизни не бывает, — ответил старик. — Но может статься, что смысл ее нам неизвестен. Пойми такую вещь: сколь бы ты ни был мал, ты тоже часть Вселенной. Ты этого не замечаешь, и в этом твоя главная ошибка. Ты думаешь, что ты и есть хозяин собственной жизни, но ведь ты создан как малая часть огромного целого!

Бернар смущенно огляделся по сторонам, стараясь понять, не притаилось ли за спиной у отшельника какое-нибудь божество. Но он ничего не увидел — только мул стоял у входа в пещеру.

— То, что я сейчас сказал, написал один древний философ, — добавил старик, заметив волнение собеседника. — Не стоит смотреть на себя как на центр мироздания. Ты — лишь малая часть великого замысла, и то же самое касается всех остальных. Мы буквы, которым суждено собраться в огромную книгу, и наша задача — оказаться на своем месте. Кто знает, быть может, я родился как раз для того, чтобы мы с тобой встретились. Завтра у меня день рождения, но я и сам уже забыл, сколько мне лет. Знаю только, что очень много, так много, что я даже считать перестал. Кто знает, возможно, я прожил так долго, чтобы приютить тебя этой ночью. Если бы я умер раньше, пещера давно бы заросла и тебе пришлось бы спать под открытым небом, тебя могли бы растерзать голодные волки — в здешних горах их немало. И тогда ты бы не смог завершить задуманное. Но я все еще жив, поэтому сегодня ты хорошенько отдохнешь, а завтра спокойно продолжишь свой путь в Додону.

— Но откуда вы знаете, что я иду в Додону?

— Я уже говорил про семьдесят рыцарей, а они направлялись именно туда.

Хозяин и гость вошли в грот, мул последовал за ними. Дыхание животного согревало воздух в холодной пещере. Старик закрыл вход в свое жилище камнем, похожим на огромное колесо.

Бернару снилась цветущая равнина, все вокруг было белым. Свет был повсюду, а рядом стоял Ахмед, одетый в сияющее платье, сотканное волшебницей из дальней страны. Он очень спешил, ему

хотелось поскорее показать своему Богу новое открытие, но все же Ахмед успел рассказать Бернару про чудесную ткань.

— Поторопись, друг. Я тебя уже заждался. По правде говоря, я хотел найти рай, где живут христиане, но сбился с дороги. Впрочем, не все ли равно. Бог ведь един. Он знает все языки, ему понятен и арабский, и итальянский, он знает даже язык цветов. Не хочешь взглянуть? — И в подтверждение своих слов он обратился к огромному цветку с острыми и длинными листьями.

— Да, это правда, — ответил цветок на языке запахов.

Он прекрасно понял, чего от него хотят, раскрыл свою чашечку, и оттуда вырвался белый орел. В когтях он нес голову молоденькой девушки. Он взлетел высоко над землей и направился в Палестину. Там он вернул голову хозяйке. Девушка поблагодарила орла, и ее голова снова оказалась на прежнем месте.

— Когда приходит конец времен, всякое зло обратимо, — сказала она и улыбнулась.

Но улыбки ее никто не заметил: голова была повернута назад.

Бернар не знал, куда ему идти, он был ни в чем не уверен и медлил. В небе он разглядел лицо старика-отшельника и окликнул его:

— Как мне найти дорогу?

— Дорогу куда?

— Я не знаю.

— Тогда не важно. Иди прямо, пока не почувствуешь, что настала пора сворачивать.

— И куда я приду?

— Какая самоуверенность! Откуда тебе знать, куда ты идешь, если ты еще не дошел? Когда доберешься до места, тогда и узнаешь.

— А далеко идти?

Старик нахмурился:

— Дело в том, что на этот вопрос нет единого ответа. — Он внимательно огляделся и прошептал Бернару: — Похоже на то, что никто не знает, где кончается эта дорога: куда бы ты ни пришел, она следует дальше.

Бернар открыл глаза. Старик еще не ложился.

— По крайней мере, так говорят те, кто уже прошел свой путь.

Бернар повернулся на другой бок и притворился, что заснул.

Следующим утром Джованни отправился на рынок, чтобы выбрать подарок для Джентукки. Он помнил, как это сложно — угадать, что ей понравится. Когда они жили вместе, каждый раз, преподнося ей очередной подарок, он волновался, как мальчик. Несколько раз он покупал драгоценности, которые стоили солидных денег: ему хотелось показать, как сильно он любит ее, но Джентукка принимала их равнодушно. Иной же раз какая-нибудь безделушка приводила ее в неопишуемый восторг. Бывало и наоборот, здесь не было четкой логики, лишь полная непредсказуемость. Он решил побродить по рынку, повинувшись инстинкту, и присмотреться к товарам. Светило солнце, и на рынке было полно народу. Со всех сторон красовались разноцветные шелка, парча, полотно...

Он остановился перед прилавком, где продавали косметику: здесь были парики, сделанные таким образом, чтобы цвет чуть-чуть выгорал на открытом солнце, сеточки для волос, расшитые золотом, с накладными косами из волос немецких красавиц, кремы из меда и розовой воды, вываренные на медленном огне. Блондинки были в моде, чему немало способствовали местные поэты. Но Джентукка и так была блондинкой. Потом шли парфюмерные лопаточки из дерева и стекла, составы для удаления волос на основе желтого мышьяка и негашеной извести, очищающее молочко для лица, приготовленное из кислого молока и хлебного мякиша. Ему понравилась золотая диадема: простой рисунок из ажурных листьев, не слишком броская, справа небольшой розовый бутон. Но за нее просили слишком много, а Джованни уже давно не работал, так что вынужден был экономно расходовать средства. Ему не хотелось покупать подарок жене на флорины мессера Моне.

Тут к нему подошел торговец из соседней лавки и стал расхваливать свой товар:

— Посмотри, какая красота! Английские и бретонские ткани, цена в два раза меньше, чем на итальянский товар, а по качеству не отличить. Известно ли вам, что многие дельцы из Тосканы уже перебрались в Британию и открыли там производство? Еще недавно англичане продавали только самую грубую шерсть, а теперь... Вы только посмотрите! Итальянцы их всему научили. Видите, они уже и шелк делают. Флорентийцы не случайно отправились в Англию, ведь

теперь они практически вне конкуренции: производят, где дешево, а продают, где дорого...

Джованни поспешил удалиться. У него не было особых иллюзий относительно будущего, как и у его отца. Данте считал, что все как-нибудь устроится. В конце концов, когда пицца закончится, Волчица пожрет саму себя. Это не повод для радости, но и расстраиваться не стоит. Нужно стиснуть зубы и продолжать двигаться вперед. И быть готовым к тому, что вот-вот наступит эпоха невероятной злобы и неподконтрольной агрессии. Когда людям становится совсем невмоготу, они зачастую оказываются опасны для своих соплеменников.

Но Джованни был счастлив, ведь Джентукка нашлась, а вместе с нею и его сын. Пора было приниматься за работу: его отпуск слишком уж затянулся.

— Простите, не вы ли... — услышал Джованни и заметил, что к нему обращается пожилой священник.

— Отец Агостино, аптекарь? Что вы здесь делаете?

— У меня есть секретное поручение, — ответил тот. — Но если вы не спешите, мы можем поговорить. Давайте подойдем к тележке со шербетом...

На краю площади расположился продавец льда. Лед ему поставляли с Апеннинских гор, он пользовался большим спросом, поскольку был нужен для хранения продуктов. Продавец выходил на площадь каждое утро с небольшой деревянной тележкой, на которой стояла свинцовая ванна. Его жена научилась готовить шербеты и бланманже, которые пришлись по вкусу всем жителям города. Джованни взял шербет, а священник — молочный пудинг, и они тихонько пошли по улице. Отец Агостино рассказал ему свои новости. В аббатстве все шло по-прежнему, вот только господин Бинато заболел лихорадкой и в эту самую минуту находится на грани жизни и смерти — вполне возможно, что он подхватил малярию. А падре Фацио заключил соглашение с Феррарой.

Они присели в тени деревьев у небольшого каменного стола, недалеко от церкви.

— Вам удалось что-нибудь разузнать о смерти поэта?

— Ровным счетом ничего нового, — ответил Джованни.

Отец Агостино рассказал, что прибыл в Болонью, чтобы разыскать тех двоих, что рядились под францисканцев, и узнать правду о смерти послушника. Следы одного злоумышленника терялись в Болонье, но о втором, Терино да Пистойе, удалось кое-что разузнать. Скорее всего, он скрывался здесь, в бедном районе близ городских стен. Джованни рассказал, как пытался разыскать негодяя во Флоренции, однако похоже, что проститутка направила его по ложному следу.

— Предполагаю, речь идет об Эстер делла Гаризенда.

— Она вам знакома?

— Конечно, не лично. Но я знаю о ней от одного из братьев. Он известный в городе духовник и обычно не бросает слов на ветер. Как вы понимаете, существует тайна исповеди, священнику не пристало ходить по улицам и трубить о грехах прихожан.

— Значит, проститутки тоже исповедуются?

— Такое случается, но к Эстер это не относится. Поэтому мой друг смог мне все рассказать, не нарушая запретов: у него исповедовалось несколько ее клиентов, и все они говорили о том, что эта женщина весьма своеобразна. Она из тех, кто, скажем так, не испытывает особого призвания к своему ремеслу... и, видимо, именно поэтому она обладает весьма необычной для своей профессии способностью: у нее особый талант влюблять в себя клиентов. Что для других проституток представляет собой только лишние хлопоты.

— Она невероятно красива, — сказал Джованни.

— Здесь дело не в красоте... Мой друг говорил, что когда он слушал исповеди этих людей — естественно, он не назвал мне имен, — то каждый раз складывалось впечатление, что речь идет о совершенно разных женщинах. Она умеет то, чего не могут другие... Я говорю не о том, что она хороша в постели, упаси меня бог (и отец Агостино поцеловал висящее на груди распятие, чтобы отогнать грязные мысли). Я имею в виду, что она относится к клиентам не так, как обычная проститутка: она может поддержать беседу, она выслушивает их, она знает, как вызвать желание, она отдается им, точно по капле, и из-за этого они с ума по ней сходят... Как если бы у нее была тайная цель — влюбить в себя всех мужчин.

Похоже, что каждый раз она переживает какую-то старую историю и хочет отомстить за боль, которую ей пришлось испытать в

далеком прошлом. Она умеет разглядеть слабости каждого, кто к ней приходит. Так было и с этим Терино. Он предложил ей бежать с ним, и Эстер, зная, что скоро он получит хорошие деньги за выполненную работу (возможно, речь шла о нашем преступлении), согласилась на предложение. Однако заказчик, вместо того чтобы расплатиться, попытался убить своего помощника... Тогда Терино примчался к Эстер, но та не захотела иметь с ним дела. Его лицо было обезображено, из обещанных денег ему не досталось ни монеты. «Знать тебя не хочу», — сказала Эстер и выставила его за дверь. Об этом знают все, кто был в трактире в тот вечер, ибо Терино от злости устроил настоящий переполох. Он принялся колотить Эстер, пока один немецкий студент не вмешался и не выкинул его из трактира. Но Терино остался в городе, схоронился где-то на задворках. Мне удалось его выследить. Возможно, у него нет денег, чтобы уехать, или он решил отомстить своей возлюбленной...

Собеседники решили отправиться к Терино вдвоем, они договорились встретиться на следующий день, чтобы обсудить план действий. Этот Терино, обманутый заказчиком преступления и любимой женщиной, теперь мог быть очень опасен. Когда они попрощались, Джованни вернулся на рынок, чтобы купить диадему. Но на прилавке ее уже не было.

IV

Бернар проснулся довольно рано, но старика и след простыл. Он хотел было поздравить его с днем рождения, но тот словно сквозь землю провалился. Бернар даже не смог поблагодарить его за ночлег. Ну да ладно, придется на обратном пути.

Он с грустью потянул мула за повод и двинулся вперед. Он шел до самого вечера. После полудня Бернар добрался до гребня Томароса, чьи вершины уже были покрыты снегами. Затем повернул направо по тропинке, что вилась через лес, и очень скоро увидел долину Додоны, в центре которой возвышался небольшой холм, в его очертаниях смутно угадывались руины древнего театра. Рядом приютились развалины старой церкви, окруженные дубовой рощей: среди этих самых дубов, возможно, и был тот самый Зевсов оракул. И хотя уже близился вечер и пора было начинать поиски места для ночлега, Бернар устремился в долину, нетерпеливо погоняя строптивного мула.

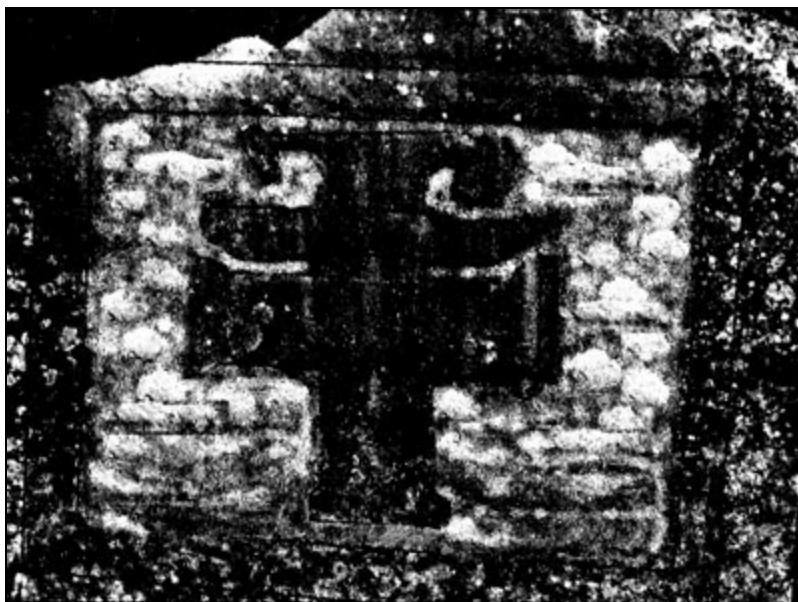
Когда они спускались по узкой тропинке вдоль холма, неожиданно полил дождь. Мул заупрямился и забился под дерево, давая понять, что дальше он не пойдет. Тогда Бернар крепко-накрепко привязал его к дереву и пошел дальше, прихватив лопату.

Когда он спустился в долину, то так промок, что всем своим видом напоминал свежепойманную рыбу в сетях рыбака. Он укрылся в заброшенном храме; крыша церкви давно обвалилась, а вместо пола зеленела трава. Но в глубине храма сохранилась часть алтаря, здесь можно было спрятаться от дождя. Когда он залез под каменную кафедру, которая возвышалась посередине, то почувствовал, что его колотит от холода. Пришлось признать, что мул оказался гораздо умнее. Когда закончился дождь, Бернар вернулся за мулом и тележкой. Проходя мимо дубовой рощи, он преклонил колени и прочел молитву.

Скоро дождь снова зарядил вовсю, но Бернару удалось разместиться в укрытии вместе с мулом. Он принялся разглядывать темный камень с едва видневшимися золотыми прожилками, на котором сидел еще совсем недавно: камень находился у самой стены и сильно ушел в землю, однако он был расположен совсем не так, как другие камни центральной апсиды. «Это и есть заветный камень», —

подумал он. Бернар принялся копать так, словно он и лопата стали единым целым. У него еще оставалось достаточно сил. Копать пришлось не меньше часа.

Через час он увидел нечто похожее на кусок скамьи, на самом же деле это была квадратная плита, большая часть которой все еще оставалась под землей. На ней был изображен греческий крест, верхняя часть которого немного расширялась наподобие греческой буквы «Т». Это был один из символов распятия. Еще одна перекладина посередине буквы наводила на мысль, что здесь когда-то была надпись, однако от нее почти ничего не осталось.



Когда Бернар наконец-то поднял плиту, то понял, что она закрывала собой какую-то полость. Тогда он отодвинул плиту и обнаружил секретную нишу. Внутри ниши находился ларец из черного камня. Ларец был настолько тяжелый, что вытащить его в одиночку не было никакой возможности. Бернар решил, что пора прибегнуть к помощи мула. Он обвязал ящик веревкой и прикрепил ее к седлу несчастного животного, которое выполняло свою работу, безмолвно проклиная покровителя лошадей. Бернар был слишком взволнован, — казалось, нервы вот-вот сдадут. Он прошел такой длинный путь, и вот наконец доказательства того, что все было не зря. Как вдруг он заметил на крышке ларца странные буквы. Буквы были из того же материала, что и сам ларец. Да это же замок! Замок представлял собою квадрат из пяти столбцов, по пять букв в каждом. Бернару не раз приходилось

видеть такую надпись в домах рыцарей Храма, но он никогда не знал, что она означала:

S	A	T	O	R
A	R	E	P	O
T	E	N	E	T
O	P	E	R	A
R	O	T	A	S

Он яростно бросил лопату на землю и в отчаянии поднял руки к небу. Несколько секунд он оставался в таком положении: рот раскрыт, выражение лица совершенно непроницаемо. Потом он забрался в свое укрытие. Мул посмотрел на него большими добрыми глазами. Темнело. Пора было ложиться спать.

Незадолго до заката Джованни и отец Агостино пришли в нищий квартал у самых стен города, чтобы поговорить с Терино. Дом, в котором он скрывался, был построен незаконно: одна из стен являлась одновременно стеной соседнего дома — этот прием активно использовался обитателями кварталов, о которых ходила дурная слава. При такой постройке можно было сэкономить на материалах, хотя закон всячески пытался бороться с находчивыми бедняками. Первый этаж был сложен из камней, скрепленных цементным раствором, второй — деревянный. Терино жил на втором этаже. Это была жалкая лачуга: вместо мебели — заготовки для столярных мастерских, все столы косые да хромы, как видно наскоро сколоченные самим хозяином. По всей видимости, он раздобыл их у соседей с нижнего этажа, которые, в свою очередь, притащили это добро откуда-то еще.

На первый этаж вели каменные ступени, потом шла крутая деревянная лестница вроде той, что бывают на деревенских сеновалах; она доходила до лестничной площадки, опиравшейся на гнилые еловые балки.

Дверь в комнату хозяина была закрыта, но открыть ее ничего не стоило, потому что никаких петель не было: она удерживалась на железных кольцах, приваренных к металлическому стержню, что шел

вдоль деревянной стены. Джованни сжал в руке кинжал и собирался постучать, но сначала приложил ухо к двери. Он был взволнован, его не оставляло ощущение смутной опасности, ведь предстоящий разговор едва ли будет напоминать дружескую беседу.

Из комнаты донесся звук сдвигаемой табуретки. Потом на пол упало что-то тяжелое, и снова все стихло, но через некоторое время раздался длинный стон обрушившихся деревянных балок. Лачуга немного пошатнулась и с диким грохотом рухнула. Джованни и отец Агостино едва успели спрыгнуть на первый этаж и прикрыть голову руками. На них повалились обломки крыши и стены, у которой они только что стояли. Когда все стихло, они с трудом выбрались из-под покореженной мебели и встали. Они стояли посреди огромной груды строительного мусора. Кости у обоих были целы. Вдруг они услышали неподалеку какие-то звуки, напоминающие глухое ворчание. Оно раздавалось из-под обломков крыши, которые заполнили то место, где еще минуту назад стоял дом. Они принялись работать что было сил: под руки попадались комья земли, обломки камня и сухой тростник, которым была постелена крыша. Наконец они откопали своего подозреваемого. Он лежал ничком: на шее была затянута веревка, а балка, к которой она была привязана, упала ему на спину и раскололась. Незадачливый убийца пытался покончить с собой, но его подвели гнилые балки собственного дома. На него было страшно смотреть: все лицо покрыто ожогами, из-за этого шрам на щеке стал еще заметнее. Это была единственная примета, по которой его можно было опознать. Похоже на то, что Терино повредился в рассудке, ибо он постоянно бормотал что-то несвязное. Джованни нашел нечто вроде стола, очистил его от мусора, как вдруг заметил письмо. В письме несостоявшийся самоубийца сообщал Эстер, что собирается проститься с жизнью. Пока Джованни читал, отец Агостино развязывал узел на шее Терино. Было решено отнести его в дом, где остановился священник, привести в чувство, а затем допросить.

— Мой бедный дом, — простонал Терино и успел еще несколько раз обернуться, пока его уносили.

Джованни и его помощник переглянулись. Оба казались разочарованными. Часто зло представляется нам в обличье самого дьявола, и вдруг его воплощением оказывается обычный недотепа, который убивает людей по той же причине, по которой другой печет

лепешки. Единственное, что могло напомнить о злых силах, — это обожженное лицо Терино и глубокий шрам на правой щеке.

Ты прячешься в одном... Один. Альфа. Бернар нажал на четыре буквы «А». Ничего не выходит. *Обнят двумя...* Два ангела, четыре крыла... Или все не то? У серафимов, кажется, шесть крыльев, а у херувимов сколько? «О», «Е», «Т», «R» — всех этих букв здесь по четыре. Или ключ к разгадке таится в букве «Т»? Ведь именно она высечена на камне. *Ответ ты сможешь дать...* Но последней строчки не хватает, и, видимо, она содержит в себе что-то важное. Бернар никак не мог заснуть, найти разгадку не получалось. К тому же ночь выдалась очень холодной. Дождь продолжал поливать, за вершинами холмов виднелись какие-то вспышки, вдалеке раздавался печальный вой — все это не способствовало спокойному сну. Он совсем пал духом: драгоценный ларец был у него в руках, и очень может быть, что в нем находился ковчег Завета или даже, если верить Дану, останки Христа и Марии Магдалины. Ему и самому были известны истории из рыцарских романов: лишь избранный, чистый сердцем человек мог приблизиться к Граалю или другому священному предмету, чем бы он ни был. Но ведь если Бернар проделал столь долгий путь, это тоже не просто так! По дороге он постоянно ощущал Божественное присутствие, Господь тайно и явно посылал ему знаки, и вот он отыскал священную реликвию. Но он не знал, как открыть замок, и спрашивал себя, действительно ли он является тем самым избранным, а если это не так, то каково тогда его собственное предназначение. Бернар не мог отнести себя к чистым сердцем, он испытывал чувство вины, ведь ему приходилось убивать христиан во время частых войн между итальянскими государствами, а может быть, он осквернил себя грязными мыслями в ночь, проведенную с Эстер. К тому же потом он думал о ней еще целую неделю. Но ведь он согрешил в мыслях, а не в поступках. Бернар встал на колени и покаялся за эту ночь. Потом он помолился за отца, за мать и за себя самого, испрашивая прощения для всех. Он помолился и о том, чтобы Господь позволил ему оказаться тем избранным, который проникнет в священную тайну, пусть даже он этого недостоин... Чтобы он явился тем самым сосудом, которому суждено оказаться хранителем Божьей славы. И теперь он ждал внезапного озарения, интуитивного

проблеска, того мига, когда он вдруг прозреет и сможет разгадать нужную комбинацию букв, которая позволит победить сложный механизм и сдвинуть тяжелую крышку ларца. Он смежил веки. «Когда я открою глаза, пусть первое, что я увижу, будет являть собой волю Господню». Немного погодя он открыл глаза и тут же увидел свою лопату. Тогда он понял, что следует сделать: он удлинил ручку, крепко сжал в руках черенок, замахнулся что есть силы и глубоко вздохнул. Сейчас он разбежится, ударит по каменной крышке, разобьет ее и узнает, что же внутри. Он уже замахнулся лопатой, но все еще медлил нанести удар.

И в это самое мгновение в дуб, что рос недалеко от церкви, ударила молния. Бернар так и остался стоять, выпрямившись во весь рост и насквозь промокший, подобно кипарису, по стволу которого прокатился сильнейший разряд, посланный самими богами. Точно его озарила мощнейшая вспышка той самой энергии, что движет звезды и светила.

Прошла всего лишь секунда. Но в этот миг время остановилось.

Потом он пытался вспомнить, что это было, и ему казалось, что прошлое, настоящее и будущее перемешались и явились ему одновременно. Прошлое было будущим, будущее казалось прошлым, а вместе они были единственным мигом здесь и сейчас, и миг этот длился целую вечность. Он увидел момент своего рождения и час кончины, миг ранения во время сражения при Акре, когда в глазах потемнело и море исчезло из виду, заботливые руки Ахмеда, битвы за итальянцев, свою тележку, груженную тяжелым ларцом, и старого друга Дана на пирсе Корфу... Все эти мгновения его жизни не имели конца и начала, они сосуществовали, они были навсегда.

Он сразу все понял, и перед его глазами прошла вся история человечества. Он увидел, как расступается Красное море, как Моисей поднимается на Синай, как взметнулся плащ Цезаря и император упал под статуей Помпея. И три креста на Голгофе, и пророка Мохаммеда, и Карла Великого, и орла на знаменах Аквисграна.^[64] Он увидел три корабля, что плыли по бескрайнему морю-океану, повторяя путь Одиссея: вон, за Геркулесовы столбы... Он видел дона Кристобаля,^[65] целующего новую землю, и Данте на горе *Чистилища*, посреди моря Тьмы, мечтающего об ее открытии... Он увидел, как Европа разделилась на нации и умылась их кровью, и голову последнего

Капетинга в руке палача, и папу, осажденного в Ватикане, и яростные сражения у Рейна, и смертоносные орудия, косившие солдат сотнями в окопах Вердена. Он видел двух огромных орлов, набросившихся друг на друга: один из них вернется в Европу из нового мира и воплотит собою закон «E Pluribus unum»,^[66] другой же, наследник древнейшей империи, будет восседать на четырехконечной вертушке, косящей всех подряд своими серпами. Бернару показалось, что он услышал, как орел прошипел: «Убивай непохожее, убивай непохожее...»

Потом все снова смешалось, и Бернар увидел далекое будущее, Европу, в которой наступил мир и сердца немцев и французов забили в унисон, как о том мечтали Карл Великий и Данте. Новый мир зажил единой жизнью, и в этом мире Христос и Мохаммед шли рука об руку. Затем снова разразилась чудовищная война, но зло поглотило самого себя и исчезло, и наконец для народа Писания настал мир, наступила эпоха Света, и людям открылся Божественный закон...

Бернар увидел это и многое другое, и его видения принадлежали вечности. Теперь он понял, что ничего не происходит здесь и сейчас, все сосуществует... История похожа на огромную книгу, страницы которой можно переставить, но каждая строка является частичкой целого и в каждый отдельный миг содержит в себе весь текст.

Бернар растянулся на мокрой траве, рядом с огромным ларцом. В минуту прозрения он ясно видел, как погрузит его на тележку и повезет. Теперь он знал, что это и есть его предназначение: закрыть дверь в тот мир, где человек еще мог общаться с богами.

— Ничего я не крал, никого я не убивал, — неустанно твердил Терино.

Луч солнца проникал сверху сквозь слуховое окошко и резко освещал его изуродованное лицо, тогда как тело оставалось в тени. Джованни стоял у стула, к которому был привязан подозреваемый. Отец Агостино сидел за столом прямо перед ним. Терино явно не нравился этот яркий свет.

— Чего вам от меня нужно? Оставьте меня! Я хочу умереть!

Его противники невольно рассмеялись.

— Скажи нам правду, а потом можешь выбирать любую из балок на этом потолке, они, безусловно, попрочнее тех, что в твоём доме. У тебя было столько времени, и как тебя только угораздило найти такой неподходящий момент для самоубийства?

Отец Агостино уже терял терпение. Поначалу он хотел решить дело мирно, но Терино все отпирался, несмотря на очевидные улики.

— Я сказал вам правду: не крали мы мышьяк...

— А кто тогда? Или это он сам сбежал из лавки и добрался до трапезной? — закричал падре.

Он встал и стукнул кулаком по столу.

— Мы не воровали мышьяк, мы его купили. Аптекаря не было, но там был парень...

— Что?

— Он заломил высоченную цену. Я пытался было поторговаться, но Чекко разволновался и приказал мне поскорее кончать, сказал, что с ним мы сочтемся позже.

Ошарашенный падре присел на стул. «Вот дурень, — повторил он несколько раз и прибавил: — Мир праху его». Теперь он вспомнил, что из лавки пропадал не только мышьяк. Иной раз ему казалось, что содержимое баночек с ароматическими веществами и эфирными маслами заканчивается подозрительно быстро, но он не придавал этому особого значения и закрывал глаза на мелкие пропажи. Его ученик был совершенно неспособен к профессии, а чувства ответственности у него и вовсе не было. Его держали в лавке лишь

потому, что отец Фацио приходился ему дядей. Злые языки поговаривали, что поразительное сходство племянника и дяди указывает на то, что их родственные узы на самом-то деле гораздо ближе. Поэтому отец Агостино не поднимал тему таинственного исчезновения какого-нибудь безвредного масла, а лишь повторял послушнику, что нужно быть очень внимательным и осторожным. Каждый день он говорил ему, к каким полкам не следует прикасаться ни под каким предлогом, и долгое время все обходилось без происшествий. Но когда исчезла целая банка смертоносного яда, он ужасно испугался и устроил послушнику настоящий допрос. Тот все отрицал и повторял, что находился в аптеке весь день и не видел ни одного посетителя. Падре искренне верил, что такой дурачок не способен на преступление, разве что на мелкую кражу. Но этот случай показал, что парень не дурак: у него было чутье дельца и торгаша, он сразу почувствовал, какую важность имеет товар для покупателя.

«Чутье дельца и мозг индюшки, — подумал отец Агостино. — Он сам продал убийцам яд, которым они отравили поэта».

— Однако ты не посмеешь отрицать, что вы отравили Данте, — сказал Джованни.

— Да какое там отравили, — пробурчал Терино.

— Зачем же тогда вы купили мышьяк? Не в косметических же целях.

— Мы хотели его убить, это правда, но у нас ничего не вышло.

— Если у вас не вышло с ядом, вы могли просто заманить его к себе и убить!

— Все сорвалось из-за Чекко! Он слишком разволновался и никак не мог выбрать подходящий момент. Только однажды ему удалось подсыпать немного отравы в бокал с вином, но Данте не выпил ни капли. Мы только и делали, что предлагали тост за тостом да поднимали бокалы: за коммуны Италии, за славу империи, за Европу, за Святого Духа, уже и не знали, кого еще вспомнить... В итоге сами мы страшно опьянели, а бокал Данте так и стоял на прежнем месте, словно обед только начался. Или Данте хитрее самого дьявола, или же он был законченным трезвенником и дал обет не прикасаться к спиртному — попробуй пойми... Мы присоединились к остальным и надеялись, что нам представится удобный случай осуществить

задуманное, но этого не случилось. Наверно, его отравил кто-то еще, или он и вправду умер от малярии. Это все, что я знаю.

«Ну вот и все», — подумал Джованни. Похоже, он ошибся. С другой стороны, у него не было возможности внимательно изучить тело. Причиной обнаруженных симптомов могло оказаться что-то другое. Вся его теория трещала по швам. Выходит, он расследовал преступление, которого не было? И теперь в его руках лишь исполнитель несостоявшегося убийства?

— Зачем было его убивать? — спросил он Терино.

— Мы этого не хотели, но приказание было четким: убить Данте и выкрасть поэму, а за это были обещаны солидные деньги. Поскольку поэт все равно умер, мы попытались убедить заказчика, что это мы убили его: мы зашли в дом Алигьери и выкрали рукопись, потом я отправился к заказчику, передал ему пергамент и потребовал плату. Он набросился на меня и принялся душить, а потом, полумертвого, поджег. Мне чудом удалось выжить, я вовремя очнулся и бросился в колодец. Моему напарнику повезло меньше...

— Кто твой заказчик?

— Я не могу раскрыть его имя. Но я искренне надеюсь, что он вычеркнул меня из списка живых.

Отец Агостино положил голову на стол — он устал и был сбит с толку. «В конце концов, меня это больше не касается, — подумал он. — Послушник хотел меня провести, но в итоге наказал себя сам и заплатил за свое воровство высочайшую цену. Он не стал задаваться вопросом, для чего францисканцам яд, а потом сам же и выпил отравленное вино, предназначавшееся Данте».

Теперь перед ними был исполнитель страшного заказа, исполнитель-неудачник, который толком-то и не знал, как совершить преступление. Все это было настолько абсурдно, что падре стал сомневаться в том, что подобный бред мог зародиться в голове представителя рода человеческого, принадлежностью к которому он так простодушно гордился.

— Джованни, ради бога, уведи его! Давай продолжим завтра, ибо еще одна такая исповедь сведет меня в могилу.

Джованни очень хотелось узнать имя заказчика, но он согласился с падре и развязал Терино, после чего проводил его в келью, временно выполнявшую функции тюрьмы.

— А ужин когда? — слышалось из-за двери, когда Джованни поворачивал ключ, перед тем как удалиться.

После той ночи Бернар поседел, у него отросли волосы и борода, казалось, он вмиг постарел на сто лет. Когда он увидел свое отражение в водах реки, ему показалось, что он видит старого отшельника, который приютил его в пещере на склоне горы. Он уже и не думал о том, чтобы открыть ларец, найденный в фундаменте разрушенной церкви, он просто погрузил его на тележку и отправился в обратный путь. Груз был тяжелый, и мул часто останавливался, Бернар понял, что обратная дорога будет длинной и трудной. Он планировал идти назад тем же путем и останавливаться в тех же местах, но теперь двумя остановками было не обойтись. Первую ночь он думал провести в пещере, он надеялся узнать у старого отшельника, где можно будет остановиться на следующий день. Мул уже выбился из сил, но они все-таки смогли добраться до пещеры засветло.

Знакомое место выглядело совсем иначе, вокруг не было ни малейшего следа человеческого присутствия. Вход был завален камнем и зарос кустами дикой ежевики, словно тут уже много лет никто не появлялся. Бернар испугался. А что, если за тот миг, что он провел в долине, прошла уже сотня лет, пространство и время так изменились, что теперь он вернется совсем в другую эпоху? Но потом он вспомнил, что где-то уже все это видел, и попробовал сосредоточиться.

Он вытащил меч и принялся расчищать вход от кустов. Затем он со всех сил толкнул круглый камень, чтобы мул мог пройти внутрь. Когда Бернар оказался в пещере, он разжег огонь, чтобы осмотреться. Он ожидал увидеть две убогие постели: на одной из них он позавчера провел ночь, на второй должен был находиться скелет хозяина. Так все и было: скелет лежал на кровати со скрещенными на груди руками. Но что все это значило? Казалось, что отшельник лег спать как обычно и умер во сне. Видимо, с того момента прошло уже лет пятьдесят. Если бы он умер недавно, его тело не успело бы истлеть, да и вход в пещеру не зарос бы так сильно.

Так, значит, отшельник не был так стар, как говорил, на самом деле он уже давным-давно умер, но каким-то образом все же оказался живым в своей пещере, когда Бернар проходил рядом? Видимо, старец совершил чудо, чтобы спасти его от встречи со стаей голодных волков.

Или все это бред и пещера вовсе не та? А может, это нелепая шутка безумного старика и он просто положил в свою постель чей-то скелет и высадил у входа дикую ежевику, чтобы пустить о себе славу святого, творящего чудеса?

Но Бернар слишком устал, чтобы продолжать думать на эту тему. Он просто закрыл вход в пещеру, улегся на старую кровать и постарался заснуть. Огонь становился все слабее и вскоре почти угас. Бернар посмотрел на череп: «Так это был ты? Спасибо тебе за все», и он пожелал скелету доброй ночи. Сначала нас нет, и нет ничего, но после смерти наши останки существуют еще долгие годы. Но что такое эти «до» или «после» — всего лишь разные способы материализации в пространстве, одна из возможностей воплотить то, что невозможно измерить.

Бернар крепко запомнил тот миг в долине Додоны, когда он мгновенно прожил всю свою жизнь. Теперь он знал собственную судьбу, и она больше не заботила его. Былая тоска исчезла, исчезли бесконечные муки, связанные с вечным поиском смысла жизни: быстрее, быстрее, всенепременно понять, пока я еще жив, — зачем? Все это растаяло, как первый снег. Осталось лишь спокойствие, огромное, нечеловеческое спокойствие. Он уже не хотел от жизни ничего, кроме того, что было предначертано свыше. Он помнил все, что увидел в миг озарения: свою жизнь и историю всего человечества, но совсем не помнил момента собственной смерти. Он знал, что она будет, но забыл, как именно это случится. «Как странно», — подумал он, но потом решил, что так даже лучше: вряд ли его смерть будет каким-то выдающимся событием. Он попрощался с черепом отшельника, повернулся на другой бок и заснул.

На следующий день Бернар снова отправился в путь той же дорогой, которой пришел. В деревне он отыскал хозяина мула и попросил проводить его до лодки, чтобы забрать потом животное и тележку. Они отправились в путь вдоль реки Коцит, вплоть до ее слияния с Ахеронтом. Через два дня они добрались до места. Спирос ждал его в Эпире, как договорились, они погрузили ларец в лодку и отправились в сторону Корфу. Там Бернар снова увидел Даниеля. Тот уже собирался возвращаться в Апулию, где появились новые торговые дела. Затем ему нужно было заехать в Анкону, а потом вернуться в Болонью.

— Весь путь займет около месяца. Если у тебя есть время, присоединяйся, — предложил он Бернару.

Джованни был разочарован, но потом подумал, что, наверное, так будет лучше. Похоже, что Данте действительно умер от малярии, как и Гвидо Кавальканти, друг, которого он любил и ненавидел одновременно. И пусть даже Джованни расследовал преступление, которого не было, — в результате он обрел гораздо больше: ему удалось отыскать потерянные песни великой поэмы, допросить незадачливого самоубийцу, найти отца, сына, Джентукку, узнать о таинственном послании в поэме Данте... Его-то и предстояло теперь разгадать в первую очередь... Наверное, любое расследование движется именно так. Преступление — это только повод. Даже если ты найдешь убийцу, убитого уже не вернуть и восстановить равновесие невозможно. А что касается справедливости... Справедливость — это гораздо больше, чем обычная месть. Зачем искать виновного, чтобы его наказать? Конечно, наказывать надо, чтобы новые преступления совершались как можно реже. Но не надо думать, что наказание сможет уравновесить причиненное зло. Наказание — это лишь попытка отгородиться от зла, сделать вид, что его не существует вовсе, тогда как на самом деле оно окружает нас повсюду... И вот теперь, когда выяснилось, что никакого преступления и не было, можно ли считать, что расследование окончено? Самым важным было то, что он узнал много нового о самом себе и нашел своего отца. Но теперь предстояло понять, что стояло за этими числами и стихами. Возможно, Данте и вправду был известен закон Божественной справедливости и он знал о том, что за договор заключил Господь с Моисеем, а Христос со своим народом? Ведь что-то же подтолкнуло его написать поэму о человеческой душе и о том, что происходит с ней в загробном мире. Данте твердо верил, что каждый человек воплощает в себе некий конкретный поступок, который тот совершил при жизни, и после смерти душа бесконечно переживает содеянное. Мало того, именно это прижизненное действие приводит душу к гибели или спасению. Поэтому некоторые персонажи в Комедии изображены вечным воплощением собственного греха: так, например, Ванни Фуччи вынужден бесконечно показывать Господу кукиш, а затем превращаться в огромную змею. К этому

сводится его земная жизнь, в которой он часто был преисполнен глубокой досады. Фарината и отец Гвидо Кавальканти, атеисты при жизни, были убеждены, что после смерти их ждет лишь пустота, и посему оказались в аду среди еретиков; а граф Уголино изображен в минуту великой злобы и яростно вгрызается в голову архиепископа Руджери. Паоло и Франческа схвачены в минуту своего грехопадения, они роняют слезы, ибо знают, что их любовь греховна, но ничего не могут поделать. Все запечатлены в решающие моменты своей жизни, в том самом состоянии, что свидетельствует об их главном качестве, — они словно статуи, запечатлевшие собственный грех. Словно любой человеческий поступок может длиться целую вечность, и эта вечность раскрывает нашу внутреннюю сущность. Может быть, эта сущность доступна только взгляду поэта?

Джованни вернулся в келью, где был заперт Терино, и закрыл за собой дверь.

— Скажи мне, на кого ты работаешь, и я отпущу тебя.

— Я не могу этого сделать, ибо поклялся сохранить все в тайне.

— И ты готов хранить тайну, несмотря на то что человек, который тебя нанял, пытался расправиться с тобой и ничего не заплатил?

— Но я же человек слова.

Джованни показал ему золотую монету, а потом вторую и третью.

— Нас нанял один человек, когда-то он был рыцарем, тамплиером.

— Тамплиером?

— Все мои товарищи так или иначе связаны с их орденом. И я сам, и даже Чекко уже работали с ними раньше. Нам не приходилось бывать в Святой земле, но этот человек... он жил там много лет назад. Еще до того, как орден разогнали, мы выполняли всякие грязные поручения от рыцарей, которые не хотели запятнать собственное имя. Ну, например, украсть там что, или убрать неудобного человека, или провезти мелкую контрабанду, припугнуть должников... Мы тоже считались слугами Храма, наше дело было повиноваться.

— И даже убивать?

— Не все ли равно, что нам приказывали? Мы ведь поклялись вечно служить Сатане.

— Но зачем тамплиерам убивать Данте?

— Откуда мне знать, знаю лишь, что нужно было любой ценой помешать ему завершить поэму, а уж в чем была причина... Мы не привыкли задавать вопросы — мы просто выполняли приказы.

Так, значит, тамплиеры. Выходит, он зря доверился Бернару? Ведь его друг, Даниель, тоже был тамплиером... Но что за этим стоит? Данте пытался сохранить секретное послание рыцарей Храма, но те захотели помешать ему, потому что опасались, что их секрет станет всеобщим достоянием? Но если все так, зачем понадобилось Бернару рассказывать мне и Бруно о зашифрованных в поэме стихах? Или он пытался вывести нас на ложный след? А может быть, Бернар и сам ничего толком не знал, он просто хотел расшифровать послание, чтобы найти ковчег? Возможно, его вера пошатнулась и он хотел доказательств? Это кажется самым правдоподобным вариантом, но ведь я могу и заблуждаться, — наверное, первому впечатлению доверять не стоило...

Очевидно, судьба этих вопросов — оставаться без ответов, ибо Джованни уже давно пора было заняться своей новообретенной семьей; продолжать расследование не было ни времени, ни смысла. Скорее всего, все эти таинственные цифры и буквы Бернар просто выдумал, а мы пошли у него на поводу... В любом случае все это не имеет ни малейшего отношения к смерти поэта. Если бы не Бернар, Джованни никогда бы не догадался об этом, разве что случайно... Все мы блуждаем в темном лесу, где истина лишь изредка вспыхивает на бескрайнем небе, крошечными фрагментами, и потому суждения наши до смешного ограничены. Важнейшие события нашей жизни вершатся где-то там, за пределами зримого мира. Есть Тот, кто решает, как повернуть нашу судьбу, именно Он творит жизнь каждого из нас, в то время как мы живем и думаем, будто что-то значим.

Но свой путь в поисках истины Джованни проделал не напрасно, теперь книга собрана целиком: великое произведение, повествующее о том, что открылось поэту о жизни мира и человека в минуту прозрения. В единый миг настоящего Данте увидел целую вечность, и это навсегда изменило его.

Но все желанья, дум моих все бездны,
Как колесо, уж дух Любви кружил —

Тот дух, что с Солнцем движет хоры звездны.

Джованни часто думал об этом; когда он шел куда-то, он все время повторял про себя эти строки. Как много заложено в этих стихах! Поэт говорит о том, что счастье — это гармоничное сосуществование чувства и разума, инстинктивного желания и сознательной воли. Все это — словно единый часовой механизм, который, если каждая деталь на своем месте, начинает отсчет: колесо его крутится и создает ту самую энергию, что управляет планетами; энергию, приводящую в движение все живое, и имя ее — Любовь. Счастье — это предоставить себя во власть великой космической силы и способствовать ее движению, освободиться от своих надуманных желаний, чтобы не препятствовать ему, — словом, подчиниться той самой силе, что движет звезды. Как только поэты могут видеть то, что не дано другим?

Джованни освободил Терино и отдал ему обещанные деньги.

— Во Флоренции есть женщина, способная полюбить тебя, несмотря на бедность и уродство. Ты ее знаешь, это Кекка из Сан-Фреддиано. Ты мог бы использовать эти деньги, чтобы поехать к ней, попросить прощения. Ведь даже ты можешь сделать кого-то счастливым...

— Счастливым... — просипел Терино и нахмурился. — Есть ли глупцы, что еще верят в счастье? Что это такое, кто его видел?

Джованни ответил не раздумывая:

— Счастье — это жить ради другого человека, делать так, чтобы его желания осуществились.

Друзья погрузили ларец на огромную тачку, несколько раз Бернар чуть было не уронил его: колесо было одно-единственное и тачка то и дело теряла равновесие.

— Давай передохнем, — сказал он Даниелю, когда они добрались до порта.

Он очень утомился за время путешествия и присел на каменную скамью, чтобы перевести дух. Даниель махнул рукой в сторону мола, где был пришвартован корабль: до него оставалось совсем чуть-чуть.

Он торопился, но Бернар отлично помнил, что должен присесть именно здесь.

Темнело — в порту не было ни души, рабочие уже отправились по домам. В складках моря притаились жирные чайки, изредка они взлетали, но тут же снова садились на темно-синюю воду.

Он грустно смотрел на волны, а Даниель стоял немного позади.

— Что в ларце? Что-то стоящее? — спросил Даниель.

И тогда Бернар рассказал все с самого начала: о том, как он обнаружил секретный код в поэме Данте и расшифровал его, о том, как ему открылись ад и рай в долине Додоны, и как встретил святого, и как получил подтверждение существования Бога.

— Представляешь, все, что написано в поэме Данте, все это так и есть на самом деле! И вот эта минута, она есть всегда, она существует в вечности.

Но Даниель, видя, как бережно Бернар прижимает к себе ларец, окончательно уверился, что Бернар откопал какие-то сокровища.

— Как думаешь, Данте и был Великим магистром? — спросил Бернар.

В ответ Даниель только рассмеялся.

— Понимаешь, ведь он умер не своей смертью, его кто-то убил, и я начал расследовать это преступление, мне даже удалось найти убийц — это Чекко да Ландзано и Терино да Пистойя, но я никак не могу добраться до личности заказчика этого грязного дела...

— Несчастный глупец, — произнес Даниель прямо у него за спиной.

И тут же Бернар почувствовал страшную боль и увидел, как из его груди, прямо под правым плечом, выходит окровавленное острие меча. Это был меч Даниеля.

«Так вот почему, — еще успело пронестись у него в голове, — вот почему я не помнил собственной смерти. Я думал, что вижу сцену в порту Акры... Как все похоже... И меч, кажется, тот же самый... Бедняга Даниель, как низко ты пал...»

Но тут его мысли остановились, и на него нахлынуло ощущение покоя...

Он испросил прощения за все, что совершил. Море в последний раз отразилось в его глазах и навсегда исчезло.

Даниель подхватил труп под мышки и поволок к дамбе. Там он сбросил его в море. Потом выхватил меч и попытался вскрыть ящик, но ничего не выходило. Тогда Дан в ярости опрокинул тачку — ларец

свалился, крышка отскочила. Оттуда выпали две скрижали, которые упали на каменный пол и раскололись. На черных плитах виднелись золотые буквы неизвестного алфавита.

— Что за черт! — крикнул Даниель и сбросил все в воду.
Затем он с разочарованным видом отправился на корабль.
Меч был испачкан в крови, тачка пуста.

VI

«Христос был распят, и на третий день воскрес из гроба! С тех пор как свершилось это великое чудо, никаких настоящих пророков не было и быть не могло!» — гремел с амвона монах в доминиканской рясе. Главный смысл его проповеди заключался в том, что Божественное может проявлять себя только через Откровение и только в нем заложено все, что положено знать людям о Боге. В священных книгах есть все, что нужно для жизни, а остальное — не больше чем трактовки и комментарии.

Джованни думал над словами монаха, пока возвращался в гостиницу. В какое странное время ему было суждено появиться на свет! Каждый раз, направляясь в гостиницу, он выбирал новый путь. Это помогало выкроить время для размышлений.

Слово стало плотью и кровью, оно воплотилось в человеке, и было распято, и воскресло, и святая Римская церковь, как наследница апостолов, стала единственным хранителем Писания. Здесь нечего добавить. Это и провозглашал с кафедры Пес Господень.^[67] Это ожившее Слово и есть оплот против Тьмы, против злых сил, против сомнений и отрицания. Проповедник был специально послан в Болонью самим папой, который возлагал надежды на то, что огонь речи доминиканца уничтожит злобу еретиков. И тот действительно с большим воодушевлением клеймил францисканцев, чьи проповеди были насквозь пропитаны идеями иоакимитов. Они трубили о том, что минула эра Отца и Сына и грядет эра Святого Духа, и эта последняя принесет миру великое обновление. Она сменит законы Ветхого и Нового Завета, и тогда восторжествует любовь к бедности и наступит время духовной свободы. Властная Церковь Петрова уступит свое место Церкви Иоанновой, которая откажется от ненужного бремени мирской власти, и управлять ею станут кроткие аскеты-бессребреники, — словом, дух свободы, любви и мира победит насилие и устранил самую его возможность. Таким образом, появление Франциска Ассизского стало для них живым воплощением наступления последней эры, предсказанной Иоакимом, — эры Святого Духа, и только он был для них настоящим пророком. Данте, отведа

Франциску место в раю, рядом с пророками, тем самым давал понять, что идеи калабрийского аббата ему не чужды. Доминиканец же ясно говорил, что время пророков прошло и что пытаться давать Божественному Слову какие-то новые трактовки нет никакого смысла, ибо единственное верное Слово — это Евангелие и только оно несет в себе подлинное учение Христа. Случилось все, что должно было случиться, остальное лишь крохи, жалкие заметки на полях Великой Книги.

После мессы Джованни распрощался с отцом Агостино. Падре упрекнул его в том, что он освободил Терино, ведь это — опасный преступник. Но Джованни не видел смысла предавать его суду.

— Под пытками он сознается в чем угодно и в конце концов его все равно казнят. Вполне возможно, что он снова попытается проститься с жизнью, так что администрация коммуны будет избавлена от лишних расходов, — ответил он встревоженному священнику.

— Вам следует покаяться за такие мысли, — ответил тот.

Но Джованни уже испросил прощения у Небес и у великой энергии, что движет все земное.

В какое все-таки удивительное время они живут! Эта эпоха открылась пришествием святого Франциска и закончилась со смертью Данте. Время потрясающего духовного прорыва и вместе с тем постоянных военных стычек. Казалось, что новый папа хочет навсегда покончить с самой идеей того, что человек может сам, без помощи Церкви, общаться с Богом и вступать с ним в какие-то отношения. И именно эта идея читалась на каждой странице творения Данте. Это она породила новые всплески философской мысли, учения Франциска и Бонавентуры, дала силы на строительство великолепных соборов и вдохновила Данте на написание поэмы. Но она же дала жизнь и самым крайним течениям веры, создала невероятные культы, так что иной раз можно было подумать, что любой шарлатан и психопат, страдающий невероятными галлюцинациями, может объявить себя провидцем и начать проповедовать на соборной площади об обновлении и грядущем апокалипсисе. Церковь старалась оградить народ от опасных лжепророков, но, чтобы преуспеть в этом, ей нужно было выступать единственным посредником в общении с вышним миром. Поэтому она говорила — подлинные пророки несли весть о Христе, и после его

воскресения эти пророчества исполнились, а новых уже не будет. Эпоха, о которой повествует Священное Писание, закончилась, и с этого момента все сказанное и написанное о Христе, пришествии или новой эре — лишь достояние литературы.

Джованни казалось, что подобные методы борьбы со злом совершенно не соответствуют его масштабам. Это все равно что отрезать ногу, чтобы избавиться от бородавки. Допустим, таким образом они могли уничтожить катаров и иоахимитов, но вместе с ними погибли бы мысли о вере и святого Франциска, и Данте, и многих других. А ведь таких, как они, уже больше не будет.

Какое там время Святого Духа! Складывалось впечатление, что, борясь со лжеучениями, Церковь тем самым призывает людей стать материалистами и заниматься лишь формальным выполнением навязанных ею же ритуалов. Она словно призывала: займитесь земными делами, а мы позаботимся о Христе и обо всем остальном. Таким образом, Церковь сильно рисковала: заяви кто-нибудь о том, что человек может общаться с Богом без посредничества церковных служек, и он мгновенно приобрел бы множество сторонников, так что вся эта борьба могла обернуться совсем другой стороной. Святые Отцы оказались бы перед непростым выбором: смиренно признать свою ошибку или же устроить бойню, которая привела бы к разрыву между Церковью и людьми, после чего заявлять о собственной богоизбранности стало бы гораздо сложнее.

Но потом Джованни подумал, что дело здесь не только в Церкви. Вокруг зарождался новый мир, и в этом мире люди держались за материальное гораздо сильнее. И дело было отнюдь не в том, что об этом сказали с соборной кафедры. Это было вступление в новую эпоху, которая принадлежала им, людям денег и вещей. Народ устал от разных учений; гвельфов и гибеллинов разогнали, не было больше ни белых, ни черных, ни сторонников Августина, ни желающих трактовать Аристотеля, ни мистиков, ни поборников разума. Везде царил атмосфера покорности и приятия существующего порядка вещей, люди цеплялись за сегодняшний день. Вместо старой привычной аристократии появились настоящие денежные магнаты, после великих открытий минувшего века общество снова застыло и замкнулось в себе. На место открытых для каждого свободных коммун пришли новые виды правления, когда несколько богатых семей из

старой и новой аристократии оккупировали власть в городе, а затем группировались вокруг одного могущественного правителя: формировался культ личности, который постепенно занимал освободившееся от старого режима пространство. Поэты собирались в кружки, но теперь их занимали скорее луга и пастушки, политика больше не находила отражения в их вдохновенных строках. Они разрабатывали мелкие, второстепенные темы, пытаясь заслужить титулы аристократов поэтического слова. Мир становился простым, светским и безразличным ко всему, что касалось духовной сферы: это был мир дельцов — мир, где не осталось места голосу свыше, который говорил бы человеку о вечном.

Наверное, дон Бинато и мессер Моне были правы. Притча о талантах прочитывалась теперь в ином, буквальном смысле. Наверное, они уже давно видели новые горизонты неведомых прежде ценностей, и старых за ними было не разглядеть. Видимо, единство христианского мира было и впрямь всего лишь мифом, — Европе никогда не стать одним целым. И мечте Данте сбыться не суждено. Борьба так и будет продолжаться, эта война не кончится никогда, эгоизм, жажда наживы и выгоды будут продолжать подпитывать себя самих, — это и есть история человечества, ее неизменная суть.

Когда Джованни вернулся в свою гостиницу, трактирщик с хитрой улыбкой сообщил, что наверху его ожидает молодая женщина.

— Она назвалась вашей женой, — сказал он и подмигнул. — Ради такого случая я могу предоставить вам комнату поудобнее. Она как нельзя лучше подходит для тайных свиданий, разница в цене совсем небольшая.

Джованни сразу же уплатил требуемую сумму, которая оказалась гораздо больше, чем он ожидал, и поднялся к себе.

— Прости меня, — сказала Джентукка, едва он появился на пороге.

Она ждала его возвращения, сидя на скромной постели, и теперь, когда он вошел, встала и подошла к нему.

— И ты меня прости! — откликнулся он. — А что это у тебя в руке?

— Вот. — Она разжала руку. На ладони лежал камень, на котором виднелись следы запекшейся крови. — Но это не для того, чтобы снова напасть на тебя. Все дело в том, что мой сын хочет видеть своего отца.

Я много раз рассказывала ему о тебе, о том, как ты благородно повел себя в Равенне... Возьми. — С этими словами она протянула ему камень. — И скажи, был ли ты верен мне все эти годы?

— Конечно, — ответил он не раздумывая. — Эти годы пролетели, как будто прошло всего несколько дней, и все это время я жил так, словно знал, что однажды мы снова встретимся. Я был настолько в этом уверен, точно думал о прошлом, а не о будущем, казалось, все это уже было, где-то там, давным-давно. Наверное, воспоминания о тебе были слишком сильны, и это давало мне надежду. Я даже не знаю, как такое возможно, и это пугало меня. Бывали моменты, когда я чувствовал слабость и увлекался какой-то женщиной, я хотел увидеть в ней тебя, но тут же начинал мысленно обвинять ее в том, что она — не ты. Все эти годы жил в ожидании нашей встречи, и теперь этот день настал, и жизнь моя обрела смысл.

Но пока он произносил эти слова, губы Джентукки оказались настолько близко, что ничего уже было не разобрать. Какое-то мгновение они стояли вот так, оцепеневшие и ни в чем не уверенные, и смотрели друг на друга — настолько близко, что лица расплывались и их было уже не различить, но все же еще слишком далеко. Наконец сомнения развеялись, они бросились в объятия друг друга и почувствовали, что этот поцелуй был предначертан свыше и существовал задолго до них самих: что было суждено — исполнилось, и им показалось, что само время остановилось.

Девяти долгих лет словно не бывало.

И каждое мгновение переживалось ими, будто впервые.

Вскоре Джованни и его жена отправились в Пистойю, чтобы проводить Чечилию и продать дом. Потом они поехали в Лукку, чтобы и там распродать оставшееся семейное имущество. Их не было несколько месяцев, все это время их сын Данте находился в доме у Бруно и Джильяты. Вернувшись, они купили в Болонье новый дом. Джованни и Бруно открыли небольшую больницу, немного напоминавшую арабские: в ней было несколько лежащих коек, на которых больные могли отдыхать после лечения. Таких заведений в Европе было совсем мало. Их больница быстро приобрела в городе хорошую славу, врачи университетского квартала стали завидовать друзьям — им даже объявили бойкот, однако непонятно, кто от этого

выиграл. Постепенно вокруг заведения сформировался круг постоянных клиентов, которые были весьма довольны услугами новой больницы.

Джентукка забеременела и была совершенно уверена, что ждет девочку. Она уже даже придумала ей имя — Антония.

VII

Всю дорогу Эстер провела перед зеркалом: то пудрилась, то поправляла волосы... Плавное покачивание повозки утомило ее сыновей, и они быстро заснули. Вместе с ними в повозке ехали еще две девушки: они были моложе, чем Эстер, и детей у них не было. Они сидели на своих пожитках и тоже смотрелись каждая в свое зеркальце, доставая из дорожных шкатулок то пудру, то румяна. Мужчинам нравились светлые лица с легким жемчужным оттенком, так что они изо всех сил старались добиться нужного эффекта. Между собою они переговаривались полунамеками, так чтобы дети Эстер не могли понять, о чем идет речь. Все трое очень волновались. Еще бы — как резко изменится теперь их жизнь! Они наконец выберутся из этой грязи и перестанут прислуживать всем подряд. Говорят, что вилла, где они будут жить, ни в чем не уступит королевскому дворцу, там даже есть водопровод. Ее владелец невероятно богат, так что на новом месте им будет очень хорошо. Они даже смогут пользоваться всеми благами, что и богатые синьоры-хозяева: есть настоящую дичь, пить дорогое вино, а кроме того, им дают гарантию, что в случае болезни будут приняты все необходимые меры...

— А какой-такой болезни, мама? — спросил младший сын Эстер, который думал, что его мать работает сиделкой.

— Ты можешь заразиться ужасной болезнью, и у тебя раздует живот, — засмеялась одна из девушек.

— Водянкой? — спросил тот, что постарше.

— А что бывает, когда болеешь водянкой? — не унимался младший.

— У тебя в животе заводится зверушка, которая все время скребется и хочет вылезти наружу, — ответила Эстер и принялась его щекотать.

Под вечер они прибыли на виллу. Даниель слез с лошади и открыл дверцы повозки. Он помог им выйти, и они оказались в саду. Виллу окружал большой парк, за ним виднелась крепостная стена, на которой располагались многочисленные посты охраны.

Синьор Бонтура вышел им навстречу, за ним следовало несколько слуг. Он внимательно осмотрел женщин с головы до ног, словно мясник, которому только что принесли с бойни новые туши. Закончив осмотр, хозяин довольно улыбнулся. Он сделал знак, слуга подозвал детей и куда-то увел.

— Отдохните с дороги, — произнес он, и девушек провели в предназначенные для них покои. Слуги принялись разгружать повозку.

— Ну что, Дан, старая кляча, как поживаешь? — спросил синьор Бонтура.

— Доволен товаром? — произнес в свою очередь француз.

— А ты, что с детьми, зачем привез?

— А ты отведай, тогда сам поймешь, чего она стоит.

Бонтура безудержно расхохотался и с силой похлопал Дана по плечу:

— Что будешь делать? Пробудешь у нас какое-то время?

— Мне срочно надо в город: начальство ждет. Есть там одно неотложное дельце, надеюсь, что сегодня же обернусь. Велика мамаше Потта приготовить мне яйца всмятку, конечно, если ты не против со мною отужинать. Сегодня я с удовольствием уступлю тебе тех, что помоложе. Если хочешь, и детей забирай. — И оба они рассмеялись удачной шутке. — В последнее время я так много работал, что заслужил хороший отдых, — сказал Даниель.

Он вдел ногу в стремя и вскочил на лошадь. Бонтура с ним даже не попрощался. Он тут же вернулся в дом, чтобы еще раз осмотреть новый товар.

Слуга проводил Даниеля в кабинет. Рыцарь оказался в большом зале. Мессер Моне ждал его с нетерпением, он, как всегда, сидел за столом, а перед ним лежали счета и деловые бумаги.

— Все прошло отлично, — сказал француз, чтобы прервать молчание. С этими словами он протянул Моне ворох бумаг, на которых были подробно описаны все счета и выручка от продаж. — А мессеру Бонтуре я привез трех таких потаскух, что от одного взгляда на них твой маленький христос тут же воскреснет. То-то будет потеха, настоящий праздник жизни!

Однако мессер Моне его не слушал, по крайней мере, он сделал вид, что не слышал ни слова. Он внимательно разглядывал счета и

делал себе какие-то пометки. Операция была действительно очень удачной, Даниель отлично поработал. Жаль вот только, что ордена больше нет. Пока тамплиеры были в чести, компания его деда и отца проворачивала огромные дела, а потом и он сам смог солидно подзаработать на Крестовых походах. Деньги просто текли рекой. Король Неаполя помог семье Моне занять первое место среди поставщиков крестоносцев. Сначала они снабжали Акру, а затем Кипр. Зерно текло рекой со складов прямехонько на корабли рыцарей Храма, а те, как известно, налогами не облагались. И все это под предлогом снабжения походов. Вырученные деньги плавно перетекали в кредитные кассы. Когда Филипп Красивый Французский собрался объявить о том, что орден будет распущен, а тамплиеры уничтожены, мессер Моне чистосердечно всплакнул. У него были свои люди при французском дворе с тех самых пор, как Филипп IV, выискивая средства для финансирования походов во Фландрию, присвоил себе имущество всех еврейских и итальянских банкиров. Но двое остались — Альбицци да старый лис Мушьятто Францези, они вовремя успели дать королю в долг на весьма выгодных условиях. Совсем не то был король английский: тот всегда брал в долг под гарантии, взамен денег он часто предлагал таможенные льготы на вывоз английской шерсти. Благодаря такому обмену английская шерсть шла во Флоренцию почти даром, зато была дорога в других городах. А вот Филипп мог предложить в качестве залога только свои драгоценности да те сокровища, которые он надеялся вытрясти из закромов тамплиеров. Дни его жертв были уже сочтены.

Тогда Альбицци и Мушьятто решили подсуеетиться: они затеяли переговоры о том, чтобы выкупить все имущество тамплиеров в Италии, до которого могли дотянуться. Акты о продаже были почти готовы, но ростовщики медлили и, когда в 1307 году французские предводители ордена были арестованы, все еще выжидали, чтобы цены упали, так как ходили слухи о том, что имущество тамплиеров будет конфисковано в пользу Церкви. Вслед за тем они подкупили служителей и казначеев ордена и получили все по мизерным ценам, спустя некоторое время снова перепродали все по рыночным ценам, получив баснословные барыши.

Даниель отлично подходил господину Моне для подобных дел, он хорошо работал и имел нужные связи, к тому же и сам неплохо на этом

зарабатывал и поэтому был заинтересован сделать все в лучшем виде. Господин Моне закончил читать отчет: прибыль была огромной. На последней странице были перечислены непредвиденные расходы, которые хозяин еще не оплатил.

— Чекко д'Асколи? Кто такой? — спросил он Даниеля.

— Он не имеет никакого отношения к делам, — ответил тот. — Мы просто дали ему денег, чтобы он помешал распространению *Комедии* Данте, и он неплохо поработал.

Даниель показал рукопись поэмы, которая была украдена из дома поэта. Он положил ее на стол, прямо перед господином Моне, который пристально смотрел на него.

— Остальные деньги пошли на подкуп шлюх. Есть еще кое-что по делу Данте. Как вы и просили, его тихонько убрали, а за ним и исполнителей. Я случайно встретил в Болонье одного человека, который непонятным образом был в курсе всех дел; пришлось от него избавиться.

«Он говорит о Джованни Алигьери, — подумал синьор Моне. — Чертов мальчишка, кто еще это мог быть?»

— Никто не просил тебя убивать Данте, — произнес банкир, — я такого никогда не требовал.

«Лицемер проклятый, — подумал Даниель, — ты велел сделать так, чтобы Данте не смог закончить поэму, а как еще можно помешать поэту писать стихи? Руки ему отрубить? Тогда он сможет диктовать, а желающие записать всегда найдутся. Язык ему вырвать? Некоторые, говорят, и ногами пишут...»

Господин Моне встал, взял рукопись и бросил ее в горящий камин.

— Вам хотя бы удалось помешать ему завершить работу?

— Да, *Рай* не закончен, не хватает последних песней.

Старый банкир подошел к окну и посмотрел на город.

Флоренция была у него как на ладони. Здесь ему был знаком каждый дом, каждая лавочка, каждый склад, что были во владении семьи Моне. Нет, он никогда не приказывал убить Данте. Он всегда был добрым христианином, почитал Церковь. Дела делами, состояние надо приумножать, это еще в Евангелии сказано, но сколько лично он пожертвовал Церкви — и не сосчитать!

Он не хотел этой смерти. Но когда ты влиятельный человек, обычно так все и происходит. Твои слуги, надеясь тебе угодить, зачастую идут гораздо дальше твоих собственных намерений. Если ты один из сильных мира сего — такое случается довольно часто. «Что ж, такова, видно, воля Божья!» — подумал он. Конечно, то, что Данте умолк, Моне было приятно; когда черные гвельфы по его указке выгнали Данте из Флоренции, он уже надеялся, что с поэтом покончено навсегда. Он сделал это не из личных побуждений, а во благо города. Поэт был слишком горяч: когда он участвовал в городском совете, то все время встречал в дела, разобраться в которых было ему не под силу. Он не раз выступал против того, чтобы посылать флорентийские войска на помощь папе... Он не любил войны и высказывал мысли, которые были прекрасны, но очень далеки от действительности; устройство современного общества, проведение деловых операций — ни в том ни в другом он ничего не понимал. «Ведь у Флоренции с папой заключено особое соглашение, нам уже пора взыскивать по кредитам, и отказать папе не так-то просто!.. — думал Моне. — А то, что солдаты гибнут, так ведь это их работа, за это им и платят... В конце концов, Данте легко отделался: изгнание — это ведь все-таки не казнь... Да что он вообще о себе возомнил? Взятся писать эту свою *Комедию*, где... где моя милая, моя обожаемая жена, моя отрада и мое горе... где бедная Биче (он ее называет Беатриче) нисходит из рая, чтобы спасти этого Данте, потому что он потерялся в темном лесу. Бред какой-то, с какой стати ей это делать? Уж не потому ли, что он всюду таскался за ней, пока был молод? Да уж. Но ведь это полная ересь, пусть и похоже на красивую сказку. Ведь в Писании ясно сказано: не возжелай жены ближнего своего: это тяжкий грех! Неужели бы Господь спас поэта, согрешившего против Его заповеди? Нет, это совершенная чепуха».

Но где-то в глубине души Моне подозревал, что Данте написал *Комедию* только для того, чтобы ему отомстить. Он хотел изменить свой жребий, взять реванш за проигранную партию, пусть даже все это было только в воображении. Он передергивал карты пасьянса судьбы. К превеликому сожалению, эта нелепая фантазия имела огромный успех, и мессер Моне никак не мог найти этому объяснение. Поэт и вправду мог победить его. Но что за выигрыш его ждал?

Почему-то люди увлеклись этим сочинением... В чем же причина? Неужто их вдохновила мысль о Божественной справедливости, о том, что добро восторжествует над злом? Насчет этого никаких сомнений быть не может: все мы смертны, так что предоставьте сильным вершить судьбу этого мира и готовьтесь тихонько к переходу в мир иной... Но ведь в поэме Данте есть и другое, куда более опасное утверждение: якобы эта Божественная справедливость может вершиться здесь и сейчас, на земле... Медленно и незаметно она делает свое дело и определяет историю человечества... И когда-нибудь праведники, которые сегодня кажутся побежденными, воспрянут и свершится возмездие, пусть даже мы, живущие ныне, этого и не увидим. Ненависть погибнет вместе с теми, кто ее посеял, любовь же останется...

— Я умру, и все, что я нажил, исчезнет, а его *Комедия* останется...

Моне перекосило от гнева: «Все это ложь! Люди, оглянитесь вокруг: кем творится история? Кто predetermined судьбу этого глупца, кто отправил его в изгнание, кто решил, что ему пора умереть? Господь Бог или я?» Однако потом он неожиданно успокоился и попросил прощения за свои грешные мысли. «Нет, не я велел убить его, это было лишь досадное недоразумение, но такова была воля Твоя, Господи, не я убийца его! Ты, Господь Всемогущий, Ты решил, что он не закончит эту поэму, но все обернулось именно так, как я того страстно желал... И если Данте не закончил свой труд, на то была воля Твоя. Видно, Тебе тоже пришлось не по душе эта *Комедия*... У нас с Тобой схожие вкусы, Господи...»

Он поблагодарил Даниеля за хорошую работу и выдал ему несколько золотых слитков. «Меня будут вспоминать как человека богатого и щедрого. Но кто? Кто вспомнит обо мне? Франческа, моя дочь, — дочь Беатриче? Я слишком плохо с нею обошелся. Я отказался от нее, не пришел даже на свадьбу. Я всю жизнь винил ее в смерти любимой жены, ведь это она своим рождением убила дорогую Биче... Бесчисленные дети от второй жены, которые постоянно дерутся из-за наследства? Или внебрачные чада от многочисленных корыстных любовниц? Нет. Я закажу себе такую гробницу, которая сможет обессмертить мое имя. Потребую поставить ее во францисканской церкви, приглашу маэстро Джотто, и тогда обо мне будет помнить

каждый, кто узрит это чудо. Per omnia saecula hominum — покуда жив человек».

Даниель пришпорил коня и поскакал назад, на загородную виллу Бонтуры. Он мчался во весь опор. Наконец-то с делами покончено. Впереди заслуженный отдых, хорошие деньги и красивые женщины... Забыться... Его работа не так-то проста: приходится разорять целые семьи и даже убивать, порой становится жаль этих людишек. Но особенно задумываться все же не стоит, работа есть работа... Его мысли вернулись к Бернару. Он убил его, как убил бы любого другого, но если копнуть поглубже, то причины этого убийства оказывались куда загадочнее и весомее. Учитывая, что оба исполнителя дела мертвы, старый дурак никогда не смог бы узнать правду. Однако при виде Бернара Даниель чувствовал безотчетную глухую злобу, образ этого человека не покидал его, раздражая все больше и больше, но почему? Ответа не было. Может быть, он не мог вынести этот восторженный взгляд, эту собачью преданность, глаза, полные ожидания...

Даниель помнил, как, вернувшись в Европу, он отчетливо осознал, сколь ложны те идеалы, к которым он так привык с раннего детства. Память сохранила чувство дикой ярости, которая охватила рыцаря, когда он наконец-то во всем разобрался. Однажды он сказал себе: хватит, пора идти вперед, надо забыть прошлое, оставить позади нелепые ошибки юности. Жизнь — это лишь странная хворь, разросшаяся в пустоте бессмысленно огромной Вселенной. В ней есть сильные, которые управляют слабыми, вот и весь секрет. А героизм — это удел глупцов, которые готовы отдать жизнь в бою против несуществующего врага, созданного их же начальниками, чтобы делать деньги и наживаться на смерти таких храбрецов. «Уж лучше быть в стане сильных и самому получать барыши, — подумал он, — воспользоваться тем, что можешь получить, потому что после смерти тебе уже ничего не будет нужно...» Очень может быть, что, убив Бернара, он разделался и с собой прежним, избавился от старых ран, которые все еще кровоточили. По крайней мере, он предпринял такую попытку: кто знает, удалось ли ему убить самого себя?

Добравшись до места, он передал лошадь прислуге и направился в комнату Эстер. Она все еще лежала на кровати, свернувшись

клубком, и отдыхала с дороги.

— Раздевайся!

С этими словами он снял плащ и вытащил меч, положив все на стол недалеко от окна.

Эстер прекрасно знала, как вести себя с этим человеком: его нужно было раззадорить, разжечь. Она поползла по кровати, словно крадущаяся кошка, и, добравшись до нужного места, медленно принялась за работу. В силу своего опыта, она уже давно привыкла к запаху конского пота.

— А-а! — сдавленно простонал Даниель. Это был скорее стон муки, чем наслаждения.

Поначалу она даже обиделась, но когда подняла голову, то увидела, что из груди Даниеля торчит его собственный кинжал, а из раны льется теплая кровь. Дан был мертв.

Терино, повернув к ней изуродованное лицо, с ненавистью вырвал кинжал.

— Не суди меня строго, я всегда любил тебя! — сказал он.

Потом он приставил кинжал к собственному горлу и четким движением перерезал его.

Эстер мгновенно оделась и стала рыться в сумке Даниеля. Найдя золотые слитки, она, перепрятав их в надежное место, быстро спустилась по лестнице в комнату слуг.

— Скорее! — закричала она. — У меня в комнате море крови, поднимайтесь наверх с ведрами, губками и мылом!

Потом она бросилась назад, служанка с полным ведром едва поспевала за ней.

— Живее, живее!

Потом показались и другие слуги, они взяли оба тела и сбросили их в ров, что окружал виллу. Эстер была потрясена. Вид крови вызывал у нее ужас. Бонтуря отпустил ее, чтобы она пришла в себя, поэтому вечер она провела с детьми. Взамен синьор потребовал к себе самую молодую из прибывших женщин.

«Бедный Дан, старый ты пес, — подумал он, — я всегда буду помнить тебя как...»

Но в голову ничего не приходило, и через минуту он уже забыл о нем.

VIII

16 сентября 1327 г.

В конце концов, д'Асколи умер вполне достойно. Его сожгли заживо между Порта-а-Пинти и Порта-алла-Кроче. Он задыхался от дыма — казалось, вот-вот богу душу отдаст, — тем временем пламя жадно пожирало его сочинения у подножия столба и быстро подбиралось к одеждам. Последний жест этого человека поразил всех присутствующих: привязанный к столбу, пылающий, словно факел, он уже превращался в огромную извивающуюся головешку, когда между спазмами удушья что есть силы закричал: «Я это написал, я этому учил, я в это верю!»

Мессеру Моне, наряду с другими именитыми гражданами Флоренции, пришлось присутствовать при этом зрелище, хотя он с куда большим удовольствием провел бы это время у себя дома. Ему совершенно не нравилось, что один из его людей оказался еретиком; в наше время следовало быть осторожнее! Брал бы пример со своего благодетеля! Ему уже однажды удалось вырвать Чекко из рук болонской инквизиции и рекомендовать ко двору Карла Калабрийского, а тот отправил его во Флоренцию вместе с другими врачами из своей свиты. По крайней мере, Чекко принял смерть достойно, чем спас свое имя и отдал должное своему покровителю. На этот раз спасти его не удалось. Подкуп священников стал обходиться слишком дорого, кроме того, в этом не было особого смысла, ведь теперь процессы против ученых велись повсюду, ересь была заразна и распространялась, точно чума. Моне охватило чувство подавленности, от которого замерло дыхание: острая боль в паху, порывистый ветер, которой поднимал дым и запах горелой плоти прямо на балкон, где они восседали... все это было слишком удручающе.

Чекко д'Асколи был одним из самых непримиримых критиков поэмы Данте, ему лучше всех удавалось разрушать порожденные ею мифы, расплзающиеся из старейшего в Европе университетского квартала по всему городу. Жаль, что и он оказался слишком горяч. Может статься, что все деньги, потраченные на то, чтобы вогнать Данте в землю, были потрачены зря. Чекко продолжал во Флоренции

то же учение, за которое его изгнали из Болоньи. Зачем он написал этот проклятый комментарий к Сакробоско?^[68] Наверное, все это было для него важно, раз ради каких-то идей он был готов рисковать собственной жизнью. Это можно понять, но ведь тем самым он провоцировал власти, показывал, что хочет быть на виду, и потому злоба и зависть, которые всегда вились вокруг него, повсюду следовали за ним по пятам. В довершение к прочим бедам, инквизитор, что вел дело, оказался большим поклонником Данте. И это было хуже всего!

Среди пришедших на казнь мессер Моне заметил Якопо Алигьери. Вернулись, черт бы их побрал, и жена, и оба сына Данте, да еще привезли с собой рукопись *Рая*. Это стало для него настоящим ударом. Какой прок от этого Даниеля и всех его злодеяний! Пьетро Алигьери довольно быстро уехал в Болонью, а младший остался с матерью, чтобы вернуть конфискованную собственность и погасить долги отца перед сводным братом. И вот по Флоренции поползла зараза: все принялись читать поэму Данте и уверять друг друга, что он был великим пророком; и снова люди проклинали ненавистную Волчицу... Особенно неприятно было то, что и самому Моне пришлось участвовать в прославлении выдающегося земляка.

Он чувствовал, что задыхается, боли в паху усилились, загадочная болезнь пожирала его. Когда огонь пережег веревки и тело упало, он поспешил поскорее уехать. Подозвал охрану, сел на коня и пустился вскачь. Проезжая перед дворцом приоров, он уже корчился от боли. На площади сидел знакомый поэт — полученная награда его ничуть не изменила. Теперь, когда мессер Моне проезжал мимо, поэт уже не стал петь хвалебных стихов, он громко процитировал строки *Комедии*, где говорилось о Беатриче:

С тех пор как я впервые увидал
Ее лицо здесь, на земле, всечасно
За ней я в песнях следом попевал;

Но ныне я старался бы напрасно
Достигнуть пеньем до ее красот,
Как тот, чье мастерство уже не властно.

«О жестокая, — подумал мессер Моне, — ты обернулась мукой для того, кому должна была стать спасением!..» И он проследовал дальше, не став наказывать зарвавшегося нахала, ибо вокруг было слишком много народу. Пришлось напустить на себя безразличный вид. Но воскресли воспоминания, которые всегда были готовы слететься со всех сторон. Он никак не мог забыть два события: возвращение флорентийских войск с битвы при Кампальдино^[69] и смерть любимой жены, которая покинула его, чтобы стать звездочкой на небесах.

Он был равнодушен к ней с самого начала, желал заполучить ее любой ценой. Едва он увидел ее, сразу сказал отцу: «Я хочу эту женщину, сделай так, чтобы она стала моей». И отец тут же удовлетворил его просьбу. Мессер Моне всегда относился к жене с огромным уважением и делал все возможное, чтобы в их отношениях царил гармония: он очень надеялся на рождение сына, наследника, а Аристотель учил, что тот, кто хочет иметь сына, должен поддерживать в доме гармонию, любить и уважать жену, делать так, чтобы женщина не тяготела к одной из сторон своей натуры, но сочетала в себе все свои стремления в равной мере.

В первые годы их брака Моне часто ездил с отцом во Францию: ему нужно было набраться опыта в делах и при дворе. Когда он возвращался домой, то находил жену грустной, с вечно недовольным выражением лица, она скучала, и он не понимал отчего. Они купались в золоте, его принимали со всеми почестями при дворах европейских королей, она же жила в богатом доме, окруженная прислугой. Однако она продолжала уклоняться от неуклюжих знаков внимания с его стороны, от всех попыток поговорить, а когда он хотел уединиться с ней в спальне, подыскивала любые предлоги, чтобы избавиться от него, оправдываясь то постом, то плохим самочувствием, — одним словом, она постоянно избегала его. А он не мог взять ее силой, поскольку считалось, что если брать женщину силой, а не по любви, то родятся только девочки. Сначала он не придавал этому особого значения, не понимал, почему она его отвергает. По крайней мере, до тех пор, пока не пришел год той самой битвы. Флорентийцы, под командованием Корсо Донати, тогда победили... Это был счастливейший год для республики, но не для него. Когда конница под предводительством самого Донати шла по улице Святой Репараты, он

и Биче находились на балконе для знатных горожан. В процессии участвовал и Данте, на лице у него была повязка, шлем он держал в руке, волосы развевались по ветру. Он стал оглядываться, в толпе он искал ее! Она же, трепещущая от волнения, тоже искала его отчаянным взглядом среди множества всадников и вздохнула с облегчением, когда поняла, что он жив. Потом Беатриче посмотрела на мужа, который молча наблюдал за ней; лицо его омрачилось, кто знает, о чем он думал. Она отвела взгляд и больше уже не смотрела в толпу. С этого момента мессер Моне и возненавидел Данте. Его отношение к жене тоже изменилось к худшему.

Ужасная боль пронзила низ живота. Он оторвался от свиты и помчался галопом в сторону виллы, что есть силы прищипывая коня. Он миновал старый мост, промчался по дорожке сада и спешил только у входной двери. Затем он прошел через главный зал и вдруг, споткнувшись, упал прямо на огромный ковер, что был постлан перед парадной лестницей. Сердце его бешено забилося. Он поднялся и, войдя в комнату для гостей, присел за стол. На столе лежала записка от Эстер. Она писала, что уходит навсегда, потому что хочет начать новую жизнь. Дети ее уже выросли, и здесь ей больше нечего делать. Чтобы отвлечься от боли, он попытался представить ее обнаженной. Но вместо этого накатывали совсем другие воспоминания, и они были не так приятны. Его возлюбленная жена не могла или не хотела спасти его, как спасла Данте...

Он подозвал Гуччо, самого верного из слуг, и попросил проводить его наверх, в спальню. Гуччо помог ему улечься в постель, положил под нос губку, пропитанную настойкой на основе опиума, белены и мандрагоры, а затем по собственной инициативе отправился за священником. Синьор Моне был близок к обмороку, но затем представил собственные похороны и приободрился: за его гробом идет весь город, все серьезные, лица выражают уважение, подобающее такому событию... Но потом он увидел и другие лица, смеющиеся, торжествующие. Да, он разорил многих людей, но его вины здесь нет: всегда кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Он только исполнил свой долг: удвоил капитал, доставшийся ему от отца, — его собственные дела шли даже лучше, чем у того, хотя бывали и трудные времена, когда он вынужден был действовать смелее и отбросить предрассудки...

Господин Моне пожелал умереть в одиночестве. Он приказал Гуччо не ходить в соседнее здание, где проживала его вторая жена. В свое время она не захотела поселиться там, где повсюду витал призрак соперницы, и он стал прибежищем для его любовниц. В спальне все еще стояла та самая кровать, на которой драгоценная Биче умерла при родах... У нее родилась девочка, по-другому и быть не могло, — все его хлопоты оказались напрасны. Она знать ничего не хотела, упрямылась как ослица, а все из-за этого Алигьери...

В тот вечер Моне встал на колени и принялся молиться. Время настало. После серьезных физических упражнений и диеты из хорошего хлеба и отличного вина, жаркого из дичи и телятины, после долгого воздержания, чтобы семя стало горячим и сильным, — одним словом, после выполнения всех рекомендаций лучших врачей настало время зачать наследника... Наконец-то все было готово. С помощью лекаря мессер Моне высчитал день, когда из матки прекращаются все выделения и женщина готова к зачатию. Но Биче вновь увилывала. Тогда он сильно разозлился, ведь дальше оттягивать было уже нельзя, и ударил ее по лицу. Но тут же извинился: она не должна противиться ему, коль скоро он хочет наследника. Она лежала не шевелясь, в глазах стояли слезы. Он обнял ее, поцеловал, и она перестала сопротивляться, покорно легла на правый бок, чтобы семя попало в нужную сторону. Он соблюдал все предписания Гиппократ и Галена, потому что слепо верил в науку. Он не сомневался, что если бы его жена не затаила обиду за навязанную близость, то родился бы мальчик. Но все пошло не так, как он планировал, и родилась Франческа. «Проклятые женщины, когда они ведут против тебя войну, они словно дьяволы в юбках».

Он много раз думал о том, что сердце его жены находится в плену греховной страсти. А вот он всегда был добрым христианином, раздавал милостыню и много чего еще. Конечно, дела всегда были на первом месте, а уж потом подаяние. Он не раз вспоминал об этом странном разговоре с Джованни, внебрачным сыном Алигьери. «Деньги — это кровь, которая питает организм, — сказал он тогда, — а кровь должна циркулировать». Ему понравилось это сравнение. Ведь это он был сердцем гигантского организма, это он накачивал кровью тело человечества. А то, что большинство людей в Италии, да и в Европе, нищие — так он здесь ни при чем. Разве это его вина, что

политика строится на взятках и нет ничего проще, чем подкупить власть имущего, которому *дороги* лишь собственные интересы. Это касалось и самого Данте, с его тьяканьем во время городских советов. Но ему, говоря по правде, ни разу не предлагали взятку... Почему-то все были уверены, что этот человек из той породы странных глупцов, которые способны отказаться от денег. Так что достаточно было платить проверенным людям, поэтому Данте всегда оставался в меньшинстве. В итоге господин Моне и черные гвельфы взяли ситуацию под контроль, они действовали решительно и согласованно, и к ним присоединился Корсо Донати. Их лозунгом было: меньше слов — больше дел. В конце концов, самые важные решения всегда принимаются теми, кто не показывается на сцене: зачем играть в демократию? Всякое правительство в основе своей — это Олигархия...

Действие успокоительного кончалось, боли возобновились. А воспоминания все не отступали. Казалось, этот ужасный день остался навсегда запечатленным в этих стенах: Моне все еще слышались предсмертные крики жены, это ужасное отчаянное «не-е-ет!», которое вырвалось у нее, когда она поняла, что происходит. Он хотел навсегда стереть эту минуту из памяти, забыться, умереть во сне, но мысли не оставляли его, и это было еще страшнее, чем продвижение собственной смерти.

Хирург и повивальная бабка показались в дверях: вот и они. Биче лежит в своей постели, она страдает от непрерывной боли, пора начинать. Повитуха осматривает матку: «Таз узкий, матке тесно...» — «Да, роды будут тяжелые, — бормочет врач, — надо смочить ее маслом из белых лилий и отваром пажитника». Он смазывает ей живот, потом натирает поясницу. Биче лежит на кровати на горе подушек, голова откинута, колени согнуты, спина неестественно выгнулась назад, повитуха стоит на коленях. Проходят часы мучительных схваток, а маленький лев все не желает появляться на свет. Ночь бесконечных страданий. Хирург и Моне отошли в угол комнаты, чтобы Биче ни о чем не догадалась. «Ребенок погибнет, — заключает врач. Он говорит очень тихо. — Я ничем не могу ей помочь».

«Мой львенок умрет некрещеным, он навсегда останется в лимбе...»

— Разве вот только...

— Только — что?

— Разве только попробовать древний метод, который упоминает Плиний в «Естественной истории»...

— Сечение?

— Кесарево сечение, можно попробовать. Спасем ребенка, но мать может погибнуть.

И что ему было делать? Потерять душу, чтобы спасти тело? Отправить своего наследника в лимб, чтобы он пропал там вместе с язычниками и неверными? Мессер Моне всегда был добрым христианином, а теперь его мальчик никогда не увидит радостей рая? А может быть, сыграла роль его ненависть к Данте, которую ему так долго приходилось скрывать... Иной раз зло застаёт тебя врасплох, оно вырывается из тебя прежде, чем успеешь спохватиться, и ты яростно ищешь доводы, чтобы его оправдать.

— Продолжайте, — сказал он врачу, — спасите эту невинную душу...

И вот врач начинает готовиться к операции, все в том же углу, чтобы не напугать женщину. Он раскладывает инструменты: острую бритву с круглой головкой, похожую на те, что используют цирюльники, иглу, вощеную нить, тончайшую ткань. Затем он идет колдовать над отваром, пока повитуха подкладывает под роженицу пеленки. Врач берет ее за руку, пробует пульс: ровный. Он, ее собственный муж, встает в изголовье кровати и крепко держит ее за руки, повитуха фиксирует бедра. Губка с усыпляющим опиумом наготове. Врач щупает живот, чтобы понять, где нужное место, он выбирает слева, прикидывает, как лучше сделать, разрез должен быть примерно в четыре пальца, между боком и пупком, он делает неглубокий надрез.

— Не-е-е-ет! — раздается душераздирающий крик.

Биче все поняла, хотя ее голова откинута назад. Моне прижимает губку к ее лицу. Хирург вонзает лезвие, надрезает матку и вытаскивает ребенка, он весь в крови. Повитуха смачивает марлю в отваре и пытается остановить сильное кровотечение. Даже сам господин Моне смертельно напуган при виде такого количества крови.

«Это скорее дурная кровь, чем хорошая, — говорит ему ученый доктор. — Когда у женщин месячные, они могут потерять целое ведро крови, так что не стоит так пугаться». Когда ребенка вытащили, матка

роженицы сжалась, и теперь из разреза торчали кишки. Повитуха принялась заталкивать их назад, а врач уже зашивал брюшную полость.

«Мне часто приходилось видеть раненых после сражения или жестокой драки, — произнес он тоном человека, который многое повидал. — Иной раз я видел огромные раны, это тебе не прорезь с ладонь, иногда приходилось подставлять таз, чтобы собрать кишки. Как только выживали эти несчастные?»

Тем временем Моне обмыл ребенка и оцепенел от ужаса: девочка! Он совершенно ничего не почувствовал, вот что странно. Он лишь мысленно поклялся отомстить, ибо не сомневался, кто здесь всему виной. Наука есть наука: все из-за этого поэта, который напустил в сердце жены любовную заразу. Теперь он поплатится за все!

Он совершенно не представлял, что делать с ребенком, девочка казалась ему живым доказательством порочной страсти его жены. Так уж сложилось в жизни мессера Моне: он никогда не убивал собственными руками, но всякий раз, когда он испытывал ненависть к кому-то, этот человек так или иначе погибал... И лишь одна вещь, которую он страстно ненавидел, избегла его мести: чертова книга! Ей суждено было пережить его!

Вскоре Гуччо вернулся, и вместе с ним священник в черно-белом одеянии, доминиканец, охотничий пес Христа... *Но близок Пес, пред кем издохнет Волк.* Священник что-то поднес к его губам, Моне закашлялся: ему не хватало воздуха... Что это было? Он увидел, что доминиканец готовит причастие, и протянул руку, чтобы оттолкнуть его, но вместо этого вдруг изо всех сил ухватил монаха за горло. В тот же миг Моне почувствовал страшную боль, какой он еще никогда не испытывал. Он схватил священника другой рукой, притянул к себе, словно хотел утащить его за собой, в подземный мир, или, наоборот, удержаться на земле, ухватившись за живого человека. Священник потерял равновесие и упал на кровать. Так, в объятиях доминиканца, скончался мессер Моне. Лучшего конца он вряд ли мог пожелать. Для тех, кто может прочесть между строк, в этой сцене должно быть нечто символичное: господин Моне всегда был хорошим христианином — он не пропускал мессу, раздавал милостыню. Он покровительствовал Церкви и умер в ее объятиях. Его похоронили в церкви ордена,

расписанной самим Джотто. Именно здесь, где со стен смотрят фрески, рассказывающие о жизни святого и неимущего, обрели вечный покой самые богатые банкиры города.

Прими Господь его душу!

IX

Равенна, 13 сентября 1350 г.

Антония медленно открыла дверь. Ее нога не переступала этот порог уже несколько месяцев: каждый раз, когда она возвращалась, ей казалось, что пыль — это единственный свидетель того, что время имеет какую-то власть и в этих стенах. После ее смерти дом отца и прочее имущество отойдут монастырю. Она увидела оливковое дерево, — казалось, оно немного постарело. О нем никто не заботился, и все же ему удалось выстоять под напором времени. Ствол стал почти вдвое толще, за эти годы и сам вид дерева изменился: оно стало солиднее, ветви распрямились, словно для него настала пора зрелости, теперь оно уже не выглядело, словно актер, извивающийся на сцене, повествуя о чужой боли. Хотя каждая олива говорит об этом, протягивая к нам свои ветви: «Милая, если старость твоя проходит спокойно, если она не отягощена множеством недугов, считай, тебе повезло...»

Пережить великую чуму, оставаясь в собственном доме, — это было поистине чудом. Антония ухаживала за больными и умирающими, которых покинули все, даже собственные родные. Все боялись заразиться. Одни умирали спокойно, у нее на руках, другие боялись смерти: в их взглядах читался ужас; третьи сопротивлялись до последнего вздоха... А вот она, которая не отходила от больных ни на шаг, кто знает, каким чудом, выжила... Она постоянно молилась — только это она и делала, — молилась за тех, у кого не хватало времени, за тех, кто не умеет молиться...

Она наклонилась, чтобы поднять пакет, — кто-то просунул его в дверную щель, пока дом был заперт. Письмо было от Джованни, отправлено из Абрुцци. За два года он ни разу ей не написал, поэтому ее сердце радостно забило. Антония принялась разворачивать свиток, как вдруг замешкалась, страх закрался ей в душу. В тех краях чума не пощадила многих, говорят, от нее погиб каждый второй. Выдержит ли она еще одно печальное известие? Дурные новости то и дело приходили из Флоренции — там чума унесла жизнь ее любимого брата Якопо, черная смерть грубо оборвала его дни, полные надежд и

волнений. Он жил с одной женщиной, у них родилось двое сыновей, потом вдруг решил жениться на другой, она родила ему дочь, но, получив приданое, он так и не женился на ней. Теперь, когда с него спросу уже не было, ей постоянно приходили письма от адвоката матери и братьев невесты Якопо, которые возбудили дело против его наследников. Но Пьетро должен был все уладить. «Бедный Якопо, мой возлюбленный брат! Он всегда был таким: надо бы сказать об этом судьям, он так и продолжал искать своего ангела, свою Джемму-Беатриче, ему всегда чего-то не хватало...»

К счастью, жизнь Пьетро сложилась благополучно. Он обосновался в Вероне и стал городским судьей и помощником подесты, женился на Якопе, у них родилось шестеро детей — пять дочерей и сын, Данте-второй. Раньше они часто навещали Антонию, но в последнее время, из-за эпидемии чумы, предпочитали не выезжать из города. Все свободное время Пьетро посвящал комментарию к *Комедии*. Он писал его, затем переписывал. Он говорил, что очень важно сделать это как можно скорее. Если раньше множество хулителей так и норовили бросить камень в творение Данте, то с приходом чумы все дружно полюбили *Комедию*; недаром говорят, что от ненависти до любви один шаг. Все, кто прежде старался очернить поэта, теперь кричали со всех сторон, что он великий пророк. Теперь говорили, что чума — это то самое наказание, которое предсказал поэт: это кара за жадность, которая слишком долго разъедала сердца, наказание проклятой Волчице. Пьетро тщетно пытался доказать, что *Комедия* — это всего лишь произведение литературы, не больше чем аллегория, но он был единственным крестоносцем в этом походе.

Антония вошла в кабинет отца: повсюду лежала пыль. Она принялась протирать мебель и вещи. Вскоре должен был прибыть с официальным визитом из Флоренции некий писатель: главы Орсанмикеле решили отметить годовщину смерти поэта и преподнести ей и монастырю десять золотых флоринов. Теперь, когда бедствия так и посыпались на Италию, флорентийцы тоже решили сыграть в благородство и присоединились к тем, кто хотел захоронить у себя тело поэта. Но им придется померить свой праведный гнев: когда Данте был жив, они отказали ему в праве вернуться в родной город.

Антония вытирала пыль: нужно было навести порядок перед приходом гостя. Этот писатель являлся большим поклонником отцовских трудов, он мечтал увидеть дом, где жил Данте, и даже хотел написать биографию поэта. Он уже опросил в Равенне всех, кто был хоть как-то знаком с великим человеком. Пьетро Джардини подробнейшим образом рассказал ему о видении Якопо и о чудесном обретении последних песен. Неясно было, поверил тот или нет, но история ему очень понравилась.

Антония принялась протирать книги, а затем и сундук с изображением орла. Она думала о Джованни и его сыне. С тех пор как они виделись в последний раз, прошло почти десять лет. Они приезжали в Равенну в 1341 году, Дантино тогда уже исполнилось двадцать девять, он был хорош собой, несколько лет тому назад он женился на дочери Бруно, Софии. Они прибыли, чтобы проводить в последний путь Джемму. В последние годы своей жизни она смогла расквитаться с Флоренцией за все былые унижения. Ее чествовали каждую годовщину смерти Данте. Джованни с сыном зашли в монастырь утешить Антонию, поддержать, разделить ее горе: племянник по-прежнему ее обожал. А вот Джентукку она не видела гораздо дольше, последний раз они встречались в 1329 году. Тогда они приезжали все вместе: Джованни, Джентукка и дети. Это было, когда книги старшего Данте пылали на всех кострах Болоньи: кардинал Бертран де Пуже, папский легат и любимый племянник, приказал сжечь все сочинения Данте, а заодно и его останки, потому что поэт слыл еретиком и даже колдуном. К счастью, этому воспротивился Остазио да Полента, правитель Равенны, он лично прибыл в Болонью, но даже не подумал везти туда прах Данте, желая тем самым показать, что не допустит осквернения памяти своего ученого друга.

Наконец Антония решилась: она сломала печать и вскрыла конверт. Тревога сменилась радостью.

Милая Антония, как ты поживаешь? Мы очень надеемся, что все у тебя хорошо. Мы немного обеспокоены, так как от тебя давно не было вестей! На Европу обрушилась настоящая кара Господня. Мы даже не уверены, что это письмо дойдет до тебя. Хочется верить, что ты его получишь и сможешь ответить в ближайшее время. Слава богу, у нас

все в порядке. Мы возвращались из Эфиры, когда узнали о чуме. Два года назад мы отправились в Додону вместе с семьей Бруно. Но нам ничего не удалось обнаружить. Там мы познакомились со старым моряком по имени Спирос, который рассказал нам, что Бернар приезжал в эти места лет тридцать тому назад. Спирос сам был его проводником и прошел с ним по реке Ахеронт до того места, где в него впадает Коцит, а затем проводил назад. Когда Бернар вернулся к лодке, он привез с собой огромный каменный ящик и утверждал, что в нем покоится ковчег Завета. Он хотел отвезти его куда-то, поскольку боялся, что реликвия может затеряться, пока Господь снова не возжелает открыть ее, и утверждал, что это произойдет, когда все люди наконец научатся жить в мире. Спирос рассказал, что Бернар был похож на сумасшедшего, он постоянно твердил о конце времен, о вечности настоящего, о том, что каждая минута жизни отражается в каждом миге и в то же время существует вечно. Потом моряк высадил Бернара на Корфу и видел, как тот встретился с Даниелем, но когда корабль отплыл, на борту Даниель был один. От Бернара и его ларца не осталось ни следа...

Потом мы отправились на Корфу с сыном Спироса, а оттуда отплыли в Апулию. Наконец мы прибыли в Аbruццо, там остановились в городе Ландзано, у родственников Бруно. Тут мы укрылись в небольшой хижине на священной горе Майя, сюда не доходят ядовитые испарения, вызывающие чуму. Мы с Бруно рвались обратно в Болонью, но до нас дошли слухи, что ворота города закрыли, кроме того, если верить слухам, то нашу лечебницу конфисковали и оборудовали под госпиталь для больных, так что вряд ли мы могли бы продолжить свою работу. Поэтому мы решили остаться. Здесь чума кажется чем-то таким далеким.

Сегодня мы стали готовиться к возвращению домой. Думаю, что вскоре после того, как ты получишь это письмо, мы уже будем в Болонье. Если можешь, ответь нам на наш прежний адрес. Мы постараемся вернуть клинику или превратить ее в общедоступное заведение, управление мы

передадим Данте и Софии — настал черед нового поколения, наше время подходит к концу. Они по-прежнему очень любят друг друга. Дорогая сестра, моя *sogor sogorcula*,^[70] я часто вспоминаю дни нашего знакомства; иногда я думаю о том, что только ты и я знаем, как была найдена рукопись нашего отца, только мы с тобой понимаем, что тамплиеры пытались совершить ужасное преступление, лишь мы помним о Бернаре, и меня все еще мучает вопрос: так кем же все-таки был наш отец? Поэтом? Пророком? Или же он был одним из последних рыцарей, чье оружие — бумага и чернила? А может быть, и тем, и другим, и третьим... Этого мы уже не узнаем. Чужая душа — потемки. Большая часть того, что происходит в этой жизни, от нас ускользает, наши суждения несовершенны, мы знаем лишь самую малость об истине. Это и порождает все зло вокруг нас, потому что, не зная ничего, люди ведут себя так, словно им известно абсолютно все, они ставят себя наравне с Богом, и очень напрасно. Добро и истина — это плоды совместного труда, труда бесконечного, длящегося, непрерывного... Это кропотливая работа, которой человек и общество в целом должны уделять как можно больше времени и энергии. Лишь в одном я точно уверен: другого человека, как наш отец, уже никогда не будет.

После того как мы разберемся с делами, я снова тебе напишу. Я надеюсь, что мы скоро увидимся, мне так тебя не хватало все эти годы. Дантино до сих пор помнит, как ты рассказывала ему об эпициклах, Бруно переводит очередной арабский трактат, Джильята ему помогает. В этом трактате речь идет о психических расстройствах; возможно, благодаря этому сочинению мы сможем понять что-то новое о тех людях, с которыми свела нас судьба, пока мы занимались исследованием смерти отца. Наша дочь передает тебе сердечный привет, она все время вспоминает тебя; Джентукка часто повторяет нам о том, как просто и смело ты открыла дверь прокаженной... Она очень боится за тебя и часто повторяет: «Если она ведет себя точно так же и теперь, может статься, что мы ее скоро лишимся...»

«Ни в коем случае», — отвечаю я, ведь я очень надеюсь на скорую встречу.

Я очень доволен тем, как мы прожили жизнь, теперь, когда у нас появилось время, мы часто сидим у камина и рассказываем друг другу о том, что нам пришлось пережить. Шрам под носом напоминает мне о том, что может произойти, если я слишком расслаблюсь.

Мы все мысленно с тобой, скоро увидимся, если на то будет воля Господа.

Всего тебе самого доброго,

Джованни,

Данте,

Джентукка,

София,

Джильята,

Антония,

Орландо и их дети...

«Нет, они меня не лишились», — подумала она со слезами на глазах. Порой та помощь, которую она могла оказать больным, виделась ей совершенно бесполезной. Среди этой боли и отчаяния она иногда просила, чтобы Господь забрал и ее. И все же Он этого не сделал. Она протерла письменный стол, протерла отцовский меч... Ее обступили воспоминания...

В тот день годовщину смерти Данте отмечали впервые, в городе царил праздник. Гвидо Новелло, один из бывших друзей поэта, уехал в Болонью, чтобы занять должность капитана народа, а в Равенне остался его брат, архиепископ Ринальдо. Однако через неделю Остазио да Полента зарезал архиепископа и захватил власть над городом. Через три года он захватил и Червию, правителями которой назначил своего дядю Баннино и племянника Гвидо. Гвидо он вскоре убил прямо у

городских стен, а на дядю устроил настоящую охоту. Он гнался за ним прямо по улицам города. Когда Баннино добежал до могилы Данте, он взмолился: «Умоляю, не убивай меня, во имя Данте!» Но его убили тут же на месте. Следы его крови до сих пор можно разглядеть на могиле поэта.

Затем из Мюнхена прибыл представитель династии Виттельсбахов, император Людовик IV, он провозгласил антипапу. Из-за этого старая вражда между гвельфами и гибеллинами, и так никогда не утихавшая, разгорелась еще жарче. Авиньонский папа отнюдь не одобрял того, что в Риме появился еще один наместник Христа. Его племянник, Бертран де Пуже, жестоко осудил «Монархию» Данте, где выдвигалась идея о разделении властей на светскую и духовную. Но Данте был убежден, что Господь сам утвердил земную власть и что в законе и справедливости присутствует Божественное начало. Людовик же собрал вокруг себя интеллектуалов и ученых, преследуемых папой Иоанном, среди них были лучшие умы своего времени, такие как Уильям Оккам и Марсилиус Падуанский. Последний, провозглашая светский характер государственной власти, пошел гораздо дальше, чем Данте. Антония прочла его книгу «Защитник мира», хоть та и была запрещена: не нужно относиться к чужим сочинениям предвзято, осуждать их до того, как узнаешь, о чем они, слова не так уж страшны... Эта книга была куда резче, чем отцовская «Монархия». В ней говорилось, что власть вершить закон принадлежит народу, всем и каждому из граждан, которые передают ее правителю или группе достойных людей, представляющих общую волю. Это была совершенно новая мысль — идея о том, что власть рождается снизу, а не сверху, как было принято считать. И хотя подобные высказывания слышались иногда с разных сторон, племянник папы ополчился именно на Данте, хотя его «Монархия» была связана с традиционной идеей права, основанного на христианских заповедях. Хорошо еще, что новый правитель Равенны, хоть в остальном он и не был святым, не уступил притязаниям духовенства и защитил Данте, иначе над поэтом устроили бы посмертный суд.

Через десять лет все неожиданно изменилось. Экономический кризис достиг самого дна, флорентийские банки обанкротились, компания мессера Моне завершила свое существование самым жалким образом. Банкиры и суконщики сгорали со стыда... Все проклинали

Волчицу и говорили о пришествии Пса, о каре небесной и о том, что Данте — великий провидец. Эпидемия чумы создала вокруг поэта сказочный ореол.

Антония села за стол, держа в руках письмо Джованни. Она вытерла слезы.

«Нет, отец ничего не предвидел, — подумала она. — Просто он родился и прожил жизнь в эпоху расцвета, — по крайней мере, тогда так казалось». В городах жить было проще, и уровень жизни постепенно повышался, несмотря на постоянные войны; это был период процветания и благосостояния. Он часто рассказывал ей, как хорошо жилось во Флоренции, когда люди смогли воспользоваться первыми плодами богатства, но еще не забыли простоты прежнего образа жизни, они много работали, преисполненные надежд и оптимизма. Потом все резко изменилось: люди стали мелочны и жестоки. Данте очень остро ощущал эти перемены, все это ему совсем не нравилось. Он не видел ничего хорошего в том, что люди стали так жадно стремиться к власти, к успеху, что деньги стали единственным мерилом человека. В духовной сфере творилось то же самое: монашеские ордена стремительно деградировали, институт папства стал достоянием знатных семей, которые подкупали кардиналов перед выборами нового папы. Отец говорил ей, что это не может продолжаться вечно, он предвидел ужасные бедствия и описал их в поэме. Но никто не воспринял его всерьез. Власть имущие продолжали в том же духе, а кто разорился во время кризиса, должен был бороться за жизнь — размышлять было некогда. Кризис то надвигался, то отступал, Италия была словно бурное море: то и дело надвигался шторм. На короткое время удавалось все восстановить, найти какие-то новые способы наживы, флорентийцы спасались перепродажей золота, венецианцы — серебра. Пока все не обвалилось окончательно.

Вот как все было. Теперь все твердили о том, что Данте это предвидел. Те, кто раньше преследовал его, кто мечтал сжечь его на костре, вмиг обратились и стали заядлыми почитателями Данте. Теперь они посылали ей деньги, пытаясь приобщиться к его памяти. И даже прислали этого писателя, ценителя поэмы, который называл ее не иначе как *Божественная комедия*, — просто *Комедия* казалось ему неподобающим названием для столь великого творения. Он даже говорил, что в том, что он посвятил себя литературе, есть огромная

заслуга Данте (хотя злые языки твердили, что это скорее не заслуга, а вина поэта). Его звали Джованни Боккаччо, он только что написал «Декамерон» — книгу из сотни новелл. Антония получила его сочинение, он сам прислал ей новеллы, предусмотрительно удалив те, содержание которых никак не подходило для ее духовного звания. Антония прочла: книга рассказывала о жизни простых людей, как писал сам автор, это «дела не Божии, но человеческие». По большей части новеллы рассказывали о жизни купцов, об их мелких хитростях, махинациях, неудачах; автор был благосклонен к их грехам, проявляя снисходительность к тому, в чем Данте увидел бы признаки упадка общества. Боккаччо же подавал это как мелкие прегрешения, простительные ухищрения, происходящие от нехватки ума, сводил все к игре слов и случая. Его герои отлично смотрелись бы в дантовском аду, как тот мошенник, что обманул священника во время исповеди, в результате чего прослыл святым, — для него нашлось бы место среди обманщиков, так же как и для того монаха, что продавал фальшивые реликвии, нанизывая слова, словно бусины четок. Но Боккаччо писал их так, что читатель невольно испытывал симпатию к героям, восхищаясь их изворотливостью и смекалкой. Например, молодой торговец лошадьми, разбогатевший на осквернении могилы архиепископа, составил бы неплохую компанию осквернителям могил, но рассказчик отнюдь не возмущался его поведением, скорее, он словно благословлял мошенника на это дело, радуясь вместе с ним, что дела у того пошли в гору. То же касалось и женщин, которые изменяли мужьям: большинство мужей казались вполне достойными своих рогов. Антония не хотела выносить какое-либо суждение об этой книге, однако она понимала, что в ней нашли точное отражение те перемены, совершившиеся за последние годы на итальянском полуострове. Если бы кто-то прочел «Декамерон» сразу же после поэмы ее отца, такому читателю могло бы показаться, что между написанием этих произведений прошло по меньшей мере лет сто — такая глубокая пропасть разделяла эти миры.

Она думала о том, что жизнь, которую изобразил Боккаччо, не знает морали, что люди преклоняются перед удачными словами и успешными делами куда больше, чем перед законами нравственности и общим благом, что это мир, где цель оправдывает любые средства. Но если отбросить это, нужно было признаться, что книга сделана

хорошо: емкая проза, написанная на флорентийском наречии, по стилю напоминала Тита Ливия. Это говорило о том, что Боккаччо умел точно изобразить мир. «В конце концов, это всего лишь литература», — подумала Антония.

Времена изменились, и теперь казалось, что история пошла по плохому пути. На руинах единой Европы стали формироваться новые нации. Участились войны. Никто уже и не думал о том, чтобы попытаться разглядеть в нашем мире присутствие Бога. Об этом они разговаривали с Джованни, когда виделись в последний раз, — во Франции тогда начались приготовления к очередной войне, рознь между гвельфами и гибеллинами в Италии не утихала, папа по-прежнему сидел в Авиньоне:^[71] торопить историю не имело смысла. Реке, чтобы пробить русло, требуются тысячи лет; иногда она описывает такие изгибы, словно вот-вот повернет вспять, но все равно рано или поздно она доберется до моря. То же самое касалось и ее отца: хотя черные гвельфы добились его изгнания, стихи *Комедии* будут жить вечно.

В дверь постучали — явился Боккаччо. Она бросилась открывать; войдя, он поцеловал ей руку. Антония провела его в комнату отца, он все осмотрел, затем они стали обсуждать завтрашнюю церемонию. Во время празднества он передаст монастырю положенную сумму. Она мысленно попрощалась с оливой, положила в карман письмо *Джованни* и вместе с писателем вышла из дому. Она начала рассказывать, что отец в *Комедии*... и тут Боккаччо грубо прервал ее и с укоризной заметил: «Почему вы говорите просто *Комедия*, ведь вам, конечно, известно, что это Божественное произведение...»

Старый аптекарь в лавке на углу, тот самый, что читал Аристотеля и Боэция, забивая голову разными сочинениями, словно то были шкафы в его лавке, увидел, как мимо прошли полный и элегантный синьор средних лет и пожилая монахиня. Он сразу узнал ее: то была дочь поэта, он написал очень много одиннадцатисложников и ни разу не сбился с ритма. Зачем только нужна вся эта писанина, пусть даже и зарифмованная... То ли дело он — сколько заработал на этой чуме, розмариновый состав шел просто на ура! Он выдавал его за надежное средство по борьбе с болезнью: пузырек следовало держать поближе к ноздрям, чтобы выходящие пары могли противодействовать проникновению зараженного воздуха, обезвреживая его до того, как

человек вдохнет заразу. Никто из клиентов не жаловался: те, что остались живы, радовались, что средство помогло, а те, что умерли, уже не могли возмущаться. Аптекарь явно ощущал собственное превосходство над этой парой.

«В конце концов, что такое эта литература? Не больше чем слова», — подумал он, когда до него донеслись отдельные фразы монахини, которая говорила что-то о *Комедии* Данте, в то время как ее спутник не переставал твердить «Божественная», хоть аптекарь и не понял, о чем это он.

КРАТКОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА

Дорогой читатель, надеюсь, что моя книга тебе понравилась и ты получил еще один повод для размышлений. Поскольку содержание моего романа имеет определенную специфику, в этом кратком послесловии мне захотелось дать некоторые пояснения тем событиям, о которых я рассказываю в книге. Хотя большинство из них — лишь плод моего воображения, я старался сделать так, чтобы описываемое показалось как можно более правдоподобным. Сама же суть моего романа — думаю, что ты это почувствовал, — носит скорее идейный характер. Говоря словами Данте, это не больше чем аллегория. Вряд ли Орфей действительно спустился в царство мертвых, усыпив стражей звуками своей лиры, чтобы вызволить Эвридику, а затем снова потерять ее (как известно, он невольно обернулся, желая ее обнять). И все же Данте бы сказал, что это правда. В том смысле, что сама идея правдива: ведь музыка и поэзия (в данном случае Орфей) способны помочь преодолеть отчаяние (страшных фурий подземного мира) и воскресить в нас прекрасные воспоминания (Эвридика). Под звуки музыки эти воспоминания прорастают в нас, точно цветы, они оживают, тянутся к свету. Все это возможно, но лишь при одном условии: они так и останутся воспоминаниями. Если же попытаться к ним прикоснуться, они тут же исчезнут. Можно пережить прежние чувства в собственной памяти, но воскресить их в реальности невозможно.

Так и мой герой, Джованни ди Данте Алигьери из Флоренции фигурирует только в одном документе 1308 года. Он проходит свидетелем по некоему делу, что означает, что на тот момент он был уже совершеннолетним, но больше его имя нигде не упомянуто, нет Джованни и среди наследников Данте. Был ли он сыном Данте или нет — ответа на этот вопрос мы никогда не узнаем. Но для меня было важно, чтобы человек, расследующий смерть поэта, чувствовал себя его сыном. Что касается всех остальных сюжетов — истории о том, как нашли последние песни поэмы, или о том, как жила семья Данте, пока поэт был в изгнании, — все они восходят к Боккаччо, который неоднократно бывал в Равенне, в том числе и в 1350 году (год, на

котором обрывается наше повествование), где собирал свидетельства очевидцев, чтобы написать биографию великого поэта. Однако нельзя однозначно утверждать, что все эти сведения достоверны.

Что касается нумерологического кода, его легко обнаружить любому, кто возьмет в руки оригинал *Божественной комедии*. До сих пор ведутся споры о том, что же все это значит. Попытка использовать код как ключ, чтобы прочесть секретное послание, которую предпринял Бернар, принесла свои плоды, однако решение рыцаря выделить именно последнюю и семнадцатую терцины, чтобы сложить отдельные стихи в последовательную цепочку, отнюдь не бесспорно. Строфическая композиция поэмы хорошо известна: АВА ВСВ CDC... XYZ YZY Z. Таким образом, последней можно считать как терцину YZY, так и ZYZ. То же самое касается и середины каждой песни.

Рассмотрим один простой пример. Возьмем один отрывок из тринадцати строк: АВА ВСВ CDC DED E. Мы видим, что центральной является седьмая строка, — тогда средняя терцина должна сложиться из строк с шестой по восьмую и выглядеть как ВСД. Но поскольку в данной комбинации отсутствует рифма, она никак не может являться нужной терциной. Приходится остановиться на двух других вариантах: СВС или CDC. Тогда оказывается, что для каждой песни *Комедии* существует четыре возможные комбинации строк: две центральные и две завершающие. Таким образом, мы получаем 64 варианта для каждой части и 643 для всего текста. Вполне вероятно, что одна из 262 144 возможных стихотворных цепочек содержит какой-то дополнительный смысл.

Следует заметить, что Бернар так сильно желает обнаружить в *Комедии* скрытый смысл, что в итоге ему все же удается расшифровать послание. Но что представляет собой его находка? Какой-то ящик, в котором лежат две каменные таблицы с надписями на незнакомом языке. Конечно, это может быть ковчег Завета, но вполне возможно, что это было что-то другое. Но в тот миг, когда Даниель сбрасывает находку в море, начинается новая эра, и Божественное не скоро снова откроется людям. Для нас важно то, что Бернар все же находит разгадку и отправляется в Эпир. Он преодолевает реку мертвых, воспетую Вергилием и Данте, и делает по дороге три остановки — это своего рода повторение пути, проделанного самим Данте, пусть и в более примитивной форме.

Предположение о том, что ад был списан Гомером с Фанарской равнины и что потом это подхватили и все последующие авторы, представлено в монографии поэта и писателя Спироса Мусселлимиса «Древний загробный мир и оракул из Эпира».^[72] На итальянском языке эта книга вышла в 1991 году. Не знаю, возможно ли теперь ее приобрести, или тот экземпляр, что откопала моя жена на полках крошечного магазинчика в Праге, был последним. Эх, жены, жены! Что бы мы без вас делали!

То, что понял Бернар о природе времени, когда стоял на земле Зевса в долине Додоны, есть не что иное, как сочетание двух теорий: средневековой идеи о том, что Бог присутствует повсюду, и концепции, высказанной современным физиком Джулианом Барбуром в его книге «Конец времени: следующая революция в физике» (книга вышла в 1999 году, на итальянском языке — в 2003 году в издательстве «Эйнауди»)^[73] Эта теория возвращает нас к тому, как виделся окружающий мир в древности, хотя, конечно, угол зрения здесь несколько иной и концепция имеет несомненные научные достоинства.

Мне пришлось проштудировать немало книг по истории ордена тамплиеров и экономическому кризису в Италии XIV века. Я выражаю глубокую благодарность всем, кто помог мне восстановить хронику событий, описанных в моем романе, и воссоздать атмосферу тех времен. Как то: Чекко да Ландзано, неграмотный человек, работающий на орден тамплиеров, упоминается в документах по процессу инквизиции в городе Пенне от 28 апреля 1310 года; Ален Демурже в книге «Тамплиеры. Рыцари Христа» (Париж, 2005. Итальянский перевод вышел в Милане в 2006 году)^[74] цитирует один таможенный документ 1294 года, где говорится о том, что корабли тамплиеров освобождались от налогов на экспорт зерна. Там же говорится, что из 2720 мер зерна 1770 принадлежали флорентийской компании «Барди». Согласно Боккаччо и Пьетро Алигьери, к этой семье принадлежал и муж Беатриче. Тот же историк повествует и о других событиях, которые произошли с кораблем «Сокол», и описывает последние дни Акры перед штурмом мусульман.

Сцена родов посредством кесарева сечения почти буквально списана с книги автора XVI века Джироламо Меркурио «Смерть или повитуха». Она приводится в книге «Медицина и женщины в XVI веке. Джованни Маринелло и Джироламо Меркурио» под редакцией

П. Альтиери (Турин, 1992). Я не нашел свидетельств о подобной практике в Средние века, но мы знаем, что такой способ был известен древним грекам, — о нем упоминает Плиний. Не вызывает сомнений, что если нечто подобное практиковалось и в Средние века, то выполнение подобных операций было гораздо опаснее, чем во времена Плиния. Легко предположить, что двадцатичетырехлетняя Беатриче умерла во время родов. Ни я, ни Данте не несем никакой ответственности за то, что она так рано покинула этот мир. А вот за смерть Бернара я буду испытывать муки совести до конца дней моих.

notes

Примечания

Третья часть хроник Кипрского королевства под общим названием «Деяния киприотов». Их автор — Жерар Монреальский, который утверждает, что был личным секретарем Великого магистра ордена тамплиеров. Хроники на русский язык не переводились.

Греческий огонь — горючая смесь, применявшаяся в военных целях во времена Средневековья.

3

Имеется в виду пророк Исаия.

4

Протей — древнегреческое божество, способное изменять облик.

Меньшие братья — второе название францисканцев.

6

Мессер — обращение к именитому гражданину в средневековой Италии.

Перевод И. Голенищева-Кутузова.

«Первая позиция в описании чисел — крайняя правая... если единица стоит в первой позиции, то она имеет значение „один“; во второй позиции — ее значение „десять“... в третьей позиции — „сто“».

В «Этике» среди негативных страстей Аристотель называет гнев, вражду, ненависть, страх, зависть, негодование, а среди альтернативных им позитивных страстей — милость, любовь, дружбу, сострадание и др.

10

Это благо (*лат.*).

«*Неподвижный двигатель*» — один из постулатов Фомы Аквинского, обозначенный им в трактате «Сумма теологии» как первое из доказательств существования Бога. Он гласит, что ничто не может начать движение само по себе, для этого необходим первоначальный источник. Так, двигаясь от одного источника к другому, мы доходим до первопричины движения, и ею является Бог.

Святой Бернар Клервоский (1091–1153) — средневековый мистик, общественный деятель, наставник будущего папы, вдохновитель Второго крестового похода. Участвовал в создании ордена тамплиеров.

Кангранде делла Скала (1291–1329) — герцог Веронский, при дворе которого обосновался Данте после изгнания.

Готфрид IV Бульонский (ок. 1060–18 июля 1100), *Бозмунд Тарентский* (1054–17 марта 1111) — предводители Первого крестового похода на Восток. *Балдуин I Иерусалимский* (ок. 1060–2 апреля 1118) — брат Готфрида Бульонского; вместе со своим братом принимал участие в Первом крестовом походе.

Орден госпитальеров — основанная в 1080 г. в Иерусалиме христианская организация, целью которой была защита больных, бедных или раненных в Святой земле. После Первого крестового похода превратилась в религиозно-военный орден. После захвата мусульманами Святой земли орден перебрался на Родос, а затем на Мальту, вследствие чего его члены стали больше известны как мальтийские рыцари.

Книга премудрости Соломона, глава I, стих I.

Теодицея — совокупность религиозно-философских доктрин, источником которых послужили тезисы Фомы Аквинского о Божественном предопределении и оправданном существовании зла.

Тайное общество Семерых — союз семи мудрецов, которые якобы принимали активное участие в мировой политике, оставаясь неизвестными. Известно в Италии со времен Средневековья.

Вергилий. Энеида. Перевод С. Ошера.

Гвидо Гвиницелли (ок. 1230–1276) — итальянский поэт, представитель болонской школы и один из основоположников так называемого сладостного нового стиля, чьи произведения считаются первыми образцами истинно итальянской поэзии.

Перевод Е. Солоновича.

«Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, ибо Я иду к Отцу» — слова Христа во время Тайной вечери, Новый Завет, Евангелие от Иоанна, глава 16.

Цитата из знаменитого письма Данте, в котором он раскрывает замысел *Комедии* своему покровителю. См. Письмо XII. К Кангранде делла Скала // Данте Алигьери. Малые произведения (Литературные памятники). М., 1968. С. 384–394.

«Благословенна лишь родная земля» (*лат.*) — первая строка средневековой песни. Манускрипт, в котором содержались песни и стихи, датируемые примерно концом XI–XIII в., был найден в 1803 г. в баварском монастыре Кармина-Бурана и получил одноименное название. Позднее этот средневековый цикл послужил композитору Карлу Орфу основой для написания его знаменитого произведения «Carmina Burana».

Где любовь, там нищета (*лат.*).

Мондино деи Луцци (1270–1326) — анатом из Болоньи, написавший первое руководство по анатомии для нужд медицинской практики, основанное на вскрытиях человеческих трупов.

Гульельмо да Саличето (ок. 1210 — ок. 1277) — итальянский хирург, профессор Болонского университета, автор руководства для медиков «Хирургия». Первым провел вскрытие трупа в судебно-медицинских целях.

Аверроисты — последователи арабского философа Аверроэса (1126–1198), толкователя Аристотеля, утверждавшие, что разумная часть души после смерти возвращается во всеобщий разум и в нем становится бессмертной.

Ибн аль-Нафис (ок. 1213–1288) — арабский ученый, описавший малый круг кровообращения, известный как легочное кровообращение. Таким образом, он полностью опроверг теории Галена.

Герардо да Кремона (1114–1187) — монах, переведший на латынь множество арабских научных трактатов. Некоторые из них толковали Аристотеля и других античных философов. В произведениях Данте имеются следы подробного изучения этих сочинений.

Гален (ок. 130 — ок. 200) — греческий философ и врач. Он полагал, что в человеческом теле есть четыре вида жидкостей, преобладание одной из которых определяет не только внешний, но и внутренний мир человека. На основе его учения была разработана позже теория темпераментов человека, названия которых происходят от наименования преобладающей жидкости: кровь (*sanguis*) — сангвиник, слизь (*pflegma*) — флегматик, черная желчь (*melancholia*) — меланхолик и желтая кровь (*chole*) — холерик. Также Гален считал, что в организме человека действуют невидимые загадочные духи — «пневмы», воплощающие разные «силы» человеческих органов. При этом он выделял три вида этих духов: «жизненная пневма» (в сердце), «физическая пневма» (в печени) и «психическая пневма» (в мозгу).

Канцона CIV. Перевод Е. Солоновича.

Из многих — единое (*лат.*). Выражение из речи Цицерона «О достоинствах».

В середине нашей жизненной дороги,
Объятый сном, я в темный лес вступил,
Путь истинный утратив в час тревоги.

И он: «Я дух, не человек я боле;
Родителей-ломбардцев я имел,
Но в Мантуе рожденных в бедной доле.

Веди в тот край, куда ты путь направил:
И вознесусь к вратам Петра святым,
И тех узрю, чью скорбь ты мне представил».

*Здесь и далее «Божественная комедия» дается в
переводе Д. Мина.*

Вот лютый змей с хвостом остроконечным,
Дробящий сталь и твердость стен и скал!
Вот он весь мир зловоньем губит вечным!

Прочь, дерзкий! Прочь! Но если ты живую
Имеешь душу, ведай: Витальяно
Соседом мне тут сядет одесную.

Так Герион в глубокий ров стремится,
Чтоб сбросить нас к подножию скалы,
И, облегчен от груза, снова мчится.

Уста подъял от мерзостного брашна
Сей грешник, вмиг отер их по власам
Главы, им в тыл изгрызенной так страшно.

О Пиза! срам пред всеми племенами
Прекрасных стран, где сладко сі звучит!
Когда сосед не мстит тебе громами.

Я зрел из вас такого, что за дело,
Как дух, в Коците стынет под волной,
Хоть кажется и здравствует, как тело.

Исход — вторая книга Пятикнижия, или Торы. Описание ковчега см.: глава 25, стихи 10–22.

Чело Д'Алькамо причисляется критиками к поэтам сицилийской школы при дворе императора Фридриха II. В его сочинении «Спор» (*il contrasto*), написанном в форме поэтического диалога между знатной дамой и скоморохом, добивающимся ее расположения, присутствует значительное число диалектизмов.

Готовый плыть по волнам с меньшей смутой,
Поднял свой парус челн души моей,
Вдали покинув океан столь лютой.

Как шел я с ним, рассказывать не время;
Небесной силой осенен был я,
Тех подвигов мне облегчившей бремя.

Тут пояс свил мне он, как тот назначил.

Капитан народа — важная административная должность в Италии времен позднего Средневековья. В функции капитана народа входило контролировать политическую активность и следить за распределением власти между знатными семьями города.

Тринакрией древние греки называли Сицилию. Буквально наименование означает «остров с тремя мысами». Символом королевства Тринакрия был трискелион — три ноги, согнутые в коленях, — в центре которого находится женская голова.

Сбросив Колхиды руно, быстролетный Эой и другие... — начало одной из двух эклог Данте, обращенных к болонскому поэту Джованни дель Вирджилио. Перевод А. Петровского.

Чекко д'Асколи (1257–1327) — итальянский поэт, ученый, эрудит, знаменитый астролог, недруг Данте. Уже после смерти Данте за свои убеждения Чекко был приговорен к сожжению на костре как еретик. Сцена его сожжения описывается в финальной части этого романа.

Средневековые астрономы.

И вот — о чудо! — только лишь рукой
Коснулся знака, как в мгновенье ока.

Читатель, если в Альпах в облак тонкий
Когда-нибудь вступал ты и сквозь пар
Смотрел, как крот глядит чрез перепонки, —

Так высоко над нами уж светил
Последний луч, за коим ночь приходит,
Что звездный блеск везде нам виден был.

Любовь, стремящая к нему людей,
Казнится в трех кругах вверху над нами,
И состоит из трех она частей.

«Язычники пришли»... то в сокрушенье,
То только трех, то четырех дев хор
Так, чередуясь, начал псалмопенье.

Но, убедясь, что твой рассудок скудный
Окаменел и темен стал в грехах
И снести не может свет сей речи трудной,

Как в новую листву одет, душист
И свеж, встает знак новый, так от бездны
Святейших волн я возвратился чист.

Кто движет все, тот наполняет славой
Весь мир, но мир во блеск его одет
Где более, где мене величаво.
Сверхчеловечность как уразуметь
Из наших слов? Пойми ж в примере этом
То всяк, кому даст Благодсть небо зреть.
Такое ж диво было б, коль свободным
Став от препон, ты б медлил до сих пор,
Как если бы огонь с землей стал сродным.
И в небо вновь она вперила взор.

Как приходил для подтвержденья слуха
К Климене тот, который научил
Родителей внимать их детям глухо, —
В его дому ты будешь чужд всем бедам:
Меж просьб и исполненьем их у вас
То будет первым, что везде шло следом.
Затем, что ум людской вникать в примеры
Не любит там, где корень не открыт,
И речь о том, кто был безвестен, веры
В сознании людей не возбудит.

Вторая книга Маккавейская — одна из книг Библии, не входящая в Канон. Вторая книга является не продолжением Первой, а скорее дополнением к описанному ранее. Она изобилует драматическими эпизодами, диалогами, описанием чудес, происшедших при изгнании Селевкидов и эллинистов из Иудеи и образовании независимого царства Маккавеев.

Гонфалоньер справедливости — выборная должность, глава флорентийской синьории.

Альтафронте — дворец-крепость на берегу реки Арно, впервые упоминается в 1180 г., сильно пострадал во время наводнения 1333 г., полностью утратил первоначальный вид, в настоящее время на этом месте находится палаццо Касгеллани, в котором расположен Музей истории науки им. Галилея.

Ныне церковь Сан-Леонардо ин Арчетри.

Талант — денежная единица во времена Христа. *Притча о талантах* — одна из притч Иисуса, рассказывающая о втором пришествии.

Цитата из стихотворения Данте «К Гвидо Кавальканти». Перевод И. Голенищева-Кутузова.

«Деньги от денег не рождаются» (*лат.*).

Пьер Жан Олье (Пьетро Джованни Оливи; 1248–1298) — французский теолог, философ, естествоиспытатель, монах-францисканец, интеллектуальный лидер спиритуалов. Его труды были преданы суду семерых теологов Сорбонны и осуждены как еретические, однако ему удалось защитить себя в нескольких ответных сочинениях и избежать казни. Уже после смерти Оливи, в 1318 г., его учения снова были осуждены, книги преданы сожжению, останки выкопаны, а могила уничтожена.

Цитата из третьей песни *Ада* Данте.

Во времена Данте началом года считалось 25 марта.

Цитата из первой канцоны «Пира» Данте. Перевод И. Голенищева-Кутузова.

Сеятель Арепо с трудом удерживает колеса телеги (*лат.*). Известный палиндром, обычно помещенный в квадрате таким образом, что слова читаются одинаково справа налево, слева направо, сверху вниз и снизу вверх. Часто ассоциировался с ранними христианами и использовался как талисман.

О Дева Мать, дочь твоего же сына!
Смиренная, ты выше твари всей,
Предвечного Совета цель едина!
Вернув в мой ум твой отблеск величавый
И отзвук твой в сих пробудя стихах,
Я б уяснил победу сей державы.
Мечте высокой тут не стало сил;
Но все желания, дум моих все бездны,
Как колесо, уж дух Любви кружил.

Ахеронт — река в царстве мертвых, аналогичная Стиксу. В нее впадают две другие реки подземного царства — Флегетон и Коцит. У Данте эта река опоясывает первый круг ада, затем вытекающие из нее ручьи становятся багрово-черными и впадают в болото Стикса, в котором казнятся гневные и которое омывает стены города Дита, окаймляющие пропасть нижнего ада. Еще ниже он становится Флегетоном, кольцеобразной рекой кипящей крови, в которую погружены насильники против ближнего. Потом, в виде кровавого ручья, Флегетон пересекает лес самоубийц и пустыню огненного дождя. Отсюда шумным водопадом он свергается вглубь и в центре Земли превращается в ледяное озеро Коцит.

Аквисгран (лат. Aquisgranum) — город в Германии, современный Ахен. Был резиденцией Карла Великого и столицей Франкского государства (с 807).

Кристобаль Колон — испанский вариант имени Христофора Колумба.

«Из многих — единое» (*лат.*) — девиз, размещенный на гербе США.

Псы Господни (лат. Domini canes) — неофициальное название ордена доминиканцев.

Иоанн Сакробоско (1195 — ок. 1256) — средневековый математик и астроном, автор «Трактата о сфере», положения которого оспорил Чекко д'Асколи.

Битва при Кампальдино — решающая битва гвельфов и гибеллинов (11 июня 1289 г.), положившая конец правлению гибеллинов во Флоренции. Данте принимал в ней участие на стороне гвельфов.

Сестра и монахиня (*лат.*).

Период с 1309 по 1378 г. известен как Авиньонское пленение пап, когда резиденция глав Католической церкви из соображений безопасности находилась не в Риме, а в Авиньоне, поскольку папа Климент V находился в конфликте с королем Франции Филиппом IV Красивым.

На русском языке не выходила.

Отдельные фрагменты на русском языке можно найти в Интернете.

На русском языке вышла в 2008 г. в издательстве «Евразия».